

ГРАНИ

33

1957

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XII

№ 33

Январь - Март 1957 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Конгресс за права и свободу в России	3
Резолюция Конгресса за права и свободу в России	5
Н. ТАРАСОВА — Культурная и духовная жизнь современной России	10

РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ В СССР

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Станция Зима, поэма	42
Ю. НАГИВИН — Свет в окне, рассказ	67

РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ ЗАРУБЕЖЬЯ

А. НЕЙМИРОК — Стихи	74
БОРИС ЗАЙЦЕВ — Дни	77
ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ — Стихи	83
НИНА ФЕДОРОВА — Дети, роман. (Продолжение)	87
Ю. М. — Лагерные стихи	139

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС ТИХ — О романе Дудинцева «Не хлебом единым»	142
ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР — В пути находящиеся	152
НИК. АНДРЕЕВ — Литература в изгнании	164

ИСКУССТВО

Н. А. ГОРЧАКОВ — «Марксистская теория театра»	177
Н. ЕВРЕЙНОВ — Любовь актера	187

ПУБЛИЦИСТИКА

К. ФЕДОРОВ — Третье звено диалектической триады	192
С. ГЕРМАНОВ — «Ставка на сильных»	204

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ

А. Мазурова, Старики и море. — Петр Ершов. «Бунт» драматурга. — Проф. Н. Лосский. Ермилов и Достоевский. — А. Кашин. О Набокове. — Николай Арсеньев. «Правда о Столыпине». — Л. Зальцберг. Два капитальных труда.	215
---	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы за первый квартал 1957 г.	229
Обращение российского антикоммунистического изд-ва «Посев» к деятелям литературы, искусства и науки поработоченной России	233

Конгресс за права и свободу в России

Конгресс за права и свободу в России состоялся с 25 по 27 апреля 1957 года в Голландии, в городе Гааге.

В нем приняли участие 81 человек — наиболее активная, живущая жизнью современной России, часть эмиграции. Представители разных поколений, разных эмиграций («старой», «военного времени», «послевоенной», «новейшей»), члены различных политических организаций съехались со всего мира, чтобы принять участие в работе Конгресса.

Писатели, врачи, артисты, журналисты, литературные критики, педагоги, общественные деятели, инженеры, агрономы, юристы, ученые занялись решением задачи, поставленной перед Россией самой жизнью: выявлением и формулированием народных требований, которые наша Родина каждодневно и во всех областях жизни предъявляет коммунистической власти.

В течение трех дней работы Конгресса за права и свободу в России участниками было прослушано шесть докладов, из которых первый — «Современное положение власти» (докладчик проф. И. А. Курганов) был прочитан на пленарном заседании в первый день.

В продолжении второго дня читались и обсуждались одновременно пять докладов в следующих четырех секциях: в секции по вопросу государства и права (докладчик юрист Е. И. Гаранин), по вопросам воспитания, культуры и духовной жизни (докладчик литературный критик Н. Б. Тарасова), по экономике, труду и социальному вопросу (докладчики инженер, доцент промышленного института А. И. Иванов и межевой инженер, бывший заключенный советских концлагерей, В. И. Юкшинский), по аграрному вопросу (докладчик агроном И. Ф. Скворцов), по вопросам внешней политики (докладчик военный историк, публицист Н. Я. Галай).

Каждая секция обсуждала выставленные докладчиками требования, которые были затем предложены для текста резолюции.

Проект резолюции Конгресса за права и свободу в России подвергся обсуждению, критике и дополнениям на втором пленарном заседании в течение всего третьего рабочего дня.

Резолюцию Конгресса, требования в области культуры, воспитания и духовной жизни и доклад «Духовная и культурная жизнь современной России» мы печатаем в этом номере журнала.

*

Решение задачи Конгресса — выявить и сформулировать разрозненные и обычно нечетко выраженные (по вполне понятным причинам) требования, предъявляемые народом коммунистическому правитель-

ству — имеет двойное значение: с одной стороны, проделанная Конгрессом работа должна принести непосредственную помощь нашему народу в его борьбе за свои кровные права, с другой, — сложный и разнообразный перечень требований (общим числом сто тридцать) — должен продемонстрировать перед всем свободным миром картину потрясающего бесправия и произвола, царящих как в СССР, так и во всем остальном коммунистическом мире.

Но значение Конгресса за права и свободу в России не исчерпывается лишь этим. Опыт Конгресса открывает новые возможности и перспективы для будущего нашей страны.

Созыв и работа Конгресса были первым удачным шагом к новым формам сотрудничества представителей культурной российской элиты несмотря на различие возраста, политических группировок и времени эмиграции.

Созыв и работа Конгресса явились первым реальным и энергичным шагом на пути к сотрудничеству активнейших культурных сил эмиграции с антикоммунистической культурной элитой современной России.

Россия определяет наш общий и единый путь. Живем ли мы в политической эмиграции за пределами родной страны, или же в географических пределах ее — цель у нас одна, желание одно, силы наши устремлены к одному: к будущему России, к ее свободе и расцвету.

Мы — части одного духовного тела нашей Родины, рассеченного большевистской революцией надвое.

Конгресс за права и свободу в России — это рука, протянутая с чистым и горячим желанием послужить нашей общей Родине, которая не сможет не встретиться в крепком рукопожатии с рукой, давно протягиваемой к ней за помощью.

Активная и живущая жизнью родной страны эмиграция, находящаяся в условиях свободного мира может очень много создать и отдать России.

Живой и свободный голос эмиграции, выражающий в слух то, чем живет, о чем мечтает и к чему стремится российская современная культурная элита в условиях диктатуры коммунистической партии, будет услышан и принят в России.

Органическая связь, насильственно прерванная, восстановится, и рассеченное духовное тело России снова сольется в единое и прекрасное целое.

Этот путь наметил Конгресс. Наше дело продолжить его до полной победы.

Именно поэтому наш журнал «Г р а н и» из номера в номер печатает «Обращение российского антикоммунистического издательства «П о с е в» к деятелям литературы, искусства и науки поработенной России», предлагая им страницы своих изданий.

В Подвиге молчания, в котором обвинили больших и честных российских писателей, за который их организовано травят в течение последних месяцев, в Подвиге молчания, предложенном отсюда и принятом там, впервые открыто соединились руки в крепком, верном и честном рукопожатии.

Резолюция Конгресса за права и свободу в России

о народных требованиях данного этапа

Конгресс за права и свободу в России в составе российских политических, научных, общественных деятелей, деятелей культуры и искусства, находящихся за рубежом,

проанализировав современную обстановку в стране, настоящее положение власти, взаимоотношение власти и народа, а также процесс освободительной борьбы в его нынешних проявлениях и видимых народных настроениях;

констатируя, что сопротивление народа незаконному режиму коммунистической диктатуры, начавшееся сразу же после захвата власти большевиками и неослабно продолжавшееся в течение всех лет существования этой диктатуры, вступило в новую фазу;

констатируя наличие глубокого кризиса всей коммунистической системы как в ее идеологическом, политическом, социальном, экономическом и культурно-политическом аспектах, так и в ее интернациональном и внешнеполитическом проявлениях, вызванного, с одной стороны, кардинальными психологическими сдвигами в самосознании народа в результате войны 1941-45 гг. и непрерывно нарастающей революционно-освободительной борьбой и, с другой стороны, противоречием между политическим режимом однопартийной диктатуры и структурными изменениями в советском обществе и экономической жизни страны, а также обострившейся борьбой за власть на верхах партии в послесталинский период;

констатируя, что этот кризис, характеризуемый нарастанием стремлений народа жить по-новому, в условиях свободы, и неспособностью режима отказаться от старых форм властвования, создает необходимую обстановку для решения коренного вопроса о смене строя;

констатируя, что освободительная борьба, непрерывно ведомая частью народа в революционных формах, на данном этапе широко распространяется, воплощаясь в открытые или же явно выявляющиеся протесты против существующего бесправия, достигающие наиболее четкого выражения в требованиях прав и свобод;

признавая, что подобное современное выражение борьбы народа является закономерным на данном этапе революционной борьбы и служит делу сплочения народных сил и формированию их организован-

ного наступления на власть, а тем самым и дальнейшему действенному ее ослаблению;

признавая, что частичные требования сами по себе не могут привести к полному освобождению и созданию правового строя в России и что поэтому последовательным продолжением настоящего этапа революционной борьбы явится революционизация этих требований и их перерастание в борьбу за уничтожение коммунистической системы;

подчеркивая, что полное освобождение может быть достигнуто только уничтожением коммунистической системы в целом, революционным путем

формулирует следующие народные требования настоящего этапа:

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ВОСПИТАНИЯ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

39. Отмена партийного вмешательства в духовную жизнь народа, в дискуссии по вопросам науки, литературы и искусства, а также в научно-исследовательскую работу. Право на непризнание компетентности партийных и административных органов в решении научных проблем и в вопросах литературы и искусства.

40. Право на различные мировоззрения, обеспеченное свободным изучением мировоззренческих (философских) проблем и течений в добровольно созданных кружках без участия официально назначенных партийных агитаторов и преподавателей. Предоставление таким кружкам права свободно избирать учебные пособия, включая и иностранные издания.

41. Право на существование в науке, литературе и искусстве различных школ, направлений и течений и творческих методов; свобода их открытой популяризации и недопущение навязывания каких-либо обязательных для всех творческих методов.

42. Свобода организации научных, литературных, художественных, музыкальных, театральных и других объединений, обществ, групп и кружков. Предоставление им права свободной деятельности, включая и право на издания.

43. Полное уничтожение всех видов партийно-политической и государственной цензуры для любых литературных, научных и искусствоведческих трудов и публикаций, а также театральных постановок, кинофильмов, художественных произведений и т. д.

44. Отмена назначения партийными органами редакторов научных, литературно-художественных и искусствоведческих книг, монографий, журналов и альманахов.

45. Опубликование списка всех репрессированных за годы коммунистического владычества деятелей науки, литературы и искусства, реабилитация всех еще не реабилитированных и допущение к их научному и литературному наследству всех желающих ученых, литературоведов и искусствоведов с целью его последующего опубликования.

46. Право всех граждан на неограниченную свободу общения в области науки и культуры со всем иностранным миром.

47. Недопущение политической дискриминации всех деятелей культуры.

48. Прекращение партийного давления при определении научных

и других степеней и званий, а также при избрании на должности академиков или на другие научные должности.

49. Свобода общения в интересах науки с иностранным миром, не ограниченная лишь рамками коммунистических стран. Предоставление научным институтам, университетам и другим научным учреждениям права посылки в научные командировки за границу.

50. Право ученых свободно обмениваться письмами и научными трудами с иностранными коллегами по всем отраслям науки, включая философию, богословие и т. д. Право на индивидуальную подписку на научные издания в любой стране.

51. Устранение ограничений для переводов иностранных трудов по новой философии и философии прошлых веков, естествознанию, истории и другим наукам. Свободный выбор таких трудов для ученых, научных советов, организаций и всех интересующихся.

52. Право научных работников на доступ ко всем архивам и книгохранилищам, закрытым по политическим соображениям.

53. Отмена планирования науки. Свобода научных работников в выборе тем.

54. Автономность и экстерриториальность высших учебных заведений; свобода посещения лекций студентами. Научность программ политических дисциплин и факультативность их там, где они не связаны прямо с профилем учебного заведения.

55. Свобода создания, вне казенных организаций, студенческих объединений и кружков, межвузовских студенческих союзов и городских студенческих клубов. Прекращение преследования печатных и рукописных изданий, выпускаемых студенческими кружками по собственной инициативе вне контроля партийных организаций.

56. Отмена политической характеристики и других ограничений для поступления в вузы. Знания поступающего должны быть единственным критерием для поступления в вузы.

57. Отмена положения о снятии со стипендии учащихся за дисциплинарно осуждаемые поступки, как аморального и используемого в качестве политического давления.

58. Удовлетворение массового стремления студенчества поступать в заграничные учебные заведения как индивидуальным путем, так и в порядке обмена, и утверждение его права на это.

59. Право высших учебных заведений на приглашение для чтения лекций заграничных лекторов, выбираемых по их знаниям, а не по политическим взглядам.

60. Установление практики трехгодичных заграничных стипендий лучшим выпускникам высших учебных заведений для совершенствования их знаний в крупнейших центрах мира.

61. Право преподавателей на творческую инициативу и на повышение своих знаний и квалификаций, обеспеченное дополнительными отпусками и улучшением материального положения. Прекращение практики нагузов, не имеющих отношения к педагогической деятельности, исходящих от комсомольских и партийных организаций.

62. Прекращение безответственного экспериментирования над школой, подчиненного планам власти. Передача проведения реформы школы в руки специального совета, в котором были бы широко пред-

ставлены педагоги-практики и родители, знающие нужды школ и учащихся.

63. Отмена системы соцсоревнования в школах, как вредной для воспитания молодежи, ведущей к снижению знаний и к аморальности.

64. Отмена преподавания в школах партийно-политических предметов.

65. Право родителей на религиозное воспитание и образование детей.

66. Составление программ и учебников в порядке свободного конкурса, с широким участием педагогов-практиков.

67. Прекращение насильственной массовой политехнизации школы, ведущей к катастрофическому снижению общеобразовательных знаний и отнимающей у молодежи свободный выбор жизненного пути.

68. Свобода создания школьных кружков и организаций вне рамок комсомольской и пионерской организаций.

69. Изъятие из дошкольного образования политических и партийных мотивов.

70. Создание для рабочей молодежи материальных и бытовых условий, позволяющих получить образование в вечерних средних и высших учебных заведениях; сокращение учащимся рабочего дня с сохранением оклада.

71. Допущение свободного обмена опытом с зарубежными учебными заведениями, пользования иностранной педагогической литературой, стажировки в зарубежных учебных заведениях педагогического персонала.

72. Недопущение навязывания в литературе и искусстве, как обязательного творческого метода, социалистического реализма, представляющего собой противоестественное и насильственное явление, тормозящее развитие культуры народа.

73. Право на свободную критику, независимую от партийно-политической линии.

74. Признание оценки массового зрителя и читателя, а также свободной художественной (а не партийной) критики при издании и переиздании репродукций картин, при утверждении репертуаров театров и при прокате кинокартин.

75. Право инициативных групп и отдельных лиц на создание альбомов и монографий всех памятников отечественного искусства, которые были уничтожены за годы коммунистической власти.

76. Свобода доступа к материалам для составления и публикации списков всех произведений искусства, проданных коммунистическим правительством за границу.

77. Реализация права народа на всестороннее ознакомление со всеми достижениями мировой культуры, в особенности отмеченными международными или национальными премиями.

78. Право писателей на участие в международной конвенции по охране авторских прав, на свободное печатание своих трудов в любой стране мира, на самостоятельное заключение договоров с любым иностранным издательством.

79. Право артистов на заключение индивидуальных договоров для

заграничных гастролей. Распространение возможностей гастролей за границу на большее количество художественных трупп, включая и провинциальные.

80. Право российских киноартистов и режиссеров на творческое сотрудничество с иностранными киноартистами и режиссерами, в частности, путем участия в иностранных постановках кинокартин.

81. Право частных лиц и объединений на издание, на закупку за границей и на распространение в стране любых иностранных произведений литературы и искусства.*)

*

Изложив народные требования, характеризующие современный этап освободительной борьбы у нас на родине,

определив, что этот этап является важнейшим на пути к свержению коммунистического режима

Конгресс за права и свободу в России выражает твердую уверенность в том, что сформулированные им требования

соответствуют настроениям и чаяниям народов России,

отражают их волю на данном этапе освободительного движения,

определяют активизацию и организованность народных сил, противостоящих коммунистическому режиму,

приближают час Народной Революции!

Г а а г а, 27 апреля 1957 года.

*) В приведенном выше тексте «Резолюции» из требований всех отделов приведены требования только в области культуры, как наиболее соответствующие профилю нашего журнала. Р е д.

Культурная и духовная жизнь современной России

ВСТУПЛЕНИЕ.

Первое, о чем мне хочется заявить во всеулышание, — это следующее: моя тема — тема обширнейшая и вряд ли поддающаяся полному обзору и анализу, настолько она сложна — единственная из всех остальных не отвечает требованиям и цели Конгресса.

В духовной жизни нет арифметики, нет компромиссов. Есть полнота или ее нет. Есть правда или ее нет. Есть свобода или ее нет. Ни полумер, ни полуправды, ни полусвободы для духа быть не может. То же самое относится и к творчеству как таковому, к его глубинному процессу, который неразрывно связан с духовной жизнью отдельного человека, культурной элиты страны или всего народа в целом.

Стараясь обозреть необозримые поля культурной и духовной жизни России наших дней, я очень быстро услышала ясный и чистый лейтмотив: «мы мечтаем, мы хотим, мы требуем свободы творчества, свободы духа!»

В любой области культуры, за которую бы я ни бралась, я слышала его в открытой или завуалированной форме. И тогда я задумалась: как же я смогу выдвинуть ряд требований, чтобы оправдать наш Конгресс, когда их только два: свобода творчества, свобода духовной жизни! — и никаких других больше нет и быть не может. Даже больше — быть не смеет! Духовная революция — самая бескомпромиссная из всех революций. Она хочет всё или ничего.

Но, знакомясь с жизнью страны дальше, я нашла всё-таки выход: как и вся наша природа жизни, так и культура зиждется на двух началах — духовном и физическом. Творцы культуры — люди из мяса и крови. Они живут на жалованье, читают книги, пишут картины, играют в выстроенных театрах, — им необходимо огромное число самых разнообразных вещей недуховного свойства для того, чтобы творить культуру своего народа, чтобы жить духовной жизнью. Исходя из этого я решила для облегчения своей работы разделить требования на определенные категории: итак, самые первые и главные, бескомпромиссные — это свобода творчества, свобода духовной жизни.

Вторая категория — это требования, так сказать, тактического порядка. Эти могут быть компромиссными, реформистскими, полумерами, полуступенями на лестнице, восходящей к единственной и необходимой для человека цели, — определяющей и оправдывающей наше человеческое существование — духовному творчеству. Ибо не даром прекрасное слово «творец» относится и определяет равно и Бога, сотворившего мир и человека, и Человека, творящего свои миры и своего человека — будь это на полотне, на книжной странице, в носящихся в эфире звуках или в тяжелых складках мрамора. Творец-Господь и творец-человек, сотворенный по Его образу и подобию.

Именно в способности нашего духа к творчеству и заключен величайший смысл этого подобия. И здесь возможна лишь полнота Духа.

Второе, о чем мне тоже хотелось бы сказать в начале доклада, предупредив возможные недоразумения, это вот что: я свою задачу вижу не столько в плоскости обзора современной культурно-духовной жизни страны, сколько в выявлении тех явных или тайных процессов, которые сейчас идут, в определении стремлений и чаяний нашего народа в целом, и его культурно-духовной элиты в частности. Именно в связи с такой постановкой вопроса я вероятно многое опущу, но и многое иное вставлю.

I

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

О современной советской культуре приходится задумываться не только нам, свободным критикам и журналистам российского зарубежья, но и творцам этой самой культуры.

Выступление М. Шолохова на XX съезде КПСС, в котором он утверждал, что наша литература находится в отрыве от жизни, а, следовательно, и от народа; выступление В. Каверина на Втором съезде писателей, в котором он дает по пунктам целую программу для будущей советской литературы; выступления студенчества, «старающегося перечеркнуть все достижения нашей советской культуры» — всё это тревожные симптомы.

Предсъездовские дискуссии писателей, художников, музыкантов... Печатные высказывания Игоря Грабаря, выступления Шостаковича. Бои, идущие против соцреализма на всех фронтах советского искусства, бои, идущие на научных фронтах против диалектического материализма, заставляют прислушиваться и вникать в самую суть вещей.

Ведь что такое, собственно, советская культура? Почему она советскими писателями, критиками, журналистами всегда противопоставляется всем остальным культурам мира? «Только наша советская культура может достигнуть такого невиданного расцвета... Наша советская культура в противоположность всем буржуазным культурам мира...» и т. п. Простое ли это хвастовство или же есть под ним какая-нибудь почва?

В основе любой культуры — высокой или низкой — всегда лежит мировоззрение и мироощущение данного народа. Существовали антич-

ная культура, культура Египта, Индии, Китая, христианская культура.

В основе каждой из них лежала своя религия, которая определяла миропонимание и мироощущение этого народа, и накладывала на культуру неизгладимый отпечаток, на все области ее: литературу, живопись, музыку и науку.

И вот, впервые в мире, в нашей стране попытались осуществить культуру, основанную не на вере в Дух, а в Материю. В этом и состоит разница. Поэтому и можно противопоставлять советскую культуру всем остальным «идеалистическим» культурам мира.

Больших трудов по советской эстетике за все эти годы создано не было. До сих пор советское искусство покоится на идеях родоначальника первой материалистической эстетики — Н. Г. Чернышевского.

Я приведу несколько мест из его диссертации, которые, мне кажется, говорят очень много, и которые и по сей день еще являются законами советского искусства: «истинная величайшая красота — есть красота, встречаемая человеком в действительности, а не красота, создаваемая искусством». Чернышевский требовал, чтобы творец создавая ценности, «высказывал свои мысли, свои взгляды, свои чувства». Поэзия, искусство обязаны давать «ответы на запросы современности». «Бесполезное не имеет права на уважение. Изменение мира — вот задача науки и искусства, вот содержание и для поэзии». «Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии; образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности».

Отмена высшего духовного начала в искусстве в свое время страшно поразила профессоров Чернышевского. Искусству отводится подсобная роль. Материя — базис, дух — надстройка над базисом, следовательно, к духу следует относиться с должной строгостью. Он обязан обретаться на службе у материи, быть использован ею в своих целях: давать ответы на вопросы современности, никогда не быть бесполезным и вообще содействовать материи в переделке мира.

Ленин читал Гегеля, по его выражению, «выкидывая боженьку, абсолют и прочие чистые идеи». Эстетика Чернышевского устраивала Ленина вполне. Он продолжил ее дальше своей статьей «Партийная организация и партийная литература». Написана она была в 1905 году и относилась еще ко времени царской России.

Статья эта вводит принцип партийности в искусство в противовес «буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму», «барскому анархизму» в погоне за наживой». «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!» «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колёсиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы».

Итак, искусство должно быть еще и пролетарским и партийным.

Боюсь, что такую нагрузку искусству выдержать было нелегко, когда даже Белинский, увлекаясь и материализмом и социализмом, признавал за искусством не совсем обычные качества:

«Поэт есть раб своего предмета, ибо не властен ни в выборе его, ни в развитии, ибо не может творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной воле, если не чувствует вдохновения, которое решительно не зависит от него . . .»

Если мы вдумаемся в смысл всех этих нагрузок на искусство, то придем к выводу, что все они — гири, не дающие ему подняться и улететь в миры иные, туда, где именно и возникают образы гораздо более сильные, чем сама жизнь. Как теперь доказать, что Наташа Ростова — лишь «бледная и почти всегда неудачная переделка действительности»? Или образы Достоевского? Или Шекспира, переживающие миллионы людей, переживающие столетия? Или Венера Милосская, о которой с большим значением написал в своем «Русском лесе» Леонов: молодое поколение СССР стоит на платформе эстетики Чернышевского, старшее — всё еще цепляется за «идеалистическое» понимание искусства. Сережа, сын, равнодушно проходит мимо Венеры. Она ему ни к чему. У нее нет никакой пропагандно-служебной роли. А нагота ее только действует развращающе. Отец, забываясь, кричит ему в отчаянии: «Опомнись, не кидай камнем . . . Это может обидеться и надолго уйти из мира. Перед тобой же всечеловеческая красота . . .»

О какой всечеловеческой красоте может идти речь в коммунистической эстетике?

Очень показательны, что марксист Плеханов, например, удивлялся и так и не смог решить следующий вопрос: «Почему, будучи вызвано к жизни интересами того или иного класса, истинное произведение искусства сохраняет всё свое значение для других классов, приходящих ему на смену?»

Об идейности в литературе и искусстве Плеханов тоже был несколько иного мнения, чем Ленин. (Недаром он столько лет ходил в «оппортунистах»!). Он допускал, например, разность идей. Он принимал возможность, что человек может увлечься или не увлечься данной идеей. Он писал: искусство — есть проповедь, но проповедь лишь тех идей, которые вошли в плоть и в кровь проповедующего, дабы «не смущали, не сбивали, не затрудняли его в момент художественного творчества». Когда же «это неперемное условие отсутствует», тогда «проповедник не сделался полным господином своих идей . . . тогда идейность вредно отразится на художественном произведении, тогда она внесёт в него холод, утомительность и скуку». Плеханов шел еще дальше: пролетарское искусство он мыслил не как нечто совершенно новое, оторванное от традиций искусства предшествовавшего пролетарскому, но как закономерное продолжение лучших достижений мировой культуры. Но это и было его потолком. Потому что с Тургеневым, который однажды заявил, что «Венера Милосская, пожалуй, несомненно Римского права или принципов 89 года» — Плеханов уже никак согласиться не мог.

Но повидимому классовости, утилитаризма, пропагандно-идейного значения, партийности и прочих вериг оказалось мало в борьбе за новое пролетарское материалистическое искусство. В тридцатых годах выплыл на сцену новый воин-защитник коммунизма: социалистический реализм.

СОЦРЕАЛИЗМ И КОММУНИЗМ

Сборные данные о наступлении на социалистический реализм дала «Литературная газета» № 7 с. г., печатая материалы Пленума правления союза писателей Украины. Докладчик Л. Новиченко собрал сведения о соцреализме вполне обстоятельные: и буржуазные идеологи, и определенные группы в странах народной демократии, и свои собственные писатели «ведут атаку против метода социалистического реализма. Одни считают, что с соцреализмом уже покончено, другие, признавая, что он жив, призывают бежать от него как можно дальше, ибо этот метод, по их неглубокому мнению, есть результат так называемого «сталинизма». «Говорят, что надо отказаться от метода социалистического реализма, что это, мол, «принцип», а не «метод». «Говорят также, что понятие метода соцреализма было дано в 1932 году, как гипотеза, как лозунг, как теория, в рамки которой, мол, потом уже искусственно вгонялась творческая практика писателей». «Говорят далее, что соцреализм — нормативная и догматическая эстетика, собрание канонов и прописей, регламентирующих и связывающих художественное творчество». «Демагоги и крикуны пытаются распространять нигилистические взгляды на советскую литературу, преуменьшая ее достижения, принижая ее роль в духовной жизни советского общества. Такие люди кричат о том, будто бы вся наша литература 30—40 годов представляет собою сплошной ряд неудач, ошибок, заблуждений».

Докладчик отметил «притупление у наших писателей чувства современности» (Чернышевский! — Н. Т.) и подчеркнул, что «существенный недостаток многих наших разговоров о соцреализме состоит в том, что вопросы мировоззренческого характера часто оказываются оторванными от вопросов художественных, эстетических».

Я привела столько цитат из одного доклада, поскольку они являются общим тоном партийной критики наших дней. Именно так написаны буквально сотни статей в «Правде», «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Искусстве», в «Вопросах философии», «Вестнике Академии Наук» и других периодических изданиях.

Бои с соцреализмом идут не на жизнь, а на смерть. И их можно расценивать только как бои за духовную свободу творческой интеллигенции. Социалистический реализм, родившийся из тех же недр материалистического мировоззрения, как и коммунизм, т. е. ставящий во главу угла веру в материю, а, следовательно, и веру в возможность перестройки мира и человека согласно своей теории всеобщего равенства, социалистический реализм является одним из методов построения коммунистического строя на земле, методом обработки человека для будущего общества. Об этом в свое время писатели на Первом съезде в 1934 г. записали в свой устав следующее: «Социалистический реализм, являясь основным методом художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идей-

ной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма». (Разрядка моя. — Н. Т.).

Кроме того, соцреализм является и принципом видения мира в его «революционном» развитии к конечной цели — осуществлению земного рая — коммунизма.

В социалистическом реализме фактически заключаются все элементы и смысл материалистической эстетики: **реализм** — отражение, а не преобразование мира, **социалистический** — видение мира только в одном единственном аспекте. Он обуславливает собой принцип партийности в литературе. Он охраняет писателей и их творчество от высших идей. Он заставляет искусство и литературу нести служебно-пропагандную роль.

Связь соцреализма с коммунизмом самая прямая. Соцреализм — логическое следствие коммунизма, единственно возможный принцип и метод коммунистического искусства. Соцреализм — это страж и воин, охраняющий истину Обоожествленной Материи.

Поэтому мы вправе выдвинуть следующий лозунг: борьба с соцреализмом — это борьба с коммунизмом.

Каждый деятель искусства должен отдавать себе в этом отчет. Иного выхода из этого тупика нет. Свободная творческая и духовная правда художника восстает против насильственной «правды» материи.

*

В советской науке роль соцреализма исполняет диалектический материализм. Разрыв между наукой и коммунистической философией, не могущей уже выбраться из идеологического тупика, все углубляется. Научные журналы («Вестник Академии Наук») всё более подчёркивают невозможность объяснить новые научные открытия, теорию относительности Эйнштейна, кибернетику, законы атомной физики диалектическим материализмом.

*

Вспомнив вкратце идейные основы советской культуры, мне хочется сделать следующее заключение: то, о чем думал Чернышевский, Ленин и отчасти Плеханов — свершилось: напрасно партийные критики нападают на «лакировочные», «производственно-колхозные» и прочие подобные им романы, стихи, колхозно-заводские картины, скульптуру и музыку. Все эти «произведения» именно и являются той самой «культурой», которая была задумана и определена новой материалистической эстетикой.

Искусство, исполняющее служебную роль, подчиненное низшему началу, обездуховленное, следовательно, лишенное творческого вдохновения, бледное, уступающее действительности, классовое и партийное — со всей полнотой воплощено в бездарные произведения последних десятилетий. Следование же принципу и методу соцреализма окончательно оторвало советское искусство от жизни — увело от народа и превратило его в некую замкнутую систему, повисшую бессильным придатком коммунистической партии.

Советская культура — вненациональна, вненародна. Все культуры коммунистических держав неотличимы друг от друга.

И до тех пор, пока принципиально не изменится положение, не

одоухотворится то, что должно служить Духу, а не экономике, выход из тупика найден не будет.

Культ личности, на который ссылаются все и без конца, обнаруженные вредные направления, целый ряд отклонений от «правильного» пути — всё это дела не изменит. Доказательством служит безобразная и циничная травля, как и при Сталине, писателей В. Дудинцева, Д. Гранина, С. Кирсанова, Е. Евтушенко, писателя и редактора «Литературной Москвы» В. Каверина и других, примкнувших к упомянутым.

*

Когда у одного моего знакомого разгоряченные спором друзья спрашивают: «Ну, а вы как считаете? Литература в СССР — это что, по-вашему, советская или русская? — он спокойно и слегка лениво отвечает: — Все, что написано хорошего за эти годы, — это, конечно, русская литература. А все остальное — советская...»

На мой взгляд это самый точный, самый верный и справедливый ответ...

Современная Россия как бы состоит из двух элементов: коммунистического и собственно российского. Вторую часть моего доклада хочу посвятить в отличие от первой — коммунистической — части собственно российской.

II

КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА СССР

Самое основное, с чего приходится начинать эту тему, — с вопроса о культурной элите СССР. Вопрос тяжелый, обремененный неприятными обстоятельствами.

Впервые за сто с лишним лет в истории нашей культуры российская творческая интеллигенция оказалась в одном стане с властью. Она — верный ее помощник, проводник идей, слуга и раб, выполняющий малейшую прихоть своего господина.

И это поразительно. Что заставило ее изменить своей природе? Что и по сей день еще держит ее в этом позорном рабском состоянии? Мы вправе гордиться нашей российской интеллигенцией, на протяжении ста с лишним лет одарившей Россию необыкновенным разнообразием и богатством проявленного духа. Ни трусостью, ни продажностью, ни малодушием, ни материализмом она не отличалась. Это было светлейшим явлением в нашей общественной жизни, эпитафией над которым можно смело поставить слова Радищева, первого российского интеллигента: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала...»

Российская интеллигенция — явление поразительное и единственное в мире. Ее не с кем сравнивать. Интеллигенция российская и западная — понятия совершенно разные. Наша интеллигенция — явление чисто духовного порядка, глубоко отразившее наши национальные глубины.

Поражает разнообразие и богатство ее: Радищев, декабристы, славянофилы, западники, Аксаков, Белинский, Герцен, Бакунин, Чернышевский, Добролюбов, петрашевцы, народники, Достоевский,

Толстой, Тургенев, Щедрин, Чехов, Горький и множество других, представляющих собой целый богатейший спектр политических и общественных направлений, философско-духовных исканий, верований, надежд. . . Российская творческая интеллигенция осмыслила не только прошедшее и настоящее нашей страны, но во многом — будущее.

Что же случилось? Почему мы сорок лет стоим перед позорным фактом пресмыкания и рабского подчинения антинародной власти современной творческой интеллигенции?

Перед теми борцами, которые пали в неравном бою, покинули Родину и уехали в эмиграцию, покончили самоубийством, погибли в заключении, — мы низко склоняем голову. Но не о них сейчас речь. Не они творят и творили ту самую советскую культуру, о которой шла речь выше. И не они создавали прекрасные произведения — одновременно! — которые исподволь продолжают традиции старой российской культуры.

Мы хотим поговорить о культурной элите современной России, которая живет интенсивной жизнью, творит, печатается и продолжает носить на себе почетное звание творческого интеллигента нашей родины.

Шолохов — признанный ученик Толстого. Леонов — ученик Достоевского. Лирическая поэзия за малым исключением следует образцам поэзии девятнадцатого века. В мире живописи во весь богатырский рост стоит Репин, передвижники. Театр боится запятнать свои классические формы. Сколько уделяется места в критике пожеланиям следовать славным традициям старой российской литературы и искусства!

Почему же кроме «реализма» ничего другого из традиций не осталось? Жертвенная борьба за свободу, преданность общественно-народным интересам, стремление к идеальным формам государственного управления, в которых бы гармонично сливались в едином целом народ, власть, общество?

Можно, конечно, просто решить этот вопрос: все хорошие вымерли или уехали в эмиграцию. Остались человеческие отбросы: продажные подлецы. Произошел жестокий естественный отбор. Понятие «российской интеллигенции» просто перестало существовать. Соблазн думать и м е н н о т а к очень велик. И доказательств к этому много. Но мы рискуем подумать иначе.

Первое, что нарушает подобное строение, это — молодые силы, которые вливаются потоком в жизнь культурной современной элиты. Новое поколение входит с новыми представлениями, новой верой и новыми идеалами. Было время, когда Маяковский чувствовал себя стариком, читая Николая Островского или Авдеенко. А сейчас Эренбург и Леонов пристально всматриваются в незнакомое лицо поэта Евтушенко, писателей Тендрякова, Дудинцева, Градина. . .

У каждого из них — представителя старшего, среднего или младшего поколения — был индивидуальный путь. Каждый подвергался всем житейским соблазнам, каждый пережил и страх, и уступки совести, и прельщение материальными благами.

Но я уверена, что не может не быть какой-то глубоко лежащей причины, которая сознательно или подсознательно побуждала и по-

буждает, может быть, и по сей день этих людей находиться на службе у антинародной власти.

В течение одного столетия ни народ, ни его интеллигенция измениться в своей сущности не могли. Не верю я и в то, что можно в такой стране, как наша Россия, истребить всех честных людей и искусственно создать тип нового человека, духовно опустошенного, но способного творить при этом духовные ценности.

Для того, чтобы наиболее полно обозреть и понять культурную жизнь современной России, надо, вероятно, подняться в поднебесье и оглянуть с птичьего полета последние два века: девятнадцатый и двадцатый. Задача нелегкая. Причем подняться надо так, чтобы все личное осталось на земле.

КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ

В девятнадцатом веке поражает сразу несколько особенностей. **Первая:** как огромен список репрессированных или преследуемых властью писателей, публицистов, поэтов, журналистов, общественных деятелей!

В течение двухсот лет хорошей царской жизни от 1700 г. по 1900 г. было подвергнуто опале и репрессиям сто восемьдесят один человек. В их числе: Посошков, Радищев, декабристы, Полежаев, Пушкин, Лермонтов, Герцен, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Тургенев, Михайлов, Чернышевский, Лев Толстой. (По новой книге А. Ляковского, «Мартиролог русских писателей», Изд-во «Библиофил», 1956 год).

Вторая поражающая черта: несмотря на необыкновенное разнообразие политических и общественных течений и направлений, несмотря на активнейшую борьбу интеллигенции за духовную и физическую свободу народа против форм абсолютного властвования — во всем потоке, кроме одной тонкой струйки — нет ничего разрушительного. У каждой общественно-политической группировки, как и у отдельных лиц, обнаруживается огромной мощи созидательная сила. Все, в каком бы протесте и разнообразии и борьбе между собой ни находилось, начиная с Посошкова при Петре I и кончая Бакуниным — «апостолом разрушения», все было пронизано жизнеутверждающими созидательными силами.

Отрицание власти и борьба против нее осуществлялись лишь постольку, поскольку вся элита страны в продолжении последних ста пятидесяти — двухсот лет стремилась стихийно и неуклонно к гармоническому слиянию воедино власти, общества, народа, церкви. Много бед принесла нашему государству разобщенность этих элементов.

Вероятно именно этим и объясняется такое особенное, как бы двойственное, отношение к власти-царю — у декабристов, у Пушкина, (Напр., сравнить «Послание в Сибирь» и «Стансы», посвященные Николаю I), у Достоевского (несмотря на инсценировку над ним казни и ссылку на каторгу; он стал монархистом), у Герцена, Аксакова-славянофила (его письмо Александру II), у Белинского, который умел писать и такие строки: «Да! В настоящее время зреют семена для бу-

дущего! И они взойдут и расцветут пышно и великолепно, по г л а с у человека колюбивых монархов!» (Разрядка моя. — Н. Т.) И, наконец, у Бакунина: «Скажем правду: мы охотнее пошли бы за Романовым — если бы Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в ц а р я з е м с к о г о. Мы потому охотно стали бы под его знаменем, что сам народ русский еще его признает, и что сила его создана, готова на дело, и могла бы сделаться непобедимой силой, если бы он дал ей только крещение народное. Мы еще потому пошли бы за ним, что он один мог бы совершить и окончить великую мирную революцию, не пролив ни одной капли русской или славянской крови». (Разрядка здесь и дальше моя. — Н. Т.)

И, наконец, **третье и последнее**, поражающее в девятнадцатом веке: в деятельности, которую репрессированные и опальные писатели проявляли после арестов, ссылок, закрытия издательств, запрещения печатных органов и авторских книг. Во всем этом сквозит удивительная черта: все они, после репрессий, и во время них, во время опал продолжали жертвенно служить государству, — «н а б л а г о т ч и з н е». Ни отрешения от жизни, ни ненависти к правительству, ни отрицания страны как Родины-мачехи у них не было.

Интересы Родины, народа для нашей интеллигенции до самого конца стояли выше личных обид, жестокостей и несправедливости. Деятельность Радищева, который после ссылки участвовал в составлении государственных законов, декабристов, Пушкина-академика и исторического исследователя, не говоря уже о его литературной работе, Щедрина, Достоевского («Дневник писателя»), Тургенева, Лермонтова и других поражает своей незлобностью и глубочайшей порядочностью, благородством.

Русская старая культура, в лице ее почти поголовно опальных деятелей, носила еще ко всему целостный характер. Наши писатели и поэты не могли и не желали отделять эстетические от их содержания. Вечное искание истины и справедливости во всех художественных произведениях отличает российскую культуру от остальных. И еще одно: в своих исканиях истины и справедливости наша культура не удовлетворялась границами России — она жаждала справедливости и доброй жизни для всего мира. И в этом сказывалось ее православно-христианское существо.

БЕЛИНСКИЙ—ЛЕНИН—НАГУЛЬНОВ

Мы вначале сказали: весь поток, кроме одного тоненького ручейка, т. е. кроме левых, отказавшихся от нашей духовной сущности и приведших Россию к коммунизму. Социалистические мечты Чернышевского, позднего Белинского и их учеников и последователей уже не укладывались в богатое сознание православной России. В противовес Бакунинскому заявлению о великой и бескровной революции, они призывали «Русь братья за топор». Этот ручеек вышел за пределы русла родной реки и потек по чужому западному руслу марксизма. «Если какой-нибудь народ попробует осуществить в своей стране марк-

сизм, то это будет самая страшная тирания, какую видел мир», сказал Бакунин.

Путь материалистический, аморальный, разрешающий преступление и оправдывающий его целью, очень скоро заставил Белинского воскликнуть совсем противоположное тому, что он писал вначале: «Я теперь в новой крайности — это идея социализма, которая стала для меня идеей новой, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания. Все из нее и к ней. Я все более и более гражданин вселенной. Безумная жажда любви все более и более пожирает мою внутренность, тоска все тяжелее и упорнее. Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его я, кажется, огнем и мечем истребил бы остальную».

За Белинским, обуянный той же огненной страстью, повторил и Ленин: «Девять десятых русского народа можно пожертвовать, а оставшаяся десятая будет строить социализм».

За Лениным, воспаленные той же идеей, ощутили себя спасителями мира и угнетенных народов тысячи русских простых людей. Исторический образ Нагульнова в «Поднятой целине» М. Шолохова символизирует эту маратовскую любовь к человечеству уже после большевистской революции. Простой казак Нагульнов коммунист-аскет, преданный идее мировой революции, поистине страшен:

— «Диву можно даться о твоей непонятливости... Я коммунист, так? В Англии тоже будет советская власть? Ты головой киваешь, значит будет. А у нас много русских коммунистов, какие по-английски гутарют? То-то и есть, что мало.» «... На английском языке буду без нежностей гутарить с мировой контрой! Пуцай гады трепещут заране! От Макара Нагульнова им, ктм... Это им не кто-нибудь другой! От него помилования не будет. «Пил кровя из своих английских рабочих классов, из индейцев и из разных других угнетенных нациев? ксплотировал чужим трудом? — становися, кровяная гадюка, к стенке!»

Таков ручеек, породивший океан крови в нашей стране...

«МЫ СЛУЖИМ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ...»

Так, с птичьего полета, пристально вглядываемся мы в просторы Родины в течение полутора веков... В каждом человеке сидят все его предки: добрые и злые. Никого не откинешь, выбора не сделаешь... Приходится принимать и Авеля и Каина, Иуду и апостола Иоанна, Бакунина и Пушкина, Чернышевского и Достоевского...

Судьбы Маяковского, Алексея Толстого, Эренбурга, Замятина, и, наконец, письмо Фадеева — дают ответы на поставленный нами вначале вопрос; в особенности же письмо Фадеева, которое он перед смертью написал в ЦК КПСС, и которое ходило в рукописном виде по Москве: «Я стоял в те страшные годы на распутье. Маяковский отказался идти дальше. Он поступил честно. Я пошел дальше, зная, куда иду... Я сознательно отдал свой талант и свою душу ложному миру. Но и этой жертвы было мало. У меня отняли не только пра-

во говорить правду, но отняли и право свободно лгать... Вы сбросили кумир с пьедестала и разбили его. Вы обесмыслили не только мою, но и свою жизнь. Лучше ложь, чем ничто...»

В этом письме — главное для нас: признание в с л у ж е н и и. И это чрезвычайно важно. В этом служении отзвуки того аморального — «лучше ложь, чем ничто,» — пути, который начался с Чернышевского. Но в этом письме и еще одно: недосказанное...

Маяковский пережил ту же трагедию, но нашел в себе силы решить: лучше ничто, чем ложь. Фадеев не смог...

И вот думается: народ! В советской стране все делается для народа. Дети учатся для народа, инженеры уезжают на далекий Север строить тунели для народа. Писатели, поэты, художники и музыканты служат своим творчеством народу. Наш народ — это самое главное в жизни страны. Все для него делает н а р о д н а я советская власть.

Не заложен ли в этой — одной из многих коммунистических фикций — некий ответ на поставленный нами вопрос?

Не обернулся ли и здесь коммунизм своим страшным ликом Антихриста, как и в лозунге «за мир во всем мире», в спасение человечества, в мировой революции? Не обернулся ли и здесь одним из великих мечтаний России — мечтаний нашей интеллигенции девятнадцатого века — слиться в органическое целое, в гармоническое единство государства: народ, власть, общество? Церкви же не надо — вместо христианства есть коммунизм.

ХРИСТИАНСТВО И КОММУНИЗМ

Ручеек из девятнадцатого столетия привел к океану кровавой революции и гражданской войны. Русь взялась за топор. Ненависть сменила любовь. Созидательная сила, свойственная российскому обществу и всему народу, обернулась мощью разрушения. Моральная чистота и благородство сменилось аморальностью. Социально-политические идеи заменили духовные искания. Православно-христианская вера заменилась верой в рай на земле.

Может быть, действительно, прав Достоевский, что русскому человеку обязательно надо верить. Все равно во что, хоть в неверие, да верить. Универсальная идея коммунизма сменила универсальную идею России и стала верой новых людей. В идею коммунизма влились вековые чаяния народа и уместились в его экономических решениях духовных проблем. Ежели Дух не помог, авось Материя вывезет... Российское мессианство, которое так глубоко ощущалось и Чаадаевым, и Герценом, и Тютчевым, и Достоевским, питалось чистым источником — православно-христианским ощущением мира.

Коммунистическое мессианство — марксистское — принесло в себе элементы диаметрально противоположные. Внешняя схожесть идеалов христианской России и коммунистической таит в себе страшный смысл.

Впервые отметил это Достоевский в «Братьях Карамазовых»: «И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, а живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам,

и может быть играл бы видную роль». «Европейский либерализм и даже наш либеральный дилетантизм, часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианством».

Разве не удивительно и не жутко звучит бесконечное упоминание понятия п р а в д ы в коммунистической прессе? Ведь только стоит обратить на это внимание: самая крупная газета называется «Правдой». И огромное число маленьких провинциальных газетеночек «правд», «истины» единственно справедливого устройства человечества. В статьях, романах, стихах — везде, как лейтмотив, повторяется одно и то же: мы — обладатели правды земной. И никто больше.

Вот, например, стихи поэта Евг. Винокурова:

Мне нужна только истина. Вынь да положь!
 Жив я, правдой одной дорожа.
 Знаю я — на губах так же пагубна ложь,
 Как на чистом оружии ржа.

Это — один из бесчисленных примеров правды-лжи. Но мне сейчас хочется не о пропагандной стороне сказать: пропаганда коммунистов лжива и обездушена до крайней степени. Но она лишь — следствие глубинных процессов коммунизма. Например, у Орвелла, в романе «1984», в котором он произвел глубочайший анализ коммунизма, подобные стихи пишут уже машины. А вот что министерство пропаганды называется министерством Правды, а МГБ-МВД названо у него министерством Любви — в этом кроется страшная истина.

Коммунизм обладает еще одной общей чертой с христианством: он активно несет свои идеи в мир. Т о л ь к о христианство и т о л ь к о коммунизм действительны в разнесении своих диаметрально-противоположных истин. И вот получается один из жизненных парадоксов, тоже весьма знаменательный: коммунизм, который вытекает из социально-экономического учения, который в основе своей выливается из материалистического мировоззрения, отрицает духовное начало, веру, идеализм, жертвенность, личность и прочие атрибуты идеалистов, — сам вызывает идеализм, жертвенность, пробуждает веру в себя — т. е. это значит, что духовное начало в отношении к нему доминирует над материальным.

Все наши великие стройки произведены идеалистами-комсомольцами. И если коммунизм идейно и держался до каких-то пор, то повидимому именно теми праведниками-коммунистами, которые выносили его на своих плечах верою. Коммунизм — вопрос духовного порядка. И это очень важно помнить в решении поставленного нами вопроса о служении культурной советской элиты советской власти.

Правительства можно свергать сколько угодно. Социально-политические строи можно менять тоже сколько угодно. А вот попробуйте, например, свергнуть христианство? Попробуйте уничтожить коммунизм как некое духовное существо? Все ваши доказательства нелогичности, мизерности философских построений марксизма будут н и к ч е м у. Да и вообще, человек, увлеченный идеей коммунизма, принявший его лжеправду, не нуждается ни в каких диалек-

тических материализмах. Ему важно, что у него истина в кармане, что он — участник в благом деле спасения человечества. Он верит, он ощущает себя великим.

Коммунизм не только изгоняет всякую иную веру в Дух, как ненужную или вредную. Он открыто претендует занять ее место. Тот же коммунист—писатель Михаил Шолохов запечатлел это стремление в «Поднятой целине» одной краткой фразой: «Кондрат давно уже не верит в Бога, а верит в коммунистическую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобождению, к голубому будущему».

*

Итак, подводя некоторые итоги, я осмеливаюсь сделать следующий вывод: одной из глубинных причин служения культурной элиты коммунистической власти является самообман в том, что служа власти, писатель, художник, поэт, ученый служит народу, и что служа власти и народу, культурная элита участвует в спасении мира, неся ему новую идею земного устройства.

Две мечты России XIX века — о слиянии в единое народа и власти, и мессианская роль России в мире явились первопричинами этого самообмана. Блоковские «Двенадцать» — знамя и символ этой части интеллигенции. Именно так: впереди двенадцати выходцев из народа российского шествует Христос в мир...

Но, отмечая это, хочу сразу подчеркнуть, что самообман мог быть, во-первых, и подсознательным, во-вторых, только в начале творческого пути, у каждого в свое время, т. е. как у Маяковского, Фадеева, Замятина — сначала верил и потому служил. Потом перестал верить и — один покончил с собой, другой выехал в эмиграцию, третий... продолжал уже сознательно служить ложному кумиру...

Огнем и мечем Отечественной войны был истреблен в нашем народе гипноз коммунистического мессианства. И мы коснулись этого вопроса лишь постольку, поскольку на основании прошлого хотим осмыслить процессы, происходящие на нашей Родине сегодня.

III ВОЙНА

Война — извержение российского вулкана. Война — атомный взрыв российского духа... Начался процесс и не остановишь ничем. Мы не раз уже говорили об этом удивительном периоде в советской литературе, — о военном. Россия как бы стала преображаться. Ее лик, искаженный коммунизмом, стал проступать в знакомой былой красоте. Открывались церкви. Люди жертвовали собой. Наново осознавались человеческие отношения: дружба, любовь. Люди смелели, всем сердцем ощутив Родину. В эти годы, на которых у нас нет времени сегодня останавливаться, начался обратный процесс: коммунистические лжеценности на глазах превращались в дым, за-

меняясь буквально на ходу и стихийно, во всех слоях народа, ценностями российскими и вечными.

Когда-нибудь военный период литературы дождется своего исследователя, и тогда огненными красками вспыхнет Россия 1941—1945 годов.

Но что мне хочется особенно отметить — это, во-первых, обновившееся религиозное сознание России. И, в связи с этим, осознание особенности и таинственности ее путей:

«... Ее называют с ф и н к с о м собственные поэты,

Кто разгадал загадку странной этой страны?»

— писал в 1944 году советский поэт Илья Сельвинский.

А Константин Симонов углублял эту тему:

«... Всем миром сойдясь наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих...»

Мальчики—поэты, ушедшие из десятых классов прямо на фронт, видели с в о ю Россию, ее живое прекрасное лицо, пристально вглядывающееся в новое поколение:

«... Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты...»

— писал Семен Гудзенко.

«... Весна сорок третьего года... Война, глубоко перетряхнувшая жизнь, вдруг оживила старые, казавшиеся давно забытыми связи. К старым друзьям потянуло, как потянуло к «Войне и миру», к книге, которую тогда читали все и в тылу и на фронте. Многие были недоговорены, полужамечены — и все задумались — да не были ли эти полужамеченные, промелькнувшие мысли и чувства самыми серьезными, самыми глубокими в жизни?» (В. Каверин. «Поиски и надежды»).

Мессианство ни на минуту не оставляло Россию: но и оно вернулось в годы войны в свое лоно: в православно-христианское.

Ощущение особенности России, ощущение того, «что на наше прекрасное отечество обращен таинственный индекс, как на страну наиболее способную к исполнению великой задачи» (Достоевский), ощущение духовной миссии четко проступает на фоне военных лет. Как и в прошлые годы и века России мало было самой освободиться от врага. Ей необходимо н е м е д л е н н о спасти весь мир, всех людей — своих братьев.

Тот же мальчик— поэт Гудзенко писал:

Когда мне говорят: Победа, я вижу

зеленый небосвод,

Многострадальная планета

По кругу вечному идет...

... Солдат в линялой гимнастерке,

Который спас от смерти мир.

... В пути военном, многоверстном,

Бывало очень тяжело.

Ведь это не легко, не просто,

Чтоб во вселенной рассвело...

И, наконец, еще одно пробудившееся чувство, которое сейчас, в наши дни, расцветает махровым цветом: это обновленное чувство г р а ж д а н с т в а:

Он был, как факел, этот год!
 Как штукатурка сыпались уловки,
 и в силу обнажившихся причин,
 в год затемнения и маскировки
 мы увидали ближних без личин.
 ... И нам, свидетелям, доньне святы
 и дышат в нашей памяти поднесь
 дежурства, крыши, аэростаты —
 московских буден взрывчатая смесь ...
 Фасадов камуфляжное убранство,
 Симфония отбоев и угроз,
 И это чувство гордого гражданства,
 В первые пережитое всерьез.

Юлия Нейманн

(«Литературная Москва» 1956 г.)

Чувство гражданства, гордого гражданства, национальное самоосознание... Человек обрел себя, свою душу, и наново ощутил себя гражданином, но уже не СССР, а России. Недаром все читали «Войну и мир» и в тылу и на фронте...

Канули в небытие Нагульновы, бредящие в коммунистической лихорадке о кровавой мировой революции. А с ними рухнул в небытие и материалистической мессианизм Маркса, которой, по глубокому определению доктора Александра Рудольфовича Трушновича, был реализацией соблазна Христа в пустыне...

«ПОЭТОМ МОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬ, НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН...»

Чувство гражданства, обретенное вновь и с новой силой... Какой вздымающейся волной ощущаем мы его сейчас, шестнадцать лет спустя после начала войны — крутого поворота в жизни нашей России.

«Поэтом можешь и не быть...» — российская традиция со времен Петра Великого. Вот он первый гражданин-писатель, осознавший себя только гражданином, талантливый, скромный и упорный Иван Тихонович Посошков, мастеровой и выходец из крестьян, сочинявший свои «записки» и «донесения» о несправедливостях и творившихся на Руси беззакониях для Великого Петра. Вот сидит он за своим последним трудом «Книгой о скудости и богатстве», трудом, посвященном социально-экономическому переустройству русской жизни... Был он преследуем, заточён в тюрьму, в которой в безвестности и скончался.

Пусть этот отважный человек напоминает России о ее невыплаченном сполна долге. О гражданском долге перед Родиной...

Идеал российский о «земском царе», о превращении государства в церковь (Достоевский), о «государе — первом народном слуге» (Радищев), о слиянии государства в одно гармоническое целое — еще никогда не был воплощен в нашей жизни... И никогда еще Россия не была от него так далека, как в годы коммунизма.

«Вождь был слугою народа, но когда миллионы хозяев вставали при одном упомянутом имени слуги, в этом было что-то чуждое демократическим традициям, в которых мы воспитаны революцией и советским общественным строем», — пишет в «Литературной Москве» 1956 г. писатель А. Крон.

И если в прошлом веке интеллигенция умела смиряться перед абсолютной властью царя, то только потому, что всё-таки еще видела в нем символ православно-христианской власти: царь — помазанник Божий. Именно поэтому, возвращаясь из ссылки и тюрем, представители нашей культурной элиты не теряли любви к России, продолжали служить «на благо Родине».

Перед вождем же — «слугой народа», — склонять голову было куда труднее. В момент прозрения человек терял способность служить дальше не только ему лично, но и на «благо коммунистической Родины». Потому что служа народу, он теперь понимал, что невольно служит власти. Из советских тюрем и концлагерей современная интеллигенция выходит непримиримыми борцами против власти и яркими ненавистниками всего коммунистического государства в целом.

«Пусть он войдет, — говорит героиня романа В. Каверина доктор наук Власенкова о своем безвинно арестованном муже, — если есть на свете справедливость и честь, которой верят и без которой не могут жить наши дети. Пусть он войдет, или дайте мне умереть, потому что я не хочу больше жить, обманываясь и теряясь и трепеща от страха, что может победить подлость — подлость и ложь». («Литературная Москва», 1956 г.)

Лучше умереть, чем жить и знать, что победила подлость и ложь — таков приговор нашей творческой интеллигенции антинародной власти.

Мы сейчас свидетели разворачивающегося исторического процесса, начавшегося в период войны, шедшего несколько лет в подполье народного сознания и выходящего в наши дни мощным фактором на арену политической и духовной жизни современной России. Путь от ложного гражданства к подлинному — это путь возвращения нашей культурной элиты в народные российские недра. Процесс разобщения творческой интеллигенции от народа и ее служение власти, партии против народа — окончился.

IV

НОВЫЕ ВЕХИ НОВЫХ ПУТЕЙ

За новыми явлениями и процессами, получающими свое отражение и осознание в литературе, искусстве и публицистике настоящих дней, стоит во весь свой гигантский рост Россия — прошлая и вечная, о которой говорилось вначале.

Окончательное умирание идеи коммунизма, усиливающаяся реакционность опустошенной власти, историческо-духовное значение Отечественной войны определяют собой следующие процессы и явления:

1. Отделение партии от народа.
2. Отделение партии от идеи коммунизма.
3. Попытка переосмысления идеи коммунизма в духовном и государственном плане.
4. Отпадение культурной элиты от партии-власти.
5. Сближение культурной элиты с народом.
6. Бои за духовную свободу.
7. Явление «народничества» и «народнической» литературы.
8. Явление «нигилизма».
9. Явление свободной российской общественности.



1. **Отделение партии от народа.** Рассказ А. Яшина «Рычаги», («Литературная Москва», 1956 г.), является ярким примером этого отделения. Партия — это нечто мертвое, злое, лживое, которое, входя насильно в жизнь, превращает умных хороших людей в бездушных марионеток.

Рассказ своими яркими образами вопиет об одном: либо ложь, мертвечина, утробный страх и послушные куклы, — либо свободный, мудрый, чистый человек. Вместе им не бывать...

2. **Отделение партии от идеи коммунизма,** так же как и первая тема, повторяется во многих современных произведениях. Самая показательная из них повесть для молодежи Любови Кабо «В трудном походе». П а р т и я противопоставляется к о м м у н и с т - и д е а л и с т. Он преследуется партией, потому что она — мертвый бюрократический аппарат, власть имеющие — безжизненные злые люди. Учитель, герой повести, старается вдохнуть новую жизнь в идею коммунизма. «Коммунизм — это прежде всего люди, человек... чтобы заметить плохое большого знания жизни не требуется. А вы вот хорошее заметьте! Найдите его, раскопайте, вытащите на свет Божий, сумеете опереться на него — вот оно настоящее знание жизни. Не обывательское, а коммунистическое, наше»... помощь человеку «... это и есть настоящее счастье, чтобы всё, что в тебе есть, кому-то нужно было, чтобы вокруг тебя светлели...» Но кончается этот опыт фатальной развязкой: партия побеждает в поединке. А школьники, увлеченные обаянием и новизной человеческого облика учителя, делают вполне логичный вывод: «Для нас вы и есть партия». Существующая же партия в жизни — этим утверждением молодежи приговаривается к смерти.

3. **Переосмысление идеи коммунизма.** Пытаясь вдохнуть в идею коммунизма новую жизнь, автор повести «В трудном походе» старается переосмыслить ее очень своеобразным и характерным приемом, что тоже сейчас повторяется во многих произведениях: автор вспоминает, каков был коммунизм в начале революции и в первые десятилетия. Идеиное жертвенное служение родине, народу, партии, народной — **еще тогда** — власти, подвиг, чувство великого братства, любовь к родине и отдельному человеку, и служение мировому пролетариату, — всё это искренно было в сознании поколения тридцатых годов. И эти воспоминания прошлых лет, окрашенные в сказочные мечты юности, искренние и, в то же время, ложные, являются ещё од-

ним лишним доказательством того самообмана советской интеллигенции, о котором мы говорили выше. **Попытка переосмыслить коммунизм в государственном плане**, — это своеобразное проявление чувства того же пробуждающегося российского гражданства, ищущего в разных направлениях свои новые пути. Идея мировой революции скончалась в войну, сраженная волной патриотизма. К тому же незнакомый и чужой Запад, который, оказывается, и не ждал никакой пролетарской революции, встал глухой враждебной стеной. Запад, со своими законами, со своей «абсолютной свободой» (с точки зрения жителя Советского Союза), со своей разобщенностью, холодным мещанством — «все для себя»; со своей безыдейностью, в русском понимании государственной идеи как великого и общего двигателя жизни, не может в российском сознании служить примером государственного устройства. Иллюстрацией такого направления мыслей привожу отрывок из московских писем, которые мы печатаем сейчас в нашем журнале «Грани» (№ 32). В 1953 году один москвич писал сюда, за границу, конечно, нелегально о том, как он понимает коммунизм:

«Коммунистическая система пытается найти нечто новое. Я это называю теорией равновесия. В капитализме нет никакого равновесия: идет сплошной поток жизни, куда хочет. Ничья воля его не направляет. Отсюда кризисы, безработица, беспорядки... Коммунисты пытаются установить равновесие, дав всему процессу человеческой жизни твердое направление... На Западе есть законность, право, а свобода приводит к анархии в отношениях. И на западе люди живут с сегодняшним днем, ни о чем не думая... Да, вероятно, человечество, и мы, русские, можем построить новый строй, который нужен, который хотели построить коммунисты... Во всяком случае, это была попытка проявить волю к устройству социальной жизни...»

4. Процесс отхода общества от власти. В приведенной выше цитате из романа Каверина — «... дайте мне умереть, потому что я не хочу больше жить, обманываясь и теряясь и трепеща от страха, что может победить подлость — подлость и ложь...» — кто говорит эти слова? Говорит женщина, член партии, врач, профессор, член Академии Наук, человек, потративший свои лучшие годы на поиски пенициллина. Человек, искренно и до конца посвятивший себя служению людям, «справедливости и чести», выражаясь ее словами. Эта женщина — полноценный член культурного общества Советского Союза. Ее муж — тоже врач, тоже всю свою жизнь отдавший служению народу, член партии, человек, боровшийся с эпидемиями, жертвовавший жизнью без счёта. Вот он арестован по доносу, осужден, сослан. В 1953 году его освобождают, повидимому, по амнистии. Он возвращается из ссылки, с каторги, где продолжал как врач и человек служить людям. Но возвращается он сломанным, оскорбленным в самых своих святых чувствах. Оскорблена и вся семья: жена, юноша-сын, будущий врач-исследователь, брат-профессор с женой. Семья эта, отраженная в произведении, законченном всего лишь в прошлом году, является как бы символом отпадения культурной элиты от коммунистической власти. Для вернувшегося из концлагеря врача, коммуниста и общественного работника, находится лишь один выход: уход из

жизни в науку. Человек может двадцать лет просидеть за исследованием причин рака, защищенный своей темой и лабораторией. Да, безусловно, это сидение оправдывается в конечной цели служением своему народу и даже больше — всему человечеству земного шара. Но это — пример пассивного служения. А вот служить народу под девизом «служу народу, но не власти», служить каждый день, ежедневно, ежеминутно, активно, — для такого рода деятельности предоставляет свои возможности не наука, не даже искусство, а литература. Именно в этом плане — плане сближения культурной элиты с народом — очень важна и звучит совсем по-новому тема «Писатель и читатель».

5. Писатель и читатель. (Сближение культурной элиты с народом). Еще в 1954 году, готовясь к докладу, на Посевской конференции, я ощутила в стране нечто новое: начальный процесс сближения творческой интеллигенции, в основном, писателей, с читателями. И тогда я сказала о взаимосвязи и взаимном влиянии культурной элиты и народа. С тех пор прошло три года. Этот процесс явно развился и получил уже свое отражение вовне.

В небольшой заметке в «Литературной газете», драматург Погодин пишет, например, в очень резких тонах о «Зрителе, которого нет». Он просто заявляет, что ему на партийную критику в высшей степени наплевать. Его критик — это зритель, который выражает свое отношение к пьесе стуком ног и аплодисментами. Погодин первым ставит в такой острой форме вопрос о посреднике между писателем и народом, о литературном присяжно-партийном критике: «А тысячи и миллионы зрителей не пишут и никогда писать не будут, но всегда безошибочно чутьем и разумом народного гения выделяют лучшие произведения нашего искусства... Я горячо и беспредельно верю только этому зрителю, под его влиянием написал свои лучшие вещи и всегда буду служить ему».

Писатель уже сегодня начинает со страхом следить, например, за разговорами читателей в библиотеках. Писательские комиссии проводят статистические опросы: какие книги в библиотеках читаются, какие нет. И вот оказывается: «многие из книг, по уверению критиков, «горячо любимых читателем», штабелями лежат на полках; напротив, те, которые «оставляли читателя равнодушными», продолжали читаться и перечитываться...» (В. Герасимова).

Появилось новое характерное выражение — «народ-читатель». Он «наш друг, помощник, судья. И творец нашей книги... Если он читает вас, вы существуете». Важность связи читателя с писателем, которая помогает последнему творить и которую последний так ярко ощущает; правда, хоть и горькая, но которую требует читатель и которую писатель, чувствует, что обязан ему давать — все эти новые черточки характеризуют наново складывающиеся отношения между культурной элитой и народом. Признания горькие, наивные, запоздалые. Запоздалые ли? Думаю, что нет. Судя по тому, как читатели встретили роман В. Гроссмана «За правое дело», статью Померанцева «Об искренности в литературе». «За далью — даль» А. Твардовского, «Оттепель» Эренбурга, с каким подъемом встречают роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», можно сказать, что народ-читатель облада-

ет неограниченным терпением, верой, прощением и вечною надеждой на светлое, хорошее, побеждающее в человеке.

Писательница и поэтесса Вера Инбер поставила проблему двойной ответственности, приведя в своей заметке в «Литературной газете» цитату из Щедрина: «Я надеюсь, что читатель отнесется ко мне снисходительно. Но ежели бы он напомнил мне об ответственности писателя перед читающей публикой, то я отвечу ему, что ответственность эта взаимная».

Итак, три животрепещущих проблемы: ответственность писателя перед читателем. Читателя перед писателем. Устранение промежуточного слоя партийной критики, который мешает сближению культурной элиты, с народом.

Фронт писателей и читателей крепнет. Об этом свидетельствуют отдельные замечания критиков о том, что им зажимают рот, что они начинают бояться выступать, что идет организованная травля их со стороны писателей.

Если В. Каверин мог себе позволить на Пленуме правления московских писателей кричать о том, что он подаст за злостную критику в суд, если поэт Е. Евтушенко мог стучать кулаком и «ругаться бранными» словами, если В. Дудинцев мог угрожающе бросить, что ему надоел ремешок, на котором его всё пытаются водить, как малолетнего, если А. Турков посмел напомнить о сущности русского нигилизма как откровения, защищаясь от обвинений в нигилизме — то это свидетельствует лишь вот о чем: внутренняя духовная связь между читателем и писателем уже установлена. Наши писатели уже ощутили за собой народный тыл. А ощутив его, они потеряли страх перед властью и смело выходят на передовые участки фронтовой борьбы за духовную свободу.

6. Бои за духовную свободу.

Как всегда, бои могут происходить за и против. Так и есть: Одни бои идут за зрителя, за читателя, за народ, завоевывая его в свой лагерь, другие бои идут против тоталитарной власти, против духовного рабства, против форм управления литературой и искусством, наукой и т. д. В это же время идут бои и за отдельные права, которые, в той или иной мере, могут обеспечить свободу творчества и духовной жизни.

Не разбивая на отделы, поскольку каждый отдел мог бы свободно быть развернут в целый доклад, я постараюсь набросать картину основных сражений.

В жизни изобразительного искусства идут те же бои, что и в литературе — против соцреализма — мертвого натурализма, по выражению искусствоведа Игоря Грабаря, за подлинный реализм, который, кстати, Грабарь видит в так называемом импрессионизме. «Не отражение жизни (эстетика Чернышевского!), а преобразование жизни» — может стать девизом современного российского искусства, будь это театр, литература, живопись, скульптура, кино...

Не без смысла тайного и явного увлекается наше студенчество импрессионизмом, являющимся в настоящее время революционным

течением в литературе и искусстве, — свободным выявлением своего личного видения мира, своего мироощущения и миропонимания. («Импрессионизм» студенческих журналов. Б. Тих. «Посев» № 2, 13 января 1957 г.)

А. Гиневский в журнале «Искусство» поднимает как раз эти вопросы в области живописи и идет еще глубже: он ставит проблему о национальном российском искусстве. Выступает за национальную художественную школу.

Вопрос формы и содержания, т. е. художественности и идейности не сходит со страниц советской печати. Это — борьба за настоящую против коммунистических фикций, — за подлинную идейность против мнимой и обязательной; за широкое понимание идейности против узкополитического, порочного понимания идейности партией. За подлинную свободную художественность против фальшивой и т. д.

Появляются статьи, проводящие глубокий обстоятельный анализ омертвения российского искусства. К таким относится нашумевшая статья В. Назарова и О. Гридневой в журнале «Вопросы философии». Вся статья пронизана воплем о свободе творчества в театре, в драматургии. Статья И. Соловьевой в журнале «Театр» продолжает эту линию: «Дорогу осилит идущий!»!, — вот лозунг наших дней. Топтание на месте — духовной смерти подобно.

Любопытен Ленин в роли «защитника» искусства. Оказывается, что Ленин, который почти не высказывался по вопросам искусства и творчества, говорил в частной беседе с Кларой Цеткин нечто о свободе творчества. Ленин, не в пример кое-кому другому, «лояльно» относился к не нравящимся ему спектаклям: не приказывал по этой причине немедленно снимать такой спектакль со всех сцен столичных театров.

И приходится только поражаться настойчивости, хитрости и уменью, с которыми деятели культуры ищут, находят и пользуются в свою защиту ленинскими древними, зачастую дореволюционными, цитатами. Выглядит это виртуозно.

Защита соцреализма идет по линии расширения этого понятия примерно следующим образом: марксизм-ленинизм так широк, так всеобъемлющ, что он, конечно, — за разность художественных стилей, за индивидуальный почерк каждого автора, будь это живопись, литература или скульптура. Только начетчики и догматики могут так упрощать понятие соцреализма. Похоже, что и партия, сделав хорошую мину при плохой игре, снизойдет до этого приличного компромисса. Во всяком случае, Шепилов на Втором съезде композиторов в своей речи, построенной точно по принципу и методу соцреализма, подтвердив все положения коммунистической эстетики, всё-таки совершил пару поклонов в сторону творческой интеллигенции: во-первых, он признал за соцреализмом и марксизмом-ленинизмом право на широту взгляда. Во-вторых, Шепилов подхватил ноту возмущения творческой интеллигенции партийной критикой, посредником между элитой и народом. В-третьих, поддержал мысль о национальном искусстве. Но, к сожалению, всё остальное в речи секретаря ЦК КПСС вполне обеспечило спокойное течение старой политики в отношении

культуры. Время покажет как, когда и чьей волей наша культура выйдет из идейного тупика...

А что же зритель и читатель? Он молчит. Он отвечает тем, что не читает определенных книг, они гниют на библиотечных полках. Он отвечает тем, что не посещает определенные спектакли. Театры пустуют. Даж МХАТ, и тот не посещается в дни, когда там идут советские агитки.

Но для иллюстрации борьбы молчаливой и внешне пассивной со стороны народа-зрителя интересна история, о которой рассказывает в своих «Записках писателя» А. Крон: режиссера Акимова отстранили от руководства в театре Комедии в Ленинграде и перевели в театр низшей категории. Публика перестала ходить в театр Комедии. «Пришлось возвращать нераскаянного Акимова» («Литературная Москва», 1956 г.).

Театр восстанавливает старые школы, организует экспериментальные театры, увлекается Мейерхольдом... И зорко стоит на страже интересов публики и своих собственных.

В «Литературной газете» прошла целая полоса выступлений артистов Романова, Ильинского и др., в которых красной нитью обозначилась тоска артиста по настоящей роли, тоска по живому творчеству.

Государственные киностудии за последнее время занялись большими постановками: «Война и мир», «Хождение по мукам», «Тихий Дон» и «Дон-Кихот».

Как бы в противовес государственному подвластному кино возникают любительские киностудии. Одна из них — любопытная, ставит веселые остроумные комедии, в этом году поставила своими силами «Вождь краснокожих» О'Генри. В этой киностудии принимает участие лишь одна артистка-профессионалка, остальные — журналисты, учительницы, инженеры, словом, просто любители.

Возникают новые толстые журналы «Москва», «Дон», вышел интереснейший по своим настроениям сборник № 2 «Литературная Москва» 1956 г.

7. Явление «народничества» и «народнической» литературы.

Хочется отметить характерное явление, сравнительно не так давно себя обнаружившее. Я говорю о «народнической» литературе. Термин, конечно, ввожу условный. Это — произведения, которые посвящены народным нуждам, поднимают проблемы крестьянства, рабочих, служащих, т. е. проблемы так называемых «маленьких людей». Типичными произведениями такого рода являются рассказы Г. Троепольского («Митрич»), «Поездка на родину» А. Жданова, в большой мере произведения В. Тендрякова, В. Овечкина, Ю. Нагибина («Свет в окне»). В чистом виде ее еще трудно уловить, но мотивы заметно крепнут. В этом плане и «Не хлебом единым» В. Дудинцева, и «Год жизни» А. Чаковского также «народны».

В последней повести А. Чаковского герой — молодой, только что окончивший студент, приехавший в Заполярье строить туннель, идеалист и энтузиаст, сталкивается лицом к лицу с жизнью рабочих. Новое характерное слово появляется в этой хорошо написанной повести:

народолюбец. Так окрестили молодого инженера сами рабочие. И в повести Андрей-народолюбец противопоставляется народоненавистнику и эксплуататору партийцу, который тонкой рафинированной игрой делает себе карьеру на загубленной жизни рабочих. Повесть эта интересна во многих отношениях, к сожалению, на ней нет времени останавливаться. Но она — типичный пример «народнической» литературы.

Во что выльется это направление — сказать трудно. Вероятнее всего, линия эта, близкая читателю «из масс», будет и дальше крепнуть и, развиваясь, повышать качество.

В связи с этой повестью хочется отметить еще одно явление, но уже не в литературной, а в общественной жизни, в какой-то мере, вероятно, связанное и дающее направление «народнической» литературе.

В противовес официально посылаемым людям в «народ», т. е. от партии или правительства, существуют и другие. Они сами уезжают в захолустные места и занимаются просветительством. Однажды в «Литературной газете» появился любопытный очерк о молодой девушке—учительнице, всполошившей один из дальних сибирских районов. В своем колхозе эта девушка—народница создала при школе «Клуб желяющих понять и полюбить искусство». Выдержав острую борьбу с родителями, местными властями и партийными руководителями, она повезла членов клуба, старшеклассников, из Сибири в Москву, чтобы приобщить ребят к подлинному искусству. Они посетили Третьяковскую галерею, Большой театр и другие достопримечательные места, чтобы открылся им, по ее выражению, «мир высокой правды и большой красоты».

Если у нас в стране в настоящее время на каждом месте обнаруживаются «нигилисты», то почему бы не возникнуть и «народникам»? История любит иногда подобные повторения.

Обучение в России, кроме столичных городов, стоит на очень низком уровне. Хорошо, если человек кончает четыре класса, а о семилетке не так уж часто приходится мечтать. Проблема просветительства сейчас опять так же актуальна, как и пятьдесят лет назад. Если бы молодежь России шла путем этой девушки—учительницы, оставалось бы только горячо радоваться. . .

8. Явление «нигилизма».

Нигилизм — словечко, брошенное партией по типу старых модных словечек «оппортунист», «троцкист», «вредитель». . . Но в данном случае выбрано оно удачно. В XIX веке нигилизм был действительно открытием. А Бердяев определил его, как «некую нравственную рефлексию на культуру, созданную привилегированным слоем и для него лишь предназначенную».

Думаю, что это определение наилучшим и точнейшим образом характеризует современных «нигилистов» СССР XX века.

Кто же такие эти новоявленные «нигилисты»? Самое поразитель-

ное, что они пронизывают собой все слои народа: особенно же много их замечено в студенческой среде, вообще среди молодежи, но и в среде писателей, ученых, художников, и даже в среде... партийной!

«Я над всем, что сделано, ставлю nihil!» — в свое время заявил Владимир Маяковский.

Как не понимает партия, что слово нигилизм всегда революционно. Что возникнуть оно может только при наличии сугубо-реакционного правительства, и только сугубо-реакционное правительство может им наделить свою молодежь.

Нигилистические настроения в студенчестве, например, проявляются в том, что оно отрицает все достижения советской культуры за все время существования советской власти. Нигилистическое отношение проявляется молодежью и по отношению к антирелигиозным лекциям; творческой интеллигенцией к социалистическому реализму в литературе и искусстве, к диалектическому материализму в науке.

Партия бросила это обвинение, а интеллигенция его приняла. Понятие нигилизма пока что прикрывает собой всякий протест. И сейчас вряд ли можно определить идейное направление «нигилистов». За этим понятием могут скрываться и конструктивные настроения и в такой же мере разрушительные: подвиг и цинизм, романтизм и мещанство, борьба за и борьба, опустошенных коммунизмом душ, только против. Во всяком случае, это — показатель борьбы против существующего порядка.

9. Явление свободной российской общественности.

Собственно, каждому из этих вопросов, которых мы касаемся вскользь, можно было бы посвятить специальные исследования. И не только можно, но и должно. К самому обширному из новых явлений относится рождение российской общественности.

В этом месте я хочу оговориться, что все то, что я стараюсь отметить в моем докладе, может находиться и в зачаточном состоянии, но, тем не менее, уже реально существует.

О российской свободной общественности мы не раз упоминали в «Посеве». Что ее отличает от общественности советской? Безусловно, те проблемы, которые она поднимает. Даже если не всегда сразу можно раскусить, что именно предлагает власть, прикрываясь советской общественностью, то все равно всегда инстинктивно чувствуешь, что тут содержится какой-то новый подвдох. В вопросах, поднимаемых российской общественностью ясно ощутимо, что за этим не кроется ничего, кроме желания так или иначе улучшить положение, изменить его в корне или осудить.

Дискуссии, которые мы отметили как принадлежащие российской общественности, шли в разных периодических изданиях — газетах и журналах. Шла дискуссия о средней и высшей школе. Выступали отдельные лица со статьями, например, о тяжести женского труда, о спасении рыбного богатства Каспийского моря («Как губят море» Н. Дубов в «Новом мире»), о свободном посещении лекций. Об охране природных богатств Кавказа. О восстановлении ученых прошлого века,

как, например, литературоведов Веселовского, Буслаева и др. О создании правдивой истории литературы. О переводах и полном издании сочинений философов прошлого и нашего века. О переводах современных писателей Запада. Всего и не перечислишь. . . Именно на основании этого материала я и составила большой список требований, который приложен в конце доклада. За исключением нескольких, все требования взяты из советской прессы.

Но из всего вороха поднимаемых российской общественностью вопросов два следует отметить особо: это так называемое «Письмо анонима» и второе — «Заметки писателя» А. Крона.

Оба выступления характерны и важны тем, что они замахиваются уже не на отдельные недостатки советской системы, а рубят ее под корень.

«Письмо анонима» направлено непосредственно против коммунистических фикций в области духа. Правда коммунистическая противопоставляется человеческой — так можно в одной фразе охарактеризовать его. «Аноним» выступает за право человека жить не ходульными коммунистическими подвигами, навязанными ему сверху, а своей маленькой, как он выражается, жизнью маленького человека. За «анонимом» стоят миллионы граждан России, уставшие от непрерывного насильственного героизма и жертвенности, вытягиваемых из них клещами.

Но отнять у коммунизма право требовать от человека жертвы во имя коммунистической истины — это значит лишить коммунизм самой истины, превратив ее из аксиомы в захудалую гипотезу, деталь, нечто несущественное. Это значит — лишить коммунизм его рабов-строителей. Это значит — просто коммунизм уничтожить.

Второе — статья А. Крона, в которой он прямо посягает на природу коммунистической власти: «Там, где есть культ, — пишет он, — научная мысль вынуждена отступать перед слепой верой, творчество перед догмой, общественное мнение перед произволом. Культ порождает иерархию служителей культа — божеству нужны святители и угодники. Культ несовместим с критикой, самая здоровая критика легко превращается в ересь и кощунство. Культ антинароден по своему существу, — он принижает народ и заставляет рассматривать, как дар свыше, то, что полностью оплачено трудом и кровью народа. Даже культовое обожествление Народа с большой буквы имеет свою оборотную сторону — оно принижает отдельного человека».

Мало того, что А. Крон отрицает культ в своей основе, но он еще разрушает другую очень важную фикцию коммунизма — обожествление народа: «все для народа».

Итак, коммунистическая истина — истина лишь для избранных и желающих ее добровольно принимать. Культ в основе своей антинароден, следовательно — антинароден коммунизм, как таковой, весь построенный на культе. И народ в коммунистической пропаганде — это не народ, а сама власть. И власть — антинародная.

Эти выступления российской общественности уже никак не назовешь реформистскими — они до крайности агрессивны по отношению к власти.

Все это наводит на определенную мысль: не ошибаемся ли мы, говоря о реформистах разных толков, о реформистских течениях? Не есть ли это волна «гордого гражданства», охватившая целиком всю Россию после войны? Ее национальное пробуждение, рождающее, в свою очередь, общественный протест против антинародной власти?

Когда реформистскими настроениями охвачены все слои населения, все области творчества, когда писатели занимаются защитой лесов и морей, а рабочие заботятся о чести и долге писателей, когда зритель защищает снятого режиссера, а ребята-школьники готовы по образу и подобию своего учителя создать новую коммунистическую партию, когда крестьяне решают государственные проблемы, а студенты инженерного института увлекаются импрессионизмом, — когда все все критикуют и желают активно изменить? Это ли реформизм?

Нет. Это — осознание великого гражданского долга. Это — желание народа участвовать в государственностроительстве. Это — величайший процесс духовного раскрепощения России...

Сейчас любой и философами схож.

Такое время,

думают в народе.

Где, что и как—

не сразу разберешь...

(Евг. Евтушенко «Станция Зима»)

V

О БУДУЩЕМ И ВЕЧНОМ

С большим волнением приступаю к последней и заветной части моего доклада. В ней хочу говорить уже не о прошедшем, не о настоящем, а о будущем. Но всегда жива связь времен. Поэтому будущее хочу основать и на прошлом и на настоящем, а главное на вечно.

Правы в нашей литературе те, кто утверждает и кто чувствует, что этот год — год перелома, год искания новых путей, год критического отношения к старым путям.

Вершиной перевала, через который переступила наша литература, а с ней и вся культура, это — роман В. Дудинцева «Не хлебом единым».

Не говоря еще о самом романе, можно ощутить этот перелом уже в самом названии, полном глубочайшего и прекрасного значения. Эта фраза взята из Евангелия, от Луки, гл. 4; «Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим».

В этом ответе Христа дьяволу и есть ответ России коммунизму. Первая часть — название романа — без второй не может жить. Она вызывает вторую — жизнь духовную, которая преобладает, покоряет и подчиняет себе материальную. Итак, ответ свой Россия взяла прямо из источника Духа, у Иисуса Христа. Поэтому я могу с чистой совестью продолжать этот ответ во времени.

Под знаком романа «Не хлебом единым» идет сейчас вся духовная жизнь России последних лет, месяцев, дней. И опять подчеркиваю, что началом была война. Недаром именно на войне В. Дудинцеву пришел

в голову замысел этого романа, когда он лежал на сырой земле под бомбами немецкой авиации.

«Не хлебом единым» — главная веха духовной жизни нашей России. Вторую веху, которая тесно связана с первой, иллюстрирует писатель Д. Гранин своим рассказом «Собственное мнение». Она знаменует собой возврат к человеческому достоинству и осознание его не только каждым человеком в отдельности, но и всем народом. В рассказе утверждается жизнь честная, принципиальная, чистая, смелая. В нем утверждается «бесстрашие и безоглядная свобода» духа.

Третья веха — нашла свое отражение в творчестве Евг. Евтушенко. В его исканиях правды, счастья и свободы для человека:

Колосья трогал.
Спрашивал пшеницу,
как сделать, чтобы счастье было всем.

Для Евг. Евтушенко — «вера есть любовь». Для него — «правда хороша, а счастье лучше, но все-таки без правды счастья нет».

Этой поэмой («Станция Зима») молодой, чистой и горячей, поэт как бы возвращает русскую поэзию на излюбленный и избранный ею путь исповеднической поэзии. И это — тоже веха будущих путей нашей культуры.

Четвертая веха — чаяния о Родине — проявила себя в поэме С. Кирсанова «Семь дней недели». Это — поэма о будущей России, о том, какой она должна быть. Какой видит ее народ: великодушные, свобода, доброта и всепрощение, любовь к каждому сыну своему, доверие и правда — вот то, чего ждут от Родины ее дети. Эта поэма — духовная программа на будущее. И здесь — «Сердце» (т. е. Любовь), Вера и Надежда пронизывают произведение. Но Сердце-Любовь главное:

Во мне
ведь все сердца живые бьются,
и мне ведь больно,
если разобьются.
Иди спокойно
в Новую Неделю
и покажи, чем ты живешь на деле,
и день твой будет
будущим оправдан! —
Так скажешь ты, Страна,
и это правда.

«В творчестве некоторых молодых писателей отход от воинствующей идейности, от позиции писателя-гражданина начал принимать угрожающие формы... стали рождаться рассказы, в которых отрицательные явления жизни не получают решительного и страстного разоблачения и анализа. В таких произведениях поэзия советского писателя-борца уступает место проповедыванию «**общечеловеческой, христианской морали**» (подчеркнуто мной — Н. Т.), пишет «Литературная газета». И это — отражение еще одной вехи: отношения к ми-

ру и человеку с позиций христианской морали. Ею начинают грешить многие писатели и поэты, и не только из молодых. Л. Леонов, например, весь пронизан христианским мироощущением. Его последняя пьеса «Золотая карета» — сама жертвенность, сострадание, любовь к ближнему. Во имя чего же?

В Чите был напечатан в прошлом году сборник рассказов «Ночные сторожа» Ильи Лаврова. Писатель В. Ажаев, в своем обзоре, ставит его произведение по силе, человечности и глубине на одну доску с Верой Пановой. Но... автор не подходит под мерку советского писателя. На его произведениях «лежит печать добровольно избранной... позиции утешителя «униженных и оскорбленных», с сарказмом замечает Ажаев и приводит из одного рассказа цитату: «Осенью горит в лесу костер, подойдет охотник, протянет руки и согреется. Каждый человек должен быть таким вот костром, чтобы грелись около него».(разрядка моя. — Н. Т.).

Тот же мотив находим мы в стихах советского студента, попавшего в годы войны за любовь к литературе в исправительно-трудовой лагерь. Стихи эти были написаны уже на каторге:

И мыслью бесприютной, нелюдимою
 Безумие свое воспламеня,
 Поймешь, что жить затем необходимо,
 Чтоб не гасить души своей огня.
 Чтоб от него хоть искра пригодилась
 Для душ, готовых вспыхнуть в глубине,
 Чтоб радостная цель определилась:
 Жить для заботы о чужом огне».

(разрядка моя. — Н. Т.)

Тот же мотив мы улавливаем у В. Дудинцева в романе «Не хлебом единым»: — «Потому что я не устаю верить. Увидел вас — и надежда затеплилась. Помните, как Брюсов сказал: «Унесем зажженные светлы в катакомбы, в пустыни, в пещеры» — он неправ!

... — Кирилл Мефодьевич, давайте выпьем за зажженные светлы! .. За то, что их нельзя ни унести в пустыни и пещеры, ни погасить. За то, что они живучие. Чтоб продолжали гореть. Людям на радость...»

Лопаткин, герой Дудинцева — зажженный свет. И он победил. Его тушили, давили, топтали ногами, но он, почти совсем угасая, снова вспыхивал ярким пламенем. А почему? Потому что на его зажженный факел собирались разбросанные по всей нашей земле люди, как светляки, со своими маленькими еле заметными огоньками.

И, сливая свои огоньки с пылающим факелом Лопаткина, люди творили чудеса. Их пароль, как в древние времена христианства в катакомбных церквях — «Не хлебом единым». По огню — «О если бы ты был холоден или горяч» — по горячему огню их душ они узнают друг друга. И идут и собираются, и объяснять им друг другу ничего не надо. Они живут о д н и м.

К о л л е к т и в, о котором говорит Лопаткин, борец, победивший своих врагов, — это же никакой не коллектив, — это с о б о р людей. Это с о б р а в ш и е с я во имя Добра, Любви и Свободы Духа. Это

как раз то, что определяло первые христианские общины. Собор и коллектив. Дух веет над одним, и дух заключен в темницу в другом. Свободная раскрывающая себя личность в соборе, обогащая себя и других своим вольным раскрытием — и вдавленная, удущенная личность в коллективе, не смеющая не только раскрываться, но и занимать больше места, чем ей положено коммунизмом, поклонившимся Матери.

Лопаткин, зажегший свой факел Духа, ушел из книги в жизнь, дальше, по своему тернистому пути, непоколебимый в своей вере, несокрушимый в своей принципиальности и честности, не устающий, не знающий отдыха. На этой земле отдыха нет. Есть борьба за настоящую жизнь. Есть активнейшее покорение Зла жизни и утверждение Добра.

«Он вдруг опять увидел перед собой уходящую вдаль дорогу, которой, наверно, не было конца. Она ждала его, стлалась перед ним, манила своими таинственными изгибами, своей суровой ответственностью». — Так оканчивает свой роман В. Дудинцев.

Ответственностью за всех, кто послал его в мир идти дальше. Благодарностью всем тем, кто поддержал его в пути своей любовью, своей жертвенностью, своим незаметным подвигом, чтобы он мог свершить самый сильный и целеустремленный подвиг Духа за всех них. И он ушел. Напрасно пытаются критики поймать и снова посадить его в концлагерь. Напрасно стараются перекричать и заглушить его тихий страстный голос. Поздно! Он уже свободен и победоносно шагает со своим факелом по всей России. И с ним рядом идет его Няня, бесконечно верная, любящая, преланная Няня, образ, вырвавшийся из девятнадцатого века: Татьяна, Лиза, Наташа и теперь снова ожившая русская прекрасная неповторимая женщина. Вечная женщина России — сама Россия. . .

Осуществившийся материализованный соблазн Христа в пустыне — о хлебе едином — рухнул. Россия радостно идет на новое долгожданное свидание с Христом.

«Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим. . .»

Бог. . . Витает ли Он над Россией? Знает ли, ощущает ли Его молодёжь? Разве только в церквях дело, разве в статистике — сколько человек в это воскресенье посетило храм, а сколько крестило своих детей, а сколько венчалось? Мы знаем и читаем о религиозном подъеме нашего народа. Но то, о чем мы читаем, лишь внешний признак возрождения России в Боге. А внутренний, может быть, лучше всего выражен в одном четверостишии того же заключенного юноши, писавшего его за проволокой концлагеря, в Сибири:

Не хочу! Но властною рукою
Я ведом по торному пути.
Господи, о сжался надо мною!
Помоги мне за Тобой итти!

Мы хотим строить ее, нашу новую и вечную Россию. И мы хотим любить. Наша проснувшаяся гражданственность даст нам силы устроить ее по-новому. Наш духовный опыт подскажет, куда идти.

Только переживший воплотившийся соблазн Дьявола о хлебе едином сможет устроить свою страну по завету Христа. Надо свалиться в пропасть, задыхаться без воздуха в зловонии, утонуть в болотах грязи и крови, чтобы познать высоты и горную чистоту и радость христианства.

Сердца наши открыты. Уши наши хотят слышать, глаза видеть. Мы хотим, мы ждем...

Что вижу я для России? Для ее духовного расцвета, в который я верю, как в Бога Господа моего. О котором столько писали наши мыслители, писатели, поэты: все, кто предчувствовал ее славу.

Был Бог средневековый, была культура, пронизанная им. Была инквизиция — людей сжигали за инакомыслие, за неверие, за свободу Духа. Эпоха монастырей и темных ликов на картинах. Где же в них радость, светлые одежды христианства? Где радость души для брачного пира?..

Был век гуманизма. Человек сверг Бога и взошел на Его трон. И люди, восхваляя человека, жгли его за веру, убивали, расстреливали в подвалах, уничтожали инакомыслящих за свободу Духа. Где радость человеческого совершенства? Где гений человека? Его не было...

Две инквизиции пережило человечество после пришествия Христа. Одна была инквизиция именем Бога. Другая — именем Человека.

Неужели ждет нас еще и третья?..

Не знаю, можно ли так сказать, но я говорю и думаю об этом уже давно: х р и с т и а н с к и й г у м а н и з м.

В нем есть место Богу, но есть место и Его созданию — человеку. Владимир Соловьев учит, что христианство есть не только вера в Бога, но и вера в человека, в котором раскрывается Божественное Начало, Б о г о ч е л о в е ч е с к о е Н а ч а л о. Х р и с т и а н с к и й — это место для Бога, г у м а н и з м — место для человека, в котором и раскрывается все богатство Духа.

Человеческая личность — свободная и гармоничная, во всей своей прекрасной сложности и простоте, во всей ее духовной красоте пусть открывается миру.

Наша современная российская литература уже занята этим: В. Панова, Ю. Нагибин, И. Лавров, В. Дудинцев, Евг. Евтушенко, Любовь Кабо, Нора Адамьян и многие другие, — и из старшего поколения — Л. Леонов, К. Паустовский, М. Шолохов, И. Эренбург, В. Каверин — подходят вплотную к человеческой личности. В каждом человеке — духовная красота, будь это уборщица Настя у Нагибина, будь это ребенок Сережа у Пановой, будь это соратники Лопаткина у Дудинцева, художник Володя Пухов у Эренбурга, чета молодоженов у Норы Адамьян, люди, встреченные на жизненном пути Евтушенко — все они, независимо от их звания и положения, от цвета глаз и волос — Люди с большой буквы.

Человек как нечто бесконечно-ценное и неповторимое у ж е в х о-

дит в нашу сегодняшнюю литературу. И это первый шаг к христианскому гуманизму.

И, наконец, последнее: в нашу жизнь вернулся Достоевский.

Он отсутствовал долго. Он ждал своего времени. И оно настало. Именно поэтому он и вернулся в Россию. Сама Россия вернула его.

Обман коммунизма, его мессианство и универсализм — кончились. Но Россия осталась. И она возвращается к своей жизни, положенной ей от начала. Со всеми духовными исканиями, сомнениями, верой, страданиями за неустройство мира и всего человечества, со своим служением близким, жертвенностью, активным духовным строительством, озаренная муками пережитого, она поднимает голову. Завтра она встанет и зашагает, как Лопаткин, по бесконечной тернистой дороге, неся свой пылающий факел всему миру. И чем шире, чем ярче будет ее духовный расцвет, тем больше и сильнее будет проявляться ее духовное православное мессианство. Тот российский дух, те стремления, и тот путь, которые в Пушкинской речи с гениальным вдохновением начертал Достоевский:

«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только. . . стать братом всех людей.

Для настоящего русского Европа и удел всего Арийского племени так же дорог, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силою братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».

«. . . я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов может быть и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» (Разрядка моя. — Н. Т.).

РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ В СССР

Евг. Евтушенко

Станция Зима

ПОЭМА

Мы, чем взрослей, тем больше откровенны.
За это благодарны мы судьбе.
И совпадают в жизни перемены
с большими переменами в себе.
И если на людей глядим иначе,
чем раньше мы глядели,

если в них

мы открываем новое,

то значит,

оно открылось прежде в нас, в самих.
Конечно, я не так уж много прожил,
но в двадцать все пересмотрел опять, —
что я сказал,

но был сказать не должен,
что не сказал,

но должен был сказать.

Увидел я, что часто жил с оглядкой,
что мало думал, чувствовал, хотел,
что было в жизни, чересчур уж гладкой,
благих порывов больше, а не дел.

Но средство есть всегда в такую пору
набраться новых замыслов и сил,
опять земли коснувшись, по которой
когда-то босиком еще пылил.

Мне эта мысль повсюду помогала,
на первый взгляд обычная весьма,
что предстоит мне где-то у Байкала
с тобой свиданье, станция Зима.

Хотелось мне опять к знакомым соснам,
свидетельницам давних тех времен,
когда в Сибирь за бунт крестьянский сослан

был прадед мой с такими же, как он.
Сюда

сквозь грязь и дождь,
из дальней дали
в края запаутиненных стволов
с детишками и женами их гнали,
Житомирской губернии хохлов.
Они брели, забыть о многом силясь,
чем каждый больше жизни дорожил.
Конвойные с опаскою косились
на руки их, тяжелые от жил.
Крыл унтер у огня червей крестями,
а прадед мой в раздумье до утра
брал пальцами, как могут лишь крестьяне,
прикуривая, угли из костра.
О чем он думал?

Думал он, как встретит
их неродная эта сторона.
Приветит или, может, не приветит —
Бог ведает, какая там она!
Не верил он в рассказы да в побаски,
которые он слышал наперед,
мол, там простой народ живет по-барски.
(Где и когда по-барски жил народ?)
Не доверял и помыслам тревожным,
что приходили вдруг, не веселя, —
ведь все же там пахать и сеять можно,
какая никакая, а земля.
Что впереди?

Шагай!

Там будет видно.
Туда еще брести — не добрести.
А где она, Украина, маты ридна?
К ней не найти обратного пути.

Да, к соловью нема пути,
на зорьке сладко певшему.
Вокруг места, где не пройти
ни конному, ни пешему,
ни конному, ни пешему,
ни беглому, ни лешему.

Крестьяне, поневоле новоселы,
чужую землю этой стороны
сочесть своей недолей невеселой
они, наверно, были бы должны.
Казалось бы, с нерадостью большою
они ее должны бы принимать:
ведь мачеха, пусть с доброю душою,
она, понятно, все-таки не мать.

Но землю эту, в пальцах разминая,
ее водой своих детей поя,
любуюсь ею, поняли:

родная!

Почувствовали:

кровная,

своя...

Потом опять влезали постепенно
в хомут бедняцкий, в горькое житье.
Повинен разве гвоздь, что лезет в стену?
Его вбивают обухом в нее.
И столько всяких трудностей встречалось
среди забот и каждодневных дел,
что, как ни гнули спины, получалось,
не сами ели хлеб, а хлеб их ел.
За молотьбой, косьбой, уборкой хлеба,
за полем, домом и гумном своим,
что вдоволь правды там, где вдоволь хлеба,
и хватит с них вполне,

казалось им.

Весь век свой в голодухе живший прадед,
неурожаи знавший без числа,
наверное, мечтал об этой правде,
а не о той, которая пришла.

Той правде было прадедовской мало.

В ней было что-то новое, свое.

Девятилетней девчонкою мама
встречала в девятнадцатом ее.

Осенним днем в стрельбе, что шла все гуще,
возник на взгорье конник молодой,
пригнувшись к холке,

с рыжим чубом, бьющим

из-под папахи с жестяной звездой.

За ним, промчавшись в бешеном разгоне

по ахнувшему старому мосту,

на станцию вымахивали кони,

и шашки трепетали на лету.

Добротное, простое было что-то,

добытое уже наверняка

и в том, что прекратил блатных налеты

приезжий комиссар из губчека,

и в том, что в жарком клубе ротный комик

изображал, как выглядят враги,

и в том, что постоялец — рыжий конник —

остервенело

чистил

сапоги.

Влюбился он в учительницу страстно

и сам ходил от этого не свой,

и говорил он с ней о самом разном,
но больше все —

о гидре мировой.

Теорией, как шашкою, владея
(по мнению эскадрона своего),
он заявлял, что лишь была б идея,
а нету хлеба —

это ничего.

От утверждал, восторженно бушуя,
при помощи цитат и кулаков,
что только б в океан спихнуть буржуя,
все остальное —

пара пустяков.

А дальше жизнь такая, просто любо:
построиться,

знамена развернуть,

«Интернационал»

и солнце — в трубы,

и весь в цветах

прямой к Коммуне путь!

Откуда знал он, парень с чубом буйным,
все с легкостью заранее решив,
о том, что нам не так уж просто будет,
о сложностях, тяжелых и больших...

Он как-то утром, ветренным и росным,
набив овсом тугие торока,
сел на коня,

учительнице просто

сказал:

«Еще увидимся... Пока!»

Взглянул, привстав на стременах высоко,
туда, где ветер порохом пропах,
и конь понес, понес его к востоку,
мотая челкой, в лентах и репьях...

И чередою проходили годы...

Я вырастал на станции Зима

и полюбил тайгу, поля и горы

и тихие зиминские дома.

Я вырастал,

и, в пряталки играя,

неуловимы, как ни карауль

глядели мы из старого сарая

в отверстия от капчелевских пуль.

А в это время шла война на свете.

Был Гитлер от Москвы недалеко.

Но мы —

мы все же были только дети

и принимали многое легко.

Забыв беспечно об угрозах двоек,
 срывались мы с уроков через дворик,
 бежали полем к берегу Оки,¹⁾
 и разбивали старую копилку,
 и шли искать зеленую кобылку,
 и наживляли влажные крючки.
 Рыбачил я, бумажных змеев клеил.
 И часто с непокрытой головой
 бродил один, обсасывая клевер,
 в сандалиях, начищенных травой.
 Я шел вдоль черных пашен, желтых ульев,
 смотрел, как, шевелясь еще слегка,
 за горизонтом полузатонули
 наполненные светом облака.
 И, проходя опушкою у стана,
 привычно слушал ржанье лошадей
 и засыпал спокойно и устало
 в стогах, что потемнели от дождей.
 Я жил тогда почти что бестревожно,
 но жизнь, больших препятствий не чиня,
 лишь оттого казалась мне несложной,
 что сложное решали без меня.
 Я знал, что мне дадут ответы дружно
 на все и «как»? и «что» и «почему»?,
 но получилось вдруг, что стало нужно
 давать ответы эти самому.

Продолжу я с того, с чего я начал,
 с того, что сложность вдруг пришла сама,
 и от нее в тревоге, не иначе,
 поехал я на станцию Зима.
 И в ту родную хвойную таежность,
 на улицы исхоженные те
 привез мою сегодняшнюю сложность
 я на смотрины к прежней простоте.
 Стараясь в лица пристально взглядеться
 в неравной обоюдности обид,
 друг против друга встали юность с детством
 и долго ждали:

кто заговорит?

Заговорило Детство:

«Что же . . . здравствуй.

Узнало еле.

Ты сама виной.

Когда-то, о тебе мечтая, часто
 я думало, что будешь ты иной.
 Скажу открыто, ты меня тревожишь,
 ты у меня в большом еще долгу».

¹⁾ Ока — река в Восточной Сибири.

Спросила Юность:

«Ну, а ты pomoжешь?»

И Детство улыбнулось:

«Помогу».

Простились, и, ступая осторожно,
разглядывая встречных и дома,
я зашатал счастливо и тревожно
по очень важной станции —

Зима.

Я рассудил заранее на случай
в предположениях, как ее дела,
что если уж она не стала лучше,
то и не стала хуже, чем была.
Но почему-то выглядели мельче
Заготзерно, аптека и горсад,
как будто стало все гораздо меньше,
чем было девять лет тому назад.
И я не сразу понял, между прочим,
описывая долгие круги,
что сделались не улицы короче,
а просто шире сделались шаги.
Здесь раньше жил я, как в своей квартире,
где, если даже свет не зажигать,
я находил секунды в три-четыре,
не спотыкаясь, шкаф или кровать.
Быть может, изменилась обстановка,
а может, срок разлуки был велик,
но задевал я в этот раз неловко
все то, что раньше обходить привык.
Здесь резали мне глаз необычайно
и с нехорошей надписью забор,
и пьяный, распростершийся у чайной,
и у раймага в очереди спор.
Ну, ладно, если б это где-то было,
а то ведь здесь, в моем краю родном,
к которому приехал я за силой,
за мужеством, за правдой и добром.
Слал возчик ругань в адрес горсовета,
дрались под чей-то хохот петухи,
и запыленно слушали все это,
не повода и ухом, лопухи.
Протезы нищих по камням стучали,
мальчишка гнался с палкой за котом . . .
Нарочно я не прямо шел вначале,
но заспешил решительно потом.
Я ждал иного, нужного чего-то,
что обдало бы свежестью лицо,
когда я подошел к родным воротам
и повернул железное кольцо.
И, верно, сразу, с первых восклицаний:

«Приехал! — Женька! — Ух, попробуй сладь!»
с объятий, поцелуев,

с порицаний:

«А телеграмму ты не мог послать?»,
с угрозы: «Самовар сейчас раздуем!»
с перебирааний — сколько лет прошло! —
как я и ждал, развеялось раздумье,
и стало мне спокойно и светло.

И тетя Лиза, полная тревоги,
свое решение вынесла, тверда:
«Тебе помыться надо бы с дороги,
а то я знаю эти поезда . . .»

Уже мелькали миски и ухваты,
уже во двор вытаскивали стол,
и между стрелок лука сизоватых
я, напевая, за водою брел.

Я наклонялся, песнею о Стеньке
колодец, детством пахнувший, будя,
и из колодца, стучаясь о стенки,
сверкая мокрой цепью, шла бадья . . .
А вскоре я, как видный гость московский,
среди расспросов, тостов, беготни,
в рубаше чистой, с влажною прической,
сидел в кругу сияющей родни.
Ослаб я для сибирских блюд могучих
и на обилье их взирал в тоске.

А тетя мне:

«Возьми еще огурчик.

И чем вы там питаетесь, в Москве?
Совсем не ешь! Ну просто неприлично . . .
Возьми пельменей . . . Хочешь кабачка?»

А дядя:

«Что, привык, небось, к «столичной»?

А ну-ка, выпьем нашего «сучка»!

Давай, давай . . .

А всё же, я сказал бы,
нехорошо уже с твоих-то лет!

И кто вас учит?

Э, смотри, чтоб залпом!

Ну, дай Бог, не последнюю!

Привет»!

Мы пили и болтали оживленно,
шутили,

но когда сестрёнка вдруг
спросила, был ли в марте я в Колонном,
все как-то посерьезнели вокруг.
Заговорили о делах насущных,
которыми был полон этот год,
и о его событиях, несущих
немало размышлений и забот.

Отставил рюмку дядя мой Володя:
 «Сейчас любой с философами схож.
 Такое время.

Думают в народе.

Где, что и как — не сразу разберешь.
 Выходит, что врачи-то невиновны?
 За что же так обидели людей?
 Скандал на всю Европу, безусловно,
 а всё, наверно, Берия-злодей . . .»
 Он говорил мне,

складно не умея,
 о всем, что волновало в эти дни:
 «Вот ты москвич.

Вам там, в Москве, виднее.

Ты всё мне по порядку объясни!»
 Как говорится, взяв меня за грудки,
 он вовсе не смущался никого.
 Он вел изготовление самокрутки
 и ожидал ответа моего.
 Но, думаю, что, право, не напрасно
 я дяде, ожидавшему с трудом,
 как будто всё давно мне было ясно,
 сказал спокойно:

«Объясню потом».

Постлали, как просил, на сеновале.
 Улегся я и долго слушал ночь.
 Гармонь играла.

Где-то танцевали,
 и мне никто не в силах был помочь.
 Свежело.

Без матраца было колко.
 Шуршал и шевелился сеновал,
 а тут еще меньшей братишка Колька
 мне спать неумоимо не давал.
 Показывал фонарик заграничный
 и заводил назревший разговор,
 не знаю ли Синявского я лично
 и не видал ли я вертоплёт . . .
 А утром я, потягиваясь малость,
 присел у сеновала на мешках.
 Заря,

сходя с востока,
 оставалась
 у петухов на алых гребешках.
 Туман рассветный становился реже,
 и выплывали из него вдали
 дома,

шестами длинными скворешен,
 отталкиваясь грузно от земли.
 По улицам степенно шли коровы,

старик пастух пощелкивал бичом.
 Всё было крепким, ладным и здоровым,
 и не хотелось думать ни о чем.

Забыв поесть, не слушая упреков,
 набив карманы хлебом, налегке,
 как убегал когда-то от уроков,
 да, точно так — я убежал к реке.
 Ногами увязая в теплом иле,
 я подошел к прибрежной старой иве
 и на песок прилет в ее тени.

Передо мной Ока шумела ровно.
 По ней неторопливо плыли бревна,
 и сталкивались изредка они.
 Гудков далеких доходили звуки.
 Звенели комары.

Невдалеке
 седой путеец, подвернувши брюки,
 стоял на камне с удочкой в руке
 и на меня сердито хмурил брови,
 стараясь видом выразить своим:
 «Чего он тут?

Ну, ладно, сам не ловит,
 а то ведь не дает ловить другим . . .»
 Потом, в лицо взглядевшись хорошенько,
 он подошел:

«Неужто?

Погоди! . .

Да ты не сын ли Зины Евтушенко?
 И то гляжу . . .

Забыл меня, поди . . .

Ну, Бог с тобою!

Из Москвы?

На лето?

А ну-ка, тут пристроиться позволь . . .»
 Присел он рядом, развернул газету,
 достал горбушку, помидоры, соль.
 Устал я, на вопросы отвечая.
 И всё-то ему надо было знать:
 стипендию какую получаю,
 когда откроют Выставку опять.
 Старик он был настырный и колючий
 и вскоре с подковыркой речь завел,
 что раньше молодежь была получше,
 что больно скучный нынче комсомол.
 «Я помню твою маму лет в семнадцать.
 За ней ходили парни косяком,
 но и боялись —

было не угнаться

за языком таким и босиком.
 В шинелишках, по росту перешитых,
 такие же, я помню, как она,
 что косы — буржуазный пережиток
 на митингах кричали дотемна.
 О чем-то разглагольствовали грозно,
 всегда каких-то полные идей, —
 ну, скажем, поднимали вдруг серьезно
 вопрос «обобществления» детей! . .
 Конечно, и смешного было много
 и даже просто вредного подчас,
 но я скажу:

берет меня тревога,
 что нет задора ихнего у вас.
 И главное, —

пускай меня осудят —
 у вас не вижу мыслей молодых.
 А у людей всегда, дружок, по сути,
 такой же возраст, как у мыслей их.
 Есть молодежь, а молодости нету . . .
 Что далеко идти? . .

Вот мой племян, —
 и двадцать пять не стукнет в зиму эту,
 а меньше тридцати уже не дашь.
 Что получилось?

Парень был как парень,
 и, понимаешь, выбрали в райком.
 Сидит, зеленый, в прениях запарен,
 стучит руководящим кулаком.
 Походку изменил.

Металл во взгляде.
 И так насчет речей теперь здоров,
 что не слова как будто дела ради,
 а дело существует ради слов.
 Всё гладко в тех речах, всё очевидно . . .
 Какой он молодой, какой там пыл!
 Поскольку это вроде не солидно,
 футбол оставил, девушек забыл.
 Ну, стал солидным он, а что же дальше?
 Где поиски,

где споров прямота?
 Нет,
 молодежь теперь не та, что раньше,
 и рыба тоже

(он вздохнул)

не та . . .
 Ну, вот мы и откушали как будто.
 Давай закинем, брат, на червячка . . .»
 И, чмокая, снимал через минуту
 он карася отменного с крючка.

«Ну и отъелся, а? Вот это прибыль!» —
сиял, дивясь такому карасю.

«Да ведь не та, вы говорили, рыба...»

Но он хитро:

«Так я же не про всю...»

И, улыбаясь, погрозил мне пальцем,
как будто говорил:

«Имей в виду:

карась-то, брат, на удочку попался,
а я уж на нее не попаду...»

За тетиными пышными супами
в беседах был теперь я бестолков.

И что мне тот старик всё лез на память?

Ну, мало ли на свете стариков!

Ворчала тетя:

«Я тебе не теща,

чего ж ты все унылый и смурной?

Да брось ты это, парень!

Будь ты проще.

Поедем-ка по ягоды со мной».

Три женщины и две девчонки куцых,
да я...

летел набитый сеном кузов

среди полей, шумящих широко.

И, глядя на мелькание косилок,
коней,

колосьев,

кепок

и косынок,

мы доставали булки из корзинок
и пили молодое молоко.

Из-под колес взметались перепелки,
трещали, оглушая перепонки.

Мир трепыхался, зеленел, галдел.

Лежал я в сене, опершись на локоть,
задумчиво разламывая ломоть,
не говорил, а слушал и глядел.

Мальчишки у ручья швыряли камни.

и солнце распалившееся жгло,

но облака накапливали капли,
ворочались, дышали тяжело.

Всё становилось мгlistей, молчаливей,

уже в стога народ колхозный лез,

и без оглядки мы влетели в ливень,

и вместе с ним и с молниями —

в лес!

Весь кузов перестраивая с толком,

мы разгребали сена вороха

и укрывались...

Едва белели лица,
и женский шопот слышался во мгле.
Я вслушался в него:

«Ах, Лиза, Лиза,
ты и не знаешь, как живется мне!
Ну, фикусы у нас, ну печь-голландка,
ну, цинковая крыша хороша,
все вычищено,

выскоблено,

гладко,

есть дети, муж,

но есть еще душа!

А в ней какой-то холод, лютый холод...

Вот говорит мне мать:

«Чем плох твой Петр?»

Он бить не бьет,

на сторону не ходит,

ну, пьет, конечно,

ну, а кто не пьет?»

Ах, Лиза!

Вот придет он пьяный ночью,
рычит, неужто я ему навек,
и грубо повернет и — молча, молча,
как будто вовсе я не человек.

Я раньше, помню, плакала бессонно,
теперь уже умею засыпать.

Какой я стала...

Все дают мне сорок,
а мне ведь, Лиза, только тридцать пять!
Как дальше буду?

Больше нету силы...

Ах, если б у меня любимый был,
уж как бы я тогда за ним ходила
пускай бы бил, мне только бы любил!

И выйти бы не думала из дому

и зорко берегла бы красоту.

Я ноги б ему вымыла, родному,

и после воду выпила бы ту...

Да это ведь она сквозь дождь и ветер
летела с песней, жаркой и простой.

И я —

я ей завидовал,

я верил

раздольной незадумчивости той.

Стих разговор.

Донесся скрип колодца

и плавно смолк.

Все улеглось в селе,

и только сыто чавкали колеса

по втулку в придорожном киселе...

Нас разбудил мальчишка ранним утром
 в напаяленном на майку пиджаке.
 Был нос его воинственно облуплен,
 и медный чайник он держал в руке.
 С презреньем взгляд скользнул по мне, по тете,
 по всем, дремавшим сладко на полу:
 «По ягоды-то, граждане, пойдете?
 Чего ж тогда вы спите? Не пойму...»

За стадом шла отставшая корова.
 Дрова босая женщина колола.
 Орал петух.

Мы вышли за село.
 Покосы от кузнечиков оглохли.
 Возов застывших высились оглобли,
 и было над землей синё-синё.
 Сначала шли поля, потом подлесок
 в холодном блеске утренних подвесок
 и птичьей хлопотливой суете.
 Уже и костяника нас манила,
 и дымчатая нежная малина
 в кустарнике алела кое-где.
 Тянула голубика лечь на хвою,
 брусничинки подошвы так и жгли,
 но шли мы за клубникою лесною —
 за самой главной ягодой мы шли.
 И вдруг передний кто-то крикнул с жаром:
 «Да вот она! А вот еще видна!..»
 О, радость, быть простым, беруцим, жадным!
 О, первых ягод звон о дно ведра!
 Но поднимал нас предводитель юный,
 и подчиняться были мы должны:
 «— Эх, граждане, мне с вами просто юмор!
 До ягоды еще и не дошли...»
 И вдруг поляна лес густой пробила,
 вся в пьяном солнце, в ягодах, в цветах.
 У нас в глазах рябило.

Это было,
 как выдохнуть растерянное «Ах!»
 Клубника млела, запахом тревожа,
 гремя посудой, мы бежали к ней,
 и падали,
 и в ней, дурманной, лежа,
 ее губами брали со стеблей.
 Пушистою травой дымилась взгорья.
 Лес мошкаррой и соснами гудел.
 А я...

Забыл про ягоды я вскоре.
 Я вновь на эту женщину глядел.
 В движеньях радость радостью сменялась.

Платочек белый съехал до бровей.
Она брала клубнику и смеялась,
смеялась,

ну, а я не верил ей.

Раздумывал растерянно и смутно
и, вставши с теплой, смятой мной травы,
я пересыпал ягоды кому-то
и пошагал по лесу без тропы.
Я ничего из памяти не вычел
и всё, что было в памяти, сложил.
Из гулких сосен я в пшеницу вышел,
и веки я у ног ее смежил.
Открыл глаза.

Увидел в небе птицу.

На пласт сухой, стебельчатый присел.
Колосья трогал.

Спрашивал пшеницу,
как сделать, чтобы счастье было всем.
«Пшеница, как?»

Пшеница, ты умнее...

Беспомощности жалкой я стыжусь.
Я этого, быть может, не умею,
а, может быть, плохой и не гожусь...»
Отвечала мне пшеница,
чуть качая головой:
«Ни плохой ты, ни хороший —
просто очень молодой.
Твой вопрос я принимаю,
но прости за немоту.
Я и вроде понимаю,
а ответить не могу...»

И пошел я дорогой-дороженькой
мимо пахнущих дегтем телег,
и с веселой и злой хорошиной
повстречался мне человек.
Был он пыльный, курносый, маленький.
Был он голоден, молод и бос.
На березовом тонком рогалике
он ботинки хозяйственно нёс.
Говорил он мне с пылом разное —
что уборочная горит,
что в колхозе одни безобразия
председатель Панкратов творит.
Говорил:

«Не буду заискивать.

Я пойду.

Я правду найду.

Не поможет начальство зиминское —
до иркутского я дойду...»

как зеленела полоса степная,
тайгою окруженная с боков,
когда бродил я, бережно ступая,
по движущимся теням облаков.
Порою шел я в лес и брал двустволку:
Конечно, мало было в этом толку,
но мне брелось раздумчивее с ней.
Садился под березой или дубом.
О многом думал,

и о вас я думал,

мои дядья,

Володя и Андрей.

Люблю обоих.

Вот Андрей —

он старший...

Люблю, как спит,

намаявшись,

чуть жив,

как моется он,

рано-рано вставши,

как в руки он берет детей чужих.

Заведующий местной автобазой,

измазан вечно, вечно разозлен,

летает он, пригнувшийся, лобастый,

в машине, именуемой «козлом».

Вдруг, с кем-нибудь поссорившийся дома,

исчезнет он в район на день-другой,

и вновь — домой,

измучившийся,

добрый,

весь пахнущий бензином и тайгой.

Он любит людям руки жать до хруста,

в борьбе двоих, играючи, валить.

Всё он умеет весело и вкусно:

дрова пилить,

и черный хлеб солить...

А дядя мой Володя!

Ну не чудо

в его руках рубанок удалой,

когда он стружки стряхивает с чуба,

по щиколотку в пене золотой!

Какой он столяр!

Ах, какой он столяр!

Ну, а рассказчик!

Ах, какой мастак!

Не раз я слушал, у сарая стоя

или присевши с края на верстак,

как был расстрелян повар за нечестность,

как шли бойцы селением одним

и женщина по имени Франческа
из «Петера» запела песню им...

Дядья мои —

мои родные люди!

Какое было дело до того,
что говорила мне соседка:

«Крутит

Андрей с женой шофера одного.
Поговорил бы с теткою лирично.
Да нет, зачем? Узнает и сама.
Ну, а Володя —

столяр он приличный,

но ведь запойный —

знает вся Зима».

Соседка мне долбила, словно дятел,
что должен проявить я интерес.

А я не проявлял.

Но младший дядя

куда-то вдруг таинственно исчез.

Всё время люди приходили с просьбой
то починить игрушку, то диван.

Им отвечали коротко и просто:

«— Уехал на неделю.

По делам».

И вдруг соседка выкрикнула желчно,
просунувши в калитку острый нос:

«Да им перед тобою стыдно, Женька!

Лежит твой дядя —

рученьки вразброс.

Учись, учись, студентик, жизни всякой.

А ну, пойдём!»

И радостна и зла,

как будто здесь была она хозяйкой,
меня в кладовку нашу повела.

А там лежал мой дядюшка в исподнем,
дыша сплошной сивухой далеко,

и все пытался «Яблочко» исполнить
при помощи мотива «Сулико».

Увидев нас, привстал он с жалкой миной,
растерянный, уже не во хмелю,
и тихо мне:

«Ах, Женька, ты мой милый,

ты понимаешь, как тебя люблю? ..»

Не мог его такого видеть долго.

Он снова душу мне разбередил,
и я не стал,

не стал обедать дома,

а в чайную направился один.

В зиминской чайной жарко дышит лето.
 За кухней громко режут поросят.
 Блестят подносы, лица . . .

В окнах ленты,
 облепленные мухами, висят.
 В меню учитель шарит близоруко,
 на жидкий суп колхозница ворчит,
 и темная ручища лесоруба
 в стакан призывно вилкою стучит.
 В зиминской чайной

шум необычайный,
 летучих подавальщиц толчея . . .
 За чаем, за беседой невзначайной,
 вдруг по душам разговорился я
 с очкастым человеком жирнолицым,
 интеллигентным, судя по всему.
 Назвался он московским журналистом,
 за очерком приехавшим в Зиму.
 О всех сужденьях прежних, однобоких,
 о всех узлах, что я не развязал,
 о всех раздумьях, честных и глубоких,
 ему я откровенно рассказал.
 Он, угощая клюквенной наливкой
 и отводя табачный дым, рукой,
 мне отвечал:

«Эх, юноша наивный,
 когда-то был я в точности такой!
 Хотел узнать, откуда что берется.
 Мне всё тогда казалось по плечу.
 Стремился разобраться и бороться
 и время перестроить, как хочу.
 Я тоже был задирист и напорист
 и не хотел заранее тужить.
 Потом —

ненапечатанная повесть,
 потом семья

и надо как-то жить.
 Теперь газетчик, и не худший, кстати.
 Стал выпивать, стал, говорят, угрюм.
 Ну, не пишу . . .

А что сейчас писатель?
 Он не властитель,
 а блюститель дум.
 Да, перемены, да,
 но за речами
 какая-то туманная игра.

Твердим о том, о чем вчера молчали,
 молчим о том, что делали вчера . . .»
 И в том, как взглядом он соседей мерил,
 как о плохом твердил он вновь и вновь,

я видел только желчное безверье,
не веру,

ибо вера есть любовь.

Ел пессимист, с лицом румяным, толстым,
и сетовал, причмокивая, он
своим самодовольным недовольством
от веры в наше дело огражден.
«Ах, чорт возьми, забыл совсем про очерк!
Пойду на лесопильный. Мне пора.
Готовят пресквернейше здесь...

А впрочем,

чего тут ждать! Такая уж дыра...»
Бумажною салфеткой губы вытер
и, уловивши мой тяжелый взгляд:
«Ах, да, вы здесь родились, извините!
Я и забыл... Простите, виноват...»
Засуетился как-то бестолково,
не попрощался, к двери семеня,
и не могло быть дела никакого
ему ни до других, ни до меня...

Платил я за раздумия с лихвою,
бродил тайгою, вслушиваясь в хвою,
а мне Андрей:

«Найти бы мне рецепт,
чтоб излечить тебя.

Эх, парень глупый!

Пойдем-ка с нами в клуб.

Сегодня в клубе

Иркутской филармонии концерт.
Все-все пойдем. У нас у всех билеты.
Гляди, помялись брюки у тебя...»
И вскоре шел я, смирный, приодетый,
в рубашке теплой после утюга.
А по бокам, идя походкой важной,
за сапогами бережно следя,
одеколоном, водкою и ваксой
благоухали чинные дядя.

Был гвоздь программы — розовая туша
Антон Беспятных — русский богатырь.
Он делал все!

Великолепно тужась,
зубами поднимал он связки гирь.
Он прыгал между острыми мечами,
на скрипке вальс изящно исполнял.
Жонглировал бутылками, мячами
и элегантно на пол их ронял.
Платками сыпал он неутомимо,
связал в один и развернул его,

а на платке был вышит голубь мира,
идейным завершением всего . . .
А дяди хлопали . . . «Гляди-ка, ишь, как ловко!
Ну и мастак . . . Да ты взгляни, взгляни!»
И я . . .

я тоже понемножку хлопал,
иначе бы обиделись они.
Беспятных кланялся, показывая мышцы . . .
Из клуба вышли мы в ночную тьму.
«Ну, что концерт, племянц, какие мысли?»
А мне побыть хотелось одному.
«Я погуляю . . .»

«Ты нас обижаешь,
И так все удивляются в семье:
ты дома совершенно не бываешь.
Уж не роман ли ты завел в Зиме?»
Пошел один я, тих и незаметен.
Я думал о земле, я не витал.
Но что концерт — Бог с ним, с концертом этим!
Да мало ли такого я видал!
Я столько видел трюков престарелых,
но с оформленьем новым, дорогим,
и столько на подобных представленьях
не слишком, но подхлопывал другим.
Я столько видел росписей на ложках,
когда крупы на суп не наберешь,
и думал я о подлинном и ложном,
о переходе подлинности в ложь.
Давайте думать . . .

Все мы виноваты
в досадности немалых мелочей,
в пустых стихах, в бесчисленных цитатах,
в стандартных окончаниях речей . . .
Я размышлял о многом.

Есть два вида
любви.
Одни своим любимым льстят,
какой бы тяжкой ни была обида,
простят и даже думать не хотят.
Мы столько послевременной досады
хлебнули в дни недавние свои.
Нам не слепой любви сегодня надо,
а думающей, пристальной любви!
Давайте думать о большом и малом,
чтоб жить глубоко, жить не как-нибудь.
Великое не может быть обманом,
но люди его могут обмануть.
Я не хочу оправдывать бессилье.
Я тех людей не стану извинять,
кто вещи прозрения России

на мелочь сплетен хочет разменять.
 Пусть будет суета уделом слабых.
 Так легче жить, во всем других вина.
 Не слабости,

а дел больших и славных
 Россия ожидает от меня.

Чего хочу?

Хочу я биться храбро,
 но так, чтобы во всем, за что я бьюсь,
 горела та единственная правда,
 которой никогда не поступлюсь.

Чтоб, где ни шел я: степью опаленной
 или по волнам ржавого песка, —
 над головой —

шумящие знамена,
 в ладонях —

ощущение древка.

Я знаю —

есть раздумья от неверья.
 Раздумья наши от большой любви.
 Во имя правды наши откровенья, —
 во имя тех, кто за нее легли.

Жить не хотим мы так,

как ветер дунет.

Мы разберемся в наших «почему».

Великое зовет.

Давайте думать.

Давайте будем равными ему.

Так я бродил маршрутом долгим, странным
 по громким тротуарам деревянным.

Поскрипывали ставнями дома.

Девчонки шумно пробежали мимо.

«Вот любит-то... И что мне делать, Римма?»

«А ты его?»

«Я что, сошла с ума?!»

Я шел все дальше.

Мгла вокруг лежала,
 и, глубоко запрятанная в ней,
 открылась мне бессонная держава,
 локомотивов, рельсов и огней.

Мерцали холмики железной стружки,
 смешные большетрубные «кукушки»
 то засопят, то с визгом тормознут.

Гремели молотки.

У хлопцев хватких,
 скрипя, ходили мышцы на лопатках
 и били белым зубы сквозь мазут.
 Из-под колес воинственно и резко
 с шипеньем вырывались облака,

и холодно поблескивали рельсы
и паровозов черные бока.
Дружку цыгарку делая искусно,
с флажком подмышкой стрелочник вздыхал:
«Опаздывает снова из Иркутска.
А Васька-то разводится, слышал?»
И вдруг я замер, вспомнил и всмотрелся:
в запачканном мазутом пиджаке,
привычно перешагивая рельсы,
шел парень с чемоданчиком в руке.
Не может быть! . . . Он самый . . . Вовка Дробин!
Я думал, он уехал из Зимы.
Я подошел и голосом загробным:
«Мне кажется, знакомы были мы!»
Узнал. Смеялись . . . Он все тот же, Вовка,
лишь нет сейчас за поясом Дефо.
Придумщик, спорщик, так же шутит звонко . . .
Наверно, любят все его в депо.
«А помнишь, как Сидельникову Петьке
мы отомстили за его дела?!»
«А как солдатам в госпитале пели?»
«А как невеста у тебя была?»
И мне хотелось говорить с ним долго,
всё рассказать —

и радость и тоску:

«Но ты устал, ты ведь с работы, Вовка . . .»
«А, брось ты мне, пойдём-ка на Оку!»
Тянулась трспка сквозь ночные тени
в следах босых ступней, сапог, подков,
среди высоких зонтичных растений
и мощных оловянных лопухов.
Рассказывал я вольно и тревожно
о всем, что думал, многое корил.
Мой одноклассник слушал осторожно
и ничего в ответ не говорил.
Так шли тропинкой маленькою двое.
Уже тянуло прелью ивняка,
песком и рыбой, мокрую корою,
дымком рыбачьим . . .

Близилась Ока.

Поплыли мы в воде большой и черной.
«А ну-ка, — крикнул он, — не подкачай!»
И я забыл нечаянно о чем-то,
и вспомнил я о чем-то невзначай.
Потом на берегу сидели лунном,
качала мысли добрая вода,
а где-то невдали туманным лугом
бродили кони, ржали иногда.
О том же думал я, глядел на волны,
перед собой глубоко виноват.

«Ты что, один такой? —

сказал мне Вовка. —

Сегодня все раздумывают, брат.

Чего ты так сидишь, пиджак помнется . . .

Ишь ты каковский, всё тебе скажи!

Всё во-время узнается, поймется.

Тут долго думать надо.

Не спеши».

А ночь гудками дальними гудела,

и поднялся товарищ мой с земли:

«Всё это так,

а дело надо делать.

Пора домой.

Мне завтра, брат, к восьми . . .»

Светало . . .

Все вокруг помолодело,

и медленно сходила ночь на нет,

и почему-то чуть похолодело,

и очертанья обретали цвет.

Дождь небольшой прошел, едва покряпав,

шагали мы с товарищем вдвоем,

а где-то ездил всё еще Панкратов

в самодовольном «виллисе» своем.

Он поучал небрежно и весомо,

но по земле, обрызганной росой,

с березовым роголиком веселым,

шел парень злой,

упрямый и босой . . .

Был день как день — ни жаркий, ни холодный,
но столько голубей над головой!

И я какой-то очень был хороший,

какой-то очень-очень молодой.

Я уезжал . . .

Мне было грустно, чисто,

и грустно, вероятно, потому,

что я чему-то в жизни научился,

а осознать не мог еще,

чему.

Я выпил водки с близкими за близких.

В последний раз пошел я по Зиме.

Был день как день . . .

В дрожащих пестрых бликах

деревья зеленели на земле.

Мальчишки мелочью об стену бросали,

грузовики тянулись чередой,

и торговали бабы на базаре

коровами, брусникой, черемшой.

Я шел всё дальше грустно и привольно,

и вот, последний одолев квартал,

Свет в окне

РАССКАЗ

В конце марта провалился мосток через глубокую балку, отделяющую дом отдыха от шоссе. А тут еще вскрылась река, сломав ледяную дорогу — последнюю связь с миром. Снабжение дома отдыха прекратилось. Несколько дней продержались на запасах, но затем и они иссякли. В кладовых осталось немного консервов, сахара, растительного масла и сухих овощей. И тогда директор Василий Петрович решил зарезать собственную свинью, чтобы накормить отдыхающих.

Свинью резал сам шеф-повар, пожилой, крепкий, как железо, человек из фронтовых поваров, а Василий Петрович помогал. Это оказалось непростым делом. Огромная, неповоротливая, раскормленная до двенадцати пудов жирными, теплыми кухонными помоями, Машка птицей взвилась в своем закутке, когда резаки переступили порог хлева. Она, видимо, догадалась, зачем к ней пришли, хотя шеф прятал ножи за спиной. Стоило огромных трудов ее повалить. Василий Петрович и шеф поочередно и враз распластывались на грязных досках пола, пытаясь поймать Машку за ноги. Но с ловкостью, порожденной страхом смерти, грузная, почти ослепшая от жира свинья выскальзывала из цепких рук и с надрывным визгом металась по закутку. Наконец, удалось завалить ее на спину. Шеф схватил длинный нож, точным, рассчитанным движением вонзил тонкое узкое лезвие под левую ногу свиньи и резко рванул на себя.

Потом Машку палили до восковистой коричневой, сдирали шкуру, разделявали, вычерпывали ложками темные загустья крови. Василий Петрович делал свою работу словно во сне. Ему не раз приходилось резать свиней, но сейчас это простое, житейское дело представилось ему жесточайшим насилием над теплой, дышащей, незащищенной жизнью. Он не мог забыть отчаянной укоризны подслепых, янтарных, узких глазок Машки. Ни одна свинья, которую он резал на собственную потребу, не смотрела на него так . . .

Но дело было сделано. Отдыхающие съели Машку с тем же ровным аппетитом, с каким поглощали все другие блюда столовой. Василий Петрович и не рассчитывал на благодарность. Он находил какое-то горькое удовлетворение в том, что его самоотверженный поступок об-

речен на забвение. Но это оказалось не так. В глазах служащих дома отдыха, когда они глядели на директора, появилось нечто, чего не было раньше. Василий Петрович не сразу подметил, а подметив, не сразу разгадал этот слабый, но теплый свет, который излучали глаза уборщиц, подавальщиц, сестер и других работников. Есть своя печальная радость в непризнанности, но куда большим счастьем дарит человека, пусть молчаливое, одобрение окружающих. В походке круглого, плотного коротыша-директора появилось что-то летящее.

Лишь один человек не оценил скромного деяния Василия Петровича: уборщица подсобного корпуса Настя. В ее черных, запавших глазах директор не улавливал знакомого согревающего лучика. А ему особенно дорого было бы ее одобрение: с Настей директора связывали тонкие и сложные отношения...

Принимая хозяйство дома отдыха, Василий Петрович вместе с прежним директором обошел все службы и уголья, все жилые помещения главного и подсобного корпусов. Когда с этим было покончено, прежний директор подвел его к опрятному одноэтажному домику с застекленной террасой.

— В этом флигеле...

Не договорив, он двинулся вперед, отомкнул английский замок в обитой войлоком и клеенкой двери и жестом пригласил Василия Петровича последовать за ним. Они оказались в просторных, пахнущих сухим сосновым деревом сенях, откуда взгляду Василия Петровича открылась большая столичного вида квартира из трех просторных комнат, а справа, в прозоре двери тускло зеленело сукно биллиарда.

В первой комнате — гостиной — на полированном дубовом столе стоял телевизор, вдоль стен — мягкие диваны, посреди — овальный стол, крытый тяжелой бахромчатой скатертью, вокруг него грузные, словно свинцом налитые кресла, над столом посверкивала бледным, отраженным светом хрустальная люстра. Две двери, соединявшие гостиную с другими комнатами, позволяли видеть крахмальный холодильник тугих подушек в спальне, уголок письменного стола и край ворсистого ковра в кабинете.

Василий Петрович молчал, подавленный этим великолепием.

— Наш неприкосновенный запас, — с игривой гордостью сказал прежний директор. — Держали на случай, если сам прибудет.

— Ну, сам-то едва ли сюда приедет... — пробормотал Василий Петрович с вымученной улыбкой. Он за всю свою долгую жизнь хозяйственника не имел дела с высшим начальством и потому не допускал подобной возможности.

— Это, знаете ли, бабушка надвое сказала, — заключил прежний директор тем же особым, неопределенно игривым тоном, какой появился у него, когда они переступили порог святылища. — Так что будьте начеку.

Совет проник в самое сердце Василия Петровича. Он и действительно все время был начеку, чтобы приезд высокого гостя из министерства не застал его врасплох. Он закрепил за квартирой уборщицу подсобного корпуса Настю, которая обязана была ежедневно убирать необитаемые комнаты, мыть нехоженые полы, менять цветы в вазе, благоухающие впустую, чистить щеткой зеленое сукно биллиар-

да, ворс которого, казалось, начал отрастать, как запущенный газон. Впрочем, часть забот легла и на дворника Степана: он должен был скалывать ледок у крыльца, раскидывать навалы снега под окнами, держать наготове запасы березовых чурок, на случай если начальство захочет полюбоваться игрой пламени в камине.

Словом, было сделано все для того, чтоб ненароком нагрязнувший гость почувствовал, с каким нетерпением его ждали, с какой заботой готовились к его приезду.

И все же эти комнаты были источником постоянного внутреннего беспокойства Василия Петровича. Как хозяйственнику, ему трудно было примириться с тем, что пустует прекрасное помещение, без толку поглощая и средства и труд людей. Порой ему и по-человечески досаден становился запрет, довлеющий над этими комнатами. Он долго не мог забыть лица двух молодоженов, приехавших в дом отдыха в самую тяжкую пору июльского перенаселения: их разместили по разным комнатам. Он едва не дрогнул в тот раз, представив себе, каким бы несказанным счастьем явилась для них отдельная квартира. Но он взял себя в руки, и молодые люди, обменявшись таким взглядом, будто расстаются на всю жизнь, разошлись по разным корпусам.

Не лучше чувствовал себя Василий Петрович и во время приезда знатного каменщика, некогда строившего этот дом отдыха. Каменщик приехал с женой и тремя неумными сыновьями: даже в спаренном номере старики не знали ни минуты покоя от буйной отваги своих сорванцов.

С огорчением слушал новый директор, как грохочут шары на разбитом общем биллиарде, в то время как в пустующей квартире без дела и смысла тоскует отличный стол; такое же скверное ощущение вызывали в нем прилипшие к окнам телевизионной комнаты девушки-подавальщицы — тесный просмотрный залик едва вмещал отдыхающих. Девушки толкались, ссорились, пытаясь уловить искаженное оконным стеклом изображение, а во флигеле без толку пропадали отличный телевизор.

Все это так угнетало Василия Петровича, что ему стало невозможно нести одному груз своих огорчений. Он стал делиться с уборщицей Настей: он был уверен, что эта молчаливая, замкнутая, с черными, запавшими глазами женщина никому не проговорится. Он рассказывал ей и про молодоженов и про каменщика, но всякий раз в темных глазах Насти ему ясно виделось не сочувствие, а осуждение. От этого ему становилось еще горше, и все же он вновь и вновь жаловался ей на очередную незадачу, в смутной надежде, что на этот раз она, наконец, поймет его. Но когда он убедился, что даже его жертвенный поступок, его маленький подвиг, не погасил колючего, укоризненного огонька в глубоком и слишком пристальном взгляде Насти, он понял, что должен в одиночку нести свой крест.

Василий Петрович не понимал Насти. Да и не просто было понять эту тихую, чуть глуховатую, затаенную женщину со странным, некрасивым и вместе притягательным лицом. Конечно, Настя была некрасива, но стоило кому-нибудь сказать: «А знаете, в ней что-то есть», как все готовы были согласиться с этим. Подсказка со стороны заставляла людей внезапно замечать скрытую, диковатую прелесть Насти.

Трудно сказать, в чем была эта прелесть: то ли в застенчивом, очень юном, хотя Насте было далеко за тридцать, странно-глубоком и пронизательном взгляде ее глаз, то ли в горделивой посадке головы, то ли еще в чем. Этот второй образ Насте не был стойким, он быстро исчезал, оставляя по себе недоуменное чувство, и вновь возникала некрасивая, неопределенных лет женщина, с бледным, обветренным лицом и большими, натруженными руками. Много лет назад странное и непрочное очарование Насте привлекло молодого объездчика с конезавода, но началась война, и Настя из невест сразу попала во вдовы. Настя навсегда обиделась на жизнь, и если директору хотелось, чтобы его считали хорошим, то Настя больше всего опасалась, как бы ее не заподозрили в доброте.

Она яростно охраняла свои права: производить уборку от девяти до десяти утра — ни минутой раньше, ни минутой позже; подавать горячую воду для бритья ровно в восемь тридцать; не стелить постелей — это положено делать самим отдыхающим. Каждому, кто посягал на эти ее права, она прямо бросала в лицо: «Не обязана!» Но как-то так получалось, что Настя стелила постели и носила горячую воду по три раза в день и делала множество иных не обязательных для нее дел. Она по-своему мстила за это, наотрез отказываясь брать те десятки и двадцатипятирублевки, которые пытались навязать ей перед отъездом. У нее делалось при этом такое злое лицо, что отдыхающие, бормоча извинения, неловко прятали взмокшие в ладонях комочки денег.

Вся жизнь Насте пошла на иной лад, когда ее назначили уборщицей в спецкорпус. Сначала она восприняла приказ директора как грубое посягательство на ее права, и даже грозное слово с ам не произвело на нее никакого впечатления. Но очарованная невиданным убранством комнат, она потеряла вдруг всякую охоту протестовать. А потом в этих комнатах сосредоточился весь смысл ее существования.

Настя отдалась новой заботе со всей страстью своего нерастрченного сердца. Постепенно в ее сознании сложился удивительный, сказочный образ того, кто должен приехать и воцариться среди этого великолепия. Она верила, что это необыкновенный, ни на кого не похожий человек, если ему оказывают столько заботы, если и незримый он заставляет ежедневно, ежечасно помнить о себе. И для Насте не было большей радости, чем заботиться о комнатах, которые должны были принять его. Но она не забросила и прежних обязанностей. С обычной своей неистребимой добросовестностью убирала она оба этажа подсобного корпуса: мела полы, опрастывала пепельницы, начищала до стеклянного блеска ванну и умывальники, меняла воду в графинах, перетряхивала коврики и даже, ворча про себя, стелила постели. Но все это не затрагивало ее сердца, все это принадлежало будням, той жизни, которою можно было бы и не жить. Зато она жила страстно, трепетно и полно, когда очередь доходила до заветных покоев. Здесь ее обычная работа становилась творчеством. Можно просто вымыть окно, а можно сотворить чудо: сделать его таким прозрачным, сверкающим, солнечным, что оно словно втягивает в комнату и синь неба, и белизну снега, и зелень хвои; исчезают стены, комната становится частью простора. Одно дело — навести в комнате порядок, другое — когда вещи находят в пространстве комнаты свое единственное

место; поставить шкаф не прямо, а чуть наискось, немного выдвинуть телевизор, перенести цветы с тумбочек на середину овального стола — и все вдруг становится иным: вместо скучного порядка — красота.

Почти каждый день приносил Насте маленькую находку, и директор, проверявший время от времени готовность нежилых покоев, чувствовал нечто, чему и сам не мог подыскать названия. Он не замечал перемен, все как будто оставалось попрежнему, но почему-то вид этих комнат каждый раз дарил его новой радостью и все растущим ощущением безопасности.

Насте казалось кощунственным самое предположение, что эти комнаты может занять первый попавшийся, случайный человек. Коллебания директора оскорбляли ее: никто не смеет переступить порог этого дома, кроме самого...

Но проходили дни, недели, месяцы — никто не приезжал. Минул год, быстро покатился вслед ему второй, а комнаты попрежнему оставались необитаемыми и холодными, ибо их не согревало присутствие человека; попрежнему сверкали вещи никому не нужной чистотой; попрежнему пялился белесым оком слепой и немой телевизор; разучившиеся бегать шары, казалось, жирели и пухли на травяной зелени биллиарда; красивое, в резной оправе, зеркало не отражало ни одного человеческого лица, кроме бледносмуглого, с жестко обтянутыми скулами и черными, запавшими глазами лица Насти; ни одна одурманенная сном голова не касалась тугого, прохладного крахмала подушек.

Тщетное ожидание, даром потраченные заботы, впустую израсходованный пыл постепенно породили в Насте ненависть. Ее обманули. Обманул не директор — что ей до него! — обманул тот, кого она с таким страстным нетерпением ждала.

Но думать о том, что жданный гость не приехал, значило попрежнему ждать его, а Настя не могла — не хотела больше ждать. Она перестала что-либо трогать, перемещать в комнатах, а Василию Петровичу казалось, что Настя стала халатно относиться к своим обязанностям. Он водил ладонью по крышке телевизора, по ручкам, но нигде не находил ни пылинки; он трогал пальцем стекла, и палец визжал на чисто промытой, насухо вытертой глади; топтался на ковриках, тщетно пытаясь вызвать хоть облачко пыли. Придаться было не к чему. И все же чего-то не хватало, и Василий Петрович недовольно хмурил брови.

Между тем презрение Насти к незримому жильцу росло и, наконец, охватило все ее существо. Ей казалось теперь жесточайшей несправедливостью, что ему отданы эти просторные комнаты, полные света и воздуха, все эти красивые и нужные вещи.

Однажды Василий Петрович возвращался домой, после одинокой ночной прогулки. Он очень любил этот час около полуночи, когда весь дом отдыха со всеми окружающими его службами покоился во сне; когда он переставал ощущать вечную, докучную требовательность людей; когда его уже не могли потревожить ни отдыхающие, ни сестра-хозяйка, ни шеф-повар, ни бухгалтер, ни кладовщик, ни садовник, ни внезапный контролер из министерства, ни телефонный звонок их колхозов, которым всегда что-нибудь нужно от него; ни жена, которая ни-

как не может взять в толк, что он директор, а не хозяин дома отдыха. Правда, это незатейливое счастье выпадало ему довольно редко, обычно усталость укладывала его на лопатки, едва оканчивался трудовой день.

Ночь окутывала территорию дома отдыха тьмой, чуть просквоженной зеленоватым светом народившегося месяца. В этой зеленоватой тьме все казалось нарядным, прибранным, ладным, нужным и красивым: даже высокие, жестко обледеневшие по горбине сугробы снега обочь дорожек и аллей, даже невыносимо уродливая днем гипсовая фигура оленя, похожего на овчарку с на смех приставленными рогами.

Хорошо и покойно думалось обо всем: о том, что самое трудное в жизни осталось позади и теперь можно медленно и сладко засыпать в тепле постели, не опасаясь, что тебя подымут среди ночи; что в отношениях между людьми всё больше укрепляется дух взаимопонимания и доверия; что можно, не боясь недоброжелателей, от души стараться сделать жизнь отдыхающих лучше, сытее, спокойнее и веселее, да и свою жизнь также . . .

Василий Петрович завернул за угол дома и вдруг замер, чуть осадив назад и косо задрав голову, как конь, наскочивший на плетень: в окнах необитаемого флигеля горел свет. Точнее, свет горел в кабинете, спальне и биллиардной, откуда доносился сухой, костяной треск шаров. В гостиной было темно, но там звучала музыка, и когда Василий Петрович, преодолев мгновенное оцепенение, шагнул вперед, он увидел на противоположной окнам стене гостиной трепещущий, бледно-сиреневый отсвет, и понял, что там работает телевизор.

Какое-то странное чувство пронизало Василия Петровича. На миг ему почудилось, что вещи, прискучив своей ненужностью, взбунтовались и без помощи человека зажили своей самостоятельной жизнью: зажглись лампы, забегали шары по зеленому полю биллиарда, ожил телевизор на радость креслам, тумбочкам, столу и диванам. Но это диковатое чувство сменилось тут же другим, более трезвым, хотя и столь же щемящим: свершилось! . . . То, чего он с таким трепетом ждал более года и чего почти перестал ждать, — свершилось. Знатный гость словно нарочно прибыл в отсутствие директора, когда никто его не ждал, и таинственным образом отыскал предназначенные ему покои, проник в них без ключа и хозяйской уверенной властью враз оживил неживое.

Но и эта мысль лишь на миг, не более, владела сознанием Василия Петровича и вытеснилась тоскливым недоумением: нет, не может этого быть . . .

Став зачем-то на носки, он почти крадучись, сошел с дорожки в талый, рыхлый снег и приблизился к окну.

У телевизора, на экране которого мерцало голубоватое пятно, перечеркнутое быстро бегущими куда-то тонкими линиями, сидела, сложив на коленях большие руки, уборщица Настя. Справа от нее, широко открыв глаза и рот, притулилась десятилетняя дочь дворника Степана Клавка, а по левую — сладко дремал в глубоком кресле Клавкин меньшей брат. Сквозь дверную щель было видно, как у залитого светом двух люстр биллиарда трудился их отец, дворник Степан, часто и неумело тыкая острием кия в шары.

Она решилась, она нарушила запрет! Открыто, вызывающе про- никла она в этот очарованный мир, воцарилась в нем полноправной хо- зяйкой и ввела в него Степана. Со странным замиранием ощутил Ва- силий Петрович, что он видит сейчас что-то очень хорошее, очень пра- вильное, очень нужное. Но он тут же поднял руку и резким, грубым движением, так что зазвенели стекла, постучал в окно . . .

А затем Василий Петрович орал, грозил, топал ногами, заходясь и пьянея от собственного крика. Он так старался, словно рассчитывал, что его яростное негодование достигнет ушей того, чьи права были столь грубо нарушены. Неизвестно, услышал ли его с а м, но нару- шители остались глухи к директорскому гневу. Держа за руки детей, они прошли мимо директора со спокойным и строгим достоинством.

И глядя на их суровые, почти торжественные лица, Василий Пет- рович вдруг осекся, замолчал, с удивлением прислушиваясь к стран- ному, новому, незнакомому ощущению, которое подымалось, росло внутри его, пронизывая до кончиков пальцев, ощущению невыносимой гадливости к самому себе.

«Литературная Москва».

Сборник второй. 1956 г.

Русская проза и поэзия зарубежья

А. Неймирок

СТИХИ

РЕВОЛЮЦИЯ

Дорога. Степь. Две вышки: слева, справа,
И серое полено у канавы.

А поперек — шлагбаум полосатый
И с автоматами в руках солдаты.

Две смуглые веселые девчонки
Смущенно пошептались у лавчонки,

И, речь немецкую с трудом осияя,
На медяки инжиру попросили.

Потом ушли, робея с непривычки,
И на ходу дрожали их косички.

Октябрьский дождь торопится и злится,
И мокнет городишко на границе.

Не дале, как тому назад неделю,
Они на парте рядышком сидели.

И вместе по секрету завивались,
И алгеброю вместе занимались.

Октябрьский дождь. Гудки автомобилей,
Гудки бесчисленных автомобилей,

И всё туда, туда, туда, откуда
Вот эти двое, как живое чудо.

Теперь они — посланцы Комитета,
На них повязки гордые надеты.

Вчера над болью, над тоской кровавой,
Вчера им улыбнулось солнце славы,

А завтра... Может быть...

Две худенькие смуглые девчонки
В австрийской замусоленной лавчонке,

Что в двух верстах от серого полена,
Что на дороге в Будапешт из Вены.

*

Через метели и через грозы
Я слышу, вижу сердцем и кровью,
Что кипарисы, а не березы,
У каменного изголовья,

Что мшистый бархат по оградкам
Расцвел зеленым, немым цветеньем,
И что никто не станет рядом,
Не станет, преклонив колени.

Но непонятное пророча
(Быть может, радостный полдень рая),
Псалтырь тебе читают ночи,
Росу холодную роняя.

*

Забита калитка.
Ржавеют болты.
И дни бесприютны
И листья желты.

И память о прошлом
Не огорчит.
На яблоне дятел
Стучит и стучит.

ПО ШВЕЦИИ

Здесь ели высоки, озера глубоки,
Здесь мертвые скалы и валуны,
Здесь дети и девушки голубоки,
И немочью бледной закаты больны.

Здесь носятся гуси в полуночном хоре
Под небом белесым опала светлей.
Здесь ветер взмывает с Балтийского моря,
Забрызганный вестник России моей.

Д Н И

(Из парижских записей 1944 г.)

28 февр. 1944 г.

Нынче был грустный день. Такая подавленность, тоска. Вспомнил-ся даже свой угол в Булони*), свои книги. А там ведь сейчас пустыня. И идет на нас пустыня, вообще, со всех сторон. Пусть верещит пропеллерами, танками гремит, она ничем не наполнена кроме смерти. Быть может, скоро и французская земля наполнится вновь страданием, ужасом. Что суждено видеть Парижу, нам? Собственно, мы уже находимся в революции. Гражданская война идет. А не сегодня-завтра и еще одно иностранное вторжение. И все — на одно наше поколение. А вот я всегда, с молодости, был за «мирное, гармоническое развитие», революцию терпеть не мог и до сих пор не выношу, — а вся жизнь в ней прошла. Теперь издали, отлично видно, как мало в ней понимал и «предчувствовал». Это плохой признак? Может быть. Ни на какие пророчества не претендую. Жизнь (Россия особенно) пошла совсем не так, как бы я хотел и как думал, что пойдет (перед первой войной). Но меня не спрашивали. Выбран путь революции — и его проделали с логикой, которая может быть и в кошмаре. За все эти двадцать пять лет людям моего склада все хотелось, чтоб «обернулось» благообразнее, потише, — а оборачивалось все ужаснее и громче. Да еще и конца не видно этому ряду «волшебных изменений милого лица». Одно бесспорно: Россия уже заплатила бессчетный счет. Оптимисты же уверены, что все обернется превосходно. Дай Бог. Я не верю. Но сам признал себя плохим пророком. Так что, может быть, скоро увидим «все небо в алмазах».

22 марта 1944 г.

Был на квартете Бетховена. Попал случайно. Сидел почти там же, где и 3-го марта 1942 — тогда квартет кончился бомбардировкой. На этот раз обошлось спокойно. Никто никого не убивал.

*) Булонь — Предместье Парижа. Во время войны подвергалось обстрелу. Из-за этого автор записей полтора года вел кочевую жизнь в более спокойных кварталах Парижа.

Как и тогда, трех скрипачей и виолончелиста от меня не было видно, ну и Бог с ними — в антракте я выглядывал из прохода, видел их. Лысоватые, серьезные люди, дай им Бог здоровья, и играют на совесть. Слава Богу, что играют и слава Богу, что еще есть Бетховен.

После всяких радио, после «музыки» в синема звуки настоящих инструментов кажутся братьями родными. Так бы обнял их, к сердцу прижал. Какое благородство! Да, это не улица. Если быть владыкой человеческого муравейника, надо запрещать такую музыку. Она слишком аристократична. Для муравейника вредна, ибо поддерживает и укрепляет одиночек, мнящих себя выше уровня. Долой одиночек, долой, укоротить их на размер головы.

Играли седьмой, восьмой и девятый квартеты. Разорился, купил и программку. К удовольствию своему узнал, что тема Adagio в седьмом квартете не мне одному кажется „d'une beauté ineffable“. А в восьмом про одно удивительное место — тоже в Adagio — сказано, что это «беседа в Раю душ, любивших на земле друг друга». Да, эта часть музыки, правда, обладает сверхземною прозрачностью, каким-то тихим величием — райским. Знал ли Бетховен Данте? Читал ли «Божественную комедию»?

А потом вдруг (ни с того, ни с сего) появилась «русская тема»: с детства знакомая «Слава» . . . Исторически это понятно. Квартет посвящен русскому послу в Вене графу Разумовскому. Значит — поклон и благодарность покровителю. Но при чем тут самое строение произведения? Вообще, как эти квартеты строятся? Даже в нашем «рассказе», в повести, очень свободных формах, все же должна быть внутренняя цельность, ядро, вокруг которого все слагается. А у них, по видимому, не так. Как будто взял allegro, scherzo, adagio, andantè, allegretto, еще какое-нибудь largo, перетряс, перемешал все это и будет один opus. По другому эти же формы скомбинировать — другой!

Тут уж начинаю улыбаться. Кажется, в первый раз в жизни пишу о том, чего совсем не знаю.

28 мая 1944 г.

Общее мнение: близятся события. Увидим ли войну совсем рядом? Возможно. Уцелеем ли? Также возможно. А может быть, и не уцелеем. Пока же что сидим без угля, с сокращенным газом, сокращенным метро. Не удивлюсь, если и пешечком пойдем и в темноте вечером посидим, хлебнем soupe populaire.

В нашей семье тоже событие: А. берут в Германию, на работы. Со всех сторон есть попытки избавить его от этого. Три недели идут хлопоты. Все неясно и скорей — плохо. Третьего дня получил я известие, с небольшою надеждой. Поздно было уже идти к А. и Н. — дождался утра. В восемь явился к ним. Свидание с лицом влиятельным назначено в среду, но А. должен уезжать во вторник! «Сделайте все возможное, чтобы получить хоть на несколько дней отсрочку». На этом и порешили. Н. в особенности того же мнения. А. ушел на службу. К часу оба они должны прийти к нам завтракать, архимандрит К. тоже. Я придумал так, чтобы вместе помолиться.

Сирены гудели, как хотели, все же Н. пришла во время. «Папа,

плохия вести. Сказали, что очевидно хлопоты не удались, *l'affaire est enterrée*. Завтра Троица, послезавтра тоже праздник, ответа нет, а во вторник уж ехать». Н. легла на постель, на спину. Она бодро и крепится. Но в лице что-то дрогнуло. «Мне будет ужасно скучно одной. Не забывайте меня». В. целует ее. — Архимандрит появился скоро. Я сказал ему, что хотелось бы отслужить молебен. А. несколько запоздал. Наконец, стук в дверь. Отворяю. Усталый А., запыхавшийся (шел пешком из-за алерта), но веселый. «Хорошие вести!»

До часа он сидел на службе и не было уже никакой надежды, все расхотелись. И — в последнюю минуту известие, что сами германские власти ходатайствуют о том, чтобы троих оставить как необходимых для работы банка — в том числе его. И во всяком случае во вторник не ехать.

В. обнимает Н. «Помнишь, мы начали хлопотать в канун дня Николы Угодника? Он всегда мне помогал».

Архимандрит тоже взволнован. Сквозь слезы слушаем мы молебен. Да, вот все пятеро объединены в волнении и любви. «Ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят».

Архимандрит стоял с крестом высокий, худой, крепко и пламенно сказал, обращаясь к А: «Все будет хорошо. Все как надо. Что бы ни было, все как надо. Полагайтесь на Бога. Чудеса Его не в том, что вот пред вами столп какой-нибудь огненный возникает, а в том, что Промысел все устраивает так, как надо, для вашего же добра».

Завтракали весело и легко. Чокались за А. Опять загудели сирены. Опять стрельба. Но радость не подавляется — тут уж могу прямо сказать: нашей братской «трапезы». Да, оттенок агапы, трапезы любви был во «вкусении» салата, изготовленного В., макарон, вина, настоящего кофе, который берегла В. к этому дню. А потом архимандрит рассказывал о своих ученических годах, просто веселое и смешное, и Н. заливалась смехом детским. Я же показал ему старые фотографии нашей семьи — Боже, какие мы были тогда! Прежний мир, Притыкино, отец, мать, тульские поля... Но с архимандритом мы земляки, одно любим, одно понимаем. В светлом майском дне парижском прошли тени былого, милые тени, иногда ранящие до боли, но сегодня все залито светом.

Так и остался в душе этот день, и снаружи по-майски сияющий! и внутри полный света. Что такое? Любовь ли, молитва, дыхание Духа? «Царствие Божие внутри вас есть». Думать дерзаю: Царствие Божие — это тот свет, веселость внутренняя и радость, отблеск чего был и у нас. Пятеро, но не в будни, а в праздник.

Позже поехали с В. в бедную нашу Булонь, на свое прежнее пепелище, откуда выгнали нас бомбардировки. И весь вечер занимались у себя на квартире малыми хозяйственными, будто бы будничными делами. С высоты пятого этажа, в голубой шири неба видел я стаи гостей, выстрелы грохотали, рвались в небе шрапнели и на несколько минут мы спускались вниз, в подвал, к мизераблям долины. Но все это прошло, а над скромным нашим житием, над Булонью полуопустевшею лежал зеркальный, прозрачно-легкий свет этого дня. И над окном, которое я мыл, и над пасьянсом, который раскладывал, и над страницами

книги о Витербо. Нет, как бы ни повернулось дело с А., этот день есть день. Его не вычеркнешь.

Мы возвращались при ясном месяце, синем ночном полумраке пешком, по убогим улицам Бианкура и Исси. Шли легко. От Porte de Versailles начался Париж. На rue de Vaugirard в саду цвела белая акация. «Запах жасмина», сказала В. — Жасмина ли, не знаю. Но из-за старой стены, из огромного сада сладко лился очаровательный запах — ну вот, наконец, он в тон месяцу, синеве ночи, легкости духа.

6 июня 1944 г.

«Нынче ночью, между Гавром и Шербургом произошла высадка» — так мне сообщили на лестнице, когда вышел по хозяйству. В городе совершенно тихо. Около магазина застигла сирена. Переждал рядом, в квартире Н. На лицах прохожих ничего не заметил. Немецкие солдаты все такие же, как всегда. Вот так, вероятно, и делается история.

7 июня 1944 г.

Начался «новый эон» жизни нашей. Война в двухстах километрах от Парижа. Вокруг города Кан, знаменитого водкою своей, Бог знает что происходит. Слухов, конечно, море. Врут, как хотят.

Вспоминаю время около пяти лет назад. В августе 1939 г. мы с В. провели несколько очаровательных дней в Авиньоне. Это напоминало молодость нашу, скитания по Италии. И оказалось как бы прощальным путешествием мирного времени — едва мы вернулись, началась война.

Я нервно себя в Авиньоне чувствовал. Особенно одна ночь была странная — совершенно бессонная, в страшной тоске. Именно в эту ночь Германия подписала с Россией соглашение, толкнувшее ее на войну.

Не могу сказать, чтобы был у меня дар предвидения, или предчувствия. Но вот теперь, второй раз: три последних дня перед наступлением «нового эона» ощущал я опять эту же пожирающую тоску. Места себе не находил, днем в особенности. Можно, конечно, сказать, что и тогда, и теперь было нервное утомление. Но то, что совпало оно с канунами грозных событий, все-таки заставляет задуматься. Нервы нервами, а почему же именно в такие минуты? Тайнственное проявляется в формах обыденных, но нельзя формами объяснить последних причин. Чем больше живу, более все мне кажется, что ничто зря не делается. Из загадочных глубин Промысел подает знаки и ведет куда надо. Да, в Промысел без затруднения верю. Вообще скорее пессимист, а тут верю в конечный прекрасный смысл всего, несмотря на ужасы окружающего.

Ночью была сильная стрельба. До пяти не мог заснуть. Но чувствую себя бодро. Гроза началась, а томление предгрозовое кончилось. Так, что ли?

8 июня 1944 г.

Ночь плохая. С часу почти до трех летели прямо над нами. В. ска-

зала: «точно мне по голове скребли». Сколько их было! Мы не спускались в погреб, а лежали, одетые, в темноте на постели. Страшно не было. Но как-то противно. Стрельбы мало, — однако, пять штук над Парижем сбито.

Утром поставил радио. Моцарт, турецкий марш. Непохоже на ночную музыку. Хорошо, что он ее не слышал.

21 июня 1944 г.

Симпатичный эончик продолжается. Теперь ухитрились уж стрелять с берегов Франции по Лондону и южным портам. Летописец записывает: «в лето от Рождества Христова 1944-е бысть великое огненное метание даже до вражеской столицы» — и так далее. Далее не пишу, ибо древнего языка не знаю, да и язык тот, к чести его, не сумел бы выразить нынешнюю мерзость. Моторы, пилоты, радио... Бог с ними. Бог с ними. Опять кого-то убивают, самыми усовершенствованными способами. Покойный отец сказал бы: «Без нас. Без нас». Он тоже не любил убийств.

Третьего дня были в Булони, на прежнем пепелище. Всегда эта Булонь, в нашей части особенно, была скромна до убожества. Мелкие фабрички, заборы, угольные склады, серое население — мизерабли долин. Одни только платаны на Boulevard de la République, куда дом наш выходит, хороши — могущественно плодотворны. Теперь, после стольких бомбардировок, разрушений, этот край опустел. Многие поразъехались. Фабрики позакрылись, улицы стали безмолвны, светлы и чисты. Воздух лучше — с холмов Медона доносит даже ветерок благоухание.

И повсюду страшные воспоминания. В этом искалеченном доме тяжело ранили итальянца — парикмахера, под другим рухнувшим погиб русский (теперь ровное место, огороженное забором. Если б Н. не позвала нас тогда завтракать, 4-го апреля, мы бы с В. как раз здесь возвращались в час обстрела). Там на кладбище лежит русский мальчик из нашего дома.

Так что Булонь-Бианкур место страдальческое. Я его никогда не любил, но теперь оно возбуждает участие. Мне его просто жаль, как живое существо. И квартиру свою жаль. Разоренная жизнь. Все без человека увядает, покрывается пылью. Дух небытия. Затхлый воздух в комнатах — и мои книги, моя двадцатилетняя жизнь в Париже — все отходит.

На дверях дома нашего объявление: это zone très dangereuse, женщинам, детям и старикам советуют уезжать. Будто бы, будут бомбардировать мосты.

Я провел пол-дня в пустынной квартире с видом из окон на пустынный город. В окнах, с пятого этажа, много свету. Сизый день. Временами дождь накрапывал. В. хозяйничала. Я хотел было разбирать старые письма, статьи свои, да не решился. Заест печаль. Глядел сверху на безлюдную улицу. Развернул Муратова «Образы Италии». Посвящение такое: «Борису Константиновичу Зайцеву, в память о счастливых днях». Эти дни были сорок лет назад.

22 июня 1944 г.

Вчера в церкви на rue Lourmel панихида по скончавшемся в Германии о. Дмитрии Клепинине. Много народу, все взволнованы, немало слез. Его любили. И жалеют вдову с двумя детьми.

Я его мало знал. Все же помню один день, с ним проведенный — около смерти.

В этой самой церкви отпевал он старого писателя Александра Антоновича Курсинского (одного из ранних символистов русских, сподвижника Брюсова и Бальмонта по «Весам»). Вот одинокий был человек! И малоизвестный. Из отельчика попал в больницу. Там и умер. Едва успел я выкупить тело его — могло попасть в анатомический театр.

В страшный декабрьский мороз, при огромном, из туманов вылезавшем красном солнце, мы везли тело за Париж, на кладбище: В., я и о. Дмитрий — он все кутался в какую-то кацавейку, поглаживал рукой округлое, не совсем правильное, но милое лицо с кругловатою бородкой — он вообще весь был круглый. И вот так мы неслись к кладбищу Thiais, сидя рядом с гробом Александра Антоновича. О. Дмитрий спрашивал о чем, я рассказывал, он кой-что записал: для статистики своих покойников. Да и вообще был он человек с обращенною к людям душой. Светлый.

Кладбище бесконечное. Канава, ряд могил — fosse commune. Не забыть огненного ветра, огненного солнца, рук леденеющих о. Дмитрия над могилой, согнувшись читающего последние молитвы. Могильщики, сухая пыль под ветром, даль зимней Франции, убогий гроб Александра Антоновича. Что поделаешь: это жизнь. Бедность, одиночество русского писателя в изгнании.

А вчера, выйдя на церковный двор после панихиды, обратил я внимание на парня — он сидел у двери дома, рваный, босой, с лицом обветренным, тупым взглядом. Страшные ноги: все сбитые, должно быть, были окровавлены, потом засохло, стружья лиловые. — На него собирали среди русских: «Это из Шербурга. Русский пленный».

Русь! Русь! Мы забыли тебя. Тут не видишь босых, нечесанных. Мы отвыкли. Наш же брат, человек, да по-русски еще говорящий. Сколько осталось их там? Сколько в страшном плену погибло?

29 июня 1944 г.

А. оставлен в Париже. Я очень счастлив. Как хорошо мы тогда были вместе в любви и молитве! Мне представлялось: может быть, и не будет услышана наша молитва — все равно, то высокое, что нас объединяло, останется. И безропотно надо было бы принять все, что послано. Но вот вышло и легче, и радостней: как же не радоваться? Архимандрит К. тоже доволен. От него письмо. «Как я рад за всех Вас, а особенно за Вашу Н. Помните, я сказал тогда у Вас: когда будет совсем плохо, вот тут-то и придет помощь. Вот и жандармы приходили, казалось бы, совсем плохо, а тут-то и отверзлась дверь спасения».

Может быть, так можно сказать: не всегда исполняется то, о чем просим, но всегда устраивается так, как для нас лучше — в последнем счете. На этот раз, значит, то и другое совпало. Благодарение Богу.

СТИХИ

САМОЛЕТ

Под ним дорожка поплыла,
И горизонт его огромен,
Ревел мотор и тень крыла
Мелькнула на аэродроме.
Свободный ветер чуть качал
Крыло, машина шла над лесом,
И разносила сладкий чай
Хорошенькая стюардесса.
В жакете синего сукна,
С блестящей птичкой на пилотке.
Символизирует она
Уравновешенность и ловкость.
Ей нужно чашки сосчитать,
В Нью-Йорке навестить знакомых,
Поспать часок, и дочитать
Новеллу Сомерсета Мома.
Широко скроенный радист
Рапортовал аэродрому,
Что в десять сорок поднялись
Без затруднений и поломок.
Моторный гул вился, как нить
Легко и ровно без нажима,
Радист спокойно закурил
Пошел в кабину пассажиров.
Он детям весело кивал,
А где-то за стеклом кабины,
Слегка дымился океан
И солнце билось и рябило
В воде. И он еще курил
И думал ласково о море,
А ухо отмечало хрип
И придыхание в моторе.
Пошел к пилоту — что за чорт!
Глаза косили на приборы,
Он ясный приговор прочел
Работе правого мотора.

Седой дымок еще вился
 В забытом между губ окурке,
 Он стюардессе: пояса, плоты, спасательные куртки.
 Мотор закашлялся глухим,
 Бессильно-хриплым перебором...
 Радист передает в эфир:
 Поломка правого мотора.
 Снижаюсь... Левый сплоховал...
 Едва ли до земли дотянем,
 Ведем машину в океан,
 Придется сесть на океане...
 До островов не долететь...
 А стюардесса, все надеясь,
 Просила не будить детей
 И оставаться на сиденьях.
 Моторы перешли на хрип,
 Вода... Испуганные лица,
 Над дверью надпись: «Не курить,
 Машина на воду садится».
 Моторы взрывом разнесло,
 Черно от дыма... Крен кабины,
 Машина встала на крыло,
 Ломаясь на две половины...

Лились газеты со станков,
 И в стопки ровные ложились.
 Воды не пережил никто
 Из двух десятков пассажиров.
 Случайный пароход нашел
 В куске кабины, в гряде лома
 Футляр с губным карандашом
 И томик Сомерсета Мома.

1956 г.

УКСУСНЫЙ ФЛАКОН

На приборах были монограммы,
 Дверцы шкафа разлетались врозь,
 Был хрусталь на полках — многогранный,
 Чистый, звонкий, ясный, как мороз.
 Были рюмки, кувшины, графины,
 Винные бокалы с холодком,
 Был цветного хрусталя старинный
 Узкогорлый уксусный флакон.
 В памяти поблескивает кротко,
 Проступает в перевозданной мгле
 Радуга его граненой пробки

В переключке с лампой на столе.
 В этом старом укусном флаконе,
 В капельке прокисшего вина
 Краски я разглядывал, знакомясь
 С миром окружающим меня.
 Был фарфор саксонский — на тарелках
 Золотые бабочки, жучки,
 По краям листва сплеталась крепко,
 Гроздь винограда заключив.
 Открывающаяся реальность
 В чистый мир орнаментов звала —
 Так слагались и определялись
 Чувства, мысли, склонности, слова.
 Целый мир на память сохранило
 Красное прокисшее вино,
 Детский мир, где все неповторимо,
 Потому что не повторено.

1956 г.

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

Как бабочки кружатся на террасе
 У лампы керосиновой, вы видели?
 Сошел с балкона — в ночи затерялся,
 Из ночи только круг под лампой выделен.
 Широкий круг. Он так уютен. Манит
 Придти с купанья (речка тут же под боком,
 За черным садом), ужинать в мельканьи
 Седых ночниц, со стен и окон согнанных.
 Ступеньки в темный гравий убегают,
 Сыр на столе, завернутый в пергаменте,
 И кажется от шелеста бумаги
 Возможна тень. Так воздух чист. И тянется
 Дорожка от террасы до обрыва.
 Мученье с этой лампой, с керосиновой,
 Всегда течет. Фитиль обрезан криво,
 И вонь не выгнать никакими силами.
 Бывает так, что есть невыносимо.
 Мы глушью этой враз безоружены,
 Творог и булка пахнут керосином,
 Подумайте! И так за каждым ужином.
 Но спать пора. И лампу в дом уносят,
 И тени вдруг качнулись, и смещаются,
 И жалит стекла комариный носик,
 Комар пищит и мается в отчаяньи.
 Бревенчатые стены и простенки

Плывут тенями, щели углубляются,
 Клочками пакля лезет, между тем как
 Шкафы и балки начинают кланяться.
 И все стихает. В чашке тесто пухнет.
 Далекий лай, собаки чуют что-нибудь,
 На полке поласкательница в кухне,
 Да спички дремлят на постельном столике.
 Проснешься ночью, резко чиркнешь спичкой,
 Блеснет клеенка желтоватым лаком,
 Да мягко глянет твой пенат привычный,
 Твой сторож — керосиновая лампа.

1957 г.

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ

Горный хрусталь . . . Он не гордостью стали
 Ясной душой он отличен от всех
 Залежей . . . Дремлет в глаза не бросаясь
 В глыбу оправленный солнечный спектр.
 Горный хрусталь. Прирожденная скромность,
 Твердая скромность в сознании сил,
 Он эти глыбы горячими помнит,
 Лаву он видел, обвал выносил.
 Тает веками сползающий глетчер,
 Глетчер идет волоча валуны.
 Дикий хрусталь — он почти человечен
 Тусклым сияньем своей глубины.
 Дружит в веках с ледниками и с небом,
 С солнцем и ветром — ведь он им родня.
 В блеске кристалла врожденная смелость,
 Чистая смелость уральского дня.
 Пусть за столетья уральских обвалов,
 Пусть за столетья со снегом, с дождем,
 Жизнью семьи, долголетьем бокалов
 Будет уральский хрусталь награжден.

1957 г.

ДЕТИ

Роман

(Продолжение)

Х

Трехдневное путешествие из Тяньцзиня в Харбин показалось Лиде волшебством. Она провела эти дни в непрерывном радостном возбуждении.

Лида, как сказала бы мадам Климова, «производила впечатление». Только пальто у нее было старое, но она старалась надевать его пореже, лишь вечером, когда выходила на станциях. Обычно на ней был ее новый серый костюм, и на этом фоне вдруг выступили все благородные черты ее породы, врожденная грация движений, очаровательная сдержанная приветливость, ко всем одинаковая. Лида выглядела несомненно аристократкой. Ее глаза — серо-голубые, волосы — золотые, с серебристым оттенком, высокий рост — всё выделяло ее. Ее принимали совсем не за то, кем была она в действительности. Глядя на нее, каждый сказал бы: вот тщательно взлелеянная дочь богатой семьи, не знавшая еще никогда ни нужды, ни горя.

Госпожа Мануйлова гордилась Лидой, не переставая однако же ее «воспитывать», то есть указывать на малейшие промахи, предупреждать возможные ошибки.

С ними ехал попутчик — мистер Райнд, с которым госпожа Мануйлова познакомилась недавно. Он плохо понимал по-русски и искал случая быть с русскими и говорить с ними. Это был тот самый мистер Райнд, который присутствовал на благотворительном базаре, но ни он, ни Лида не узнали друг друга. Он занимал купе первого класса, Лида и ее учительница ехали вторым.

Мистер Райнд был одним из тех людей, которые обладают открытым лицом, готовой для всех улыбкой, которые необычайно разговорчивы, радушны, просты в манере, в обращении с людьми — и, несмотря на это, или благодаря именно этому, кажутся подозрительными, даже таинственными и в осторожных людях вызывают желание держаться от них подальше.

Он называл себя путешественником. Китай знает все типы путешественников, все их разновидности, существующие и существовавшие на земном шаре. Не говоря о тех, кто приезжает с откровенной целью учить, делать деньги или учиться, тратить деньги, проповедывать науки или религии, — в недры Китая проникают и совершенно изумительные особи, путешествующие с самыми поразительными, разумными или уж и вовсе безумными целями, а то и вовсе без всяких. Самые интересные — с медицинской точки зрения — это путешественники-одиночки, совершающие, например, кругосветное путешествие, катаясь в бочке с железными обручами, или же задавшиеся целью выпить стакан сырой воды из всех пресных озер мира.

О целях своего путешествия мистер Райнд ничего не говорил. Ехал он «в Европу» через Советскую Россию, с намерением останавливаться кое-где по дороге. Первой остановкой был намечен Харбин.

Люди, «выдавшие виды» и «знающие жизнь», угадали бы в мистере Райнде одного из тех джентльменов, которые обладают редким секретом: умением во-время появиться и во-время исчезнуть. Таких джентльменов можно встретить на улицах больших городов, преимущественно столиц тех государств, где неспокойно, где «назревает» что-то, что именно — никто определенно не знает, но приближение и неизбежность чего все предчувствуют.

Появляется мистер Райнд. Он предупредителен, внимателен ко всем, всегда готов познакомиться, улыбнуться, сказать (на плохом туземном языке) доброе слово, пригласить на обед в ресторан, дать нищему доллар. И все же этот безукоризненный, веселый джентльмен, мягкий до сентиментальности, отзывчивый, как эхо, воспринимается туземцем как черный ворон — предвестник катастрофы. Такой джентльмен обычно не очень молод, скорее средних лет, с проседью. Он всегда прекрасно побрит, его костюм всегда хорошо выгужен. Если он в очках, то они дымчато-синие. Во всех обстоятельствах его ногти коротко подстрижены, и руки совершенно чисты, хотя никто никогда не видал его с ножницами или бритвой в руках. Он, несомненно, делает, по крайней мере, одно (конечно, небольших размеров) доброе дело в сутки. Прислуге он хорошо дает на чай.

И вот именно это здоровье, этот хорошо выглаженный костюм, короче, этот оптимизм и благополучие и делают мистера Райнда чужим, возбуждают неприязнь к нему, выделяют его, как иностранца, в тех больших городах, куда он приезжает, и где уже бросили разглаживать костюмы и тщательно бриться.

Но Лиде всё было ново. Мистер Райнд не вызывал в ней ни одной из подобных мыслей. Он искал ее общества, она была рада собеседнику. Они сразу же подружились.

Китай! Она знала только один его город. Но вот перед ней развешивалось меланхолическое величие его полей, холмов, рощ, деревень. «Это отсюда приходят их люди в города»... думала Лида, «из этих низеньких сельских домов, почти не видных за высокими стенами». В глазах Лиды всё обладало прелестью. Под задумчивым зимним бесцветным небом Китай выглядел прекрасно выполненной пастелью, а жизнь там, в тех домиках за стенами, казалась полной таинственности, волшебных секретов. Всё же вместе для Лиды являлось прелюдией к

развертывающейся истории собственной жизни, которая лежала перед нею, как волнующая еще не прочитанная книга.

Мистер Райнд охотно разделял восторги попутчицы. Он постоянно старался быть с Лидой или с госпожой Мануйловой. Они обедали вместе, и Лидино восхищение, ее наслаждение, казалось бы, обыденной пищей, удивляло его.

— Я начала сегодняшней день чашкой кофе, — говорила она, сияя. — И они еще подали мне кувшинчик сливок, сухарики и к ним варенье и масло!

Принимая ее за лакомку, он подарил ей коробку конфет и хотел раскрыть ее, но она смущенно протянула руку:

— Если вы мне дарите, то, пожалуйста, не распечатывайте! Позвольте мне привезти эту коробку Платовым.

Он подарил ей другую коробку конфет.

— Знаете что, — сказала Лида, краснея почти до слез, — позвольте мне сохранить эту коробку для мамы, как подарок из Харбина. У меня нет возможности купить ей подарок.

— Ваша мама любит конфеты?

— Я не знаю. Я никогда не видела, чтоб она ела их. Но как-то раз у нас был шоколад, нам подарила леди Доротея, и мама очень хвалила его.

Никогда Лида не была ни угрюмой, ни завистливой, ни раздраженной или унылой; она не жаловалась никогда ни на что, не говорила об усталости, как все пассажиры вокруг. Мистер Райнд был необыкновенно любопытен, и она обо всем рассказывала, отвечала на все его вопросы: и как умирала бабушка, и как уехал Дима, каков был профессор, как скрылся мистер Сун. Ее расположение к мистеру Райнду возросло настолько, что она и ему рассказала историю своей любви, рассказала всё, до последнего слова.

Между тем они продвигались уже по долинам Манчжурии, недавно захваченной японцами. Флаг «Восходящего Солнца», с круглым и красным, неприятным для глаз, солнцем развевался над крышей каждого муниципального здания. Флаг этот не был приветлив. Чуждый этой земле, он развевался над нею, как предупреждение и угроза. Он красным своим цветом напоминал пролитую кровь, и яркость его и новизна подтверждали, что кровь эта была пролита где-то тут же поблизости и совсем недавно. Было в воздухе что-то неуловимо больное, в нем были разлиты беспокойство и печаль. Человеческих голосов не было слышно, и людей почти не было видно на этих полях, холмах и долинах. И только звуки меланхолической флейты, поющей похоронные песни, плыли отовсюду, из каждой деревни, поселка, из каждой одинокой избышки. Флейта, казалось, сопровождала поезд, не умолкая ни днем, ни ночью. Начинало уже казаться, что эти звуки неотделимы от ландшафта, что поет у распростертых трупов и у свежезакопанных могил не флейта, а сама природа, и звуки поднимаются не от земли, а струятся с печального зимнего неба.

Бедность, разорение, разрушения войны уже были видны повсюду, во всем. Нищета подымала свой скипетр над страной, и население молча уползало страдать в свои норы. На вокзалах видны были лишь

японские военные и полуголые на морозе, тощие, запуганные рабочие китайцы.

Да и пассажиры в поезде были не те, что в прошлые годы. Казалось, для большинства это была нежеланная, подневольная поездка. Китайцы молчали. Русские беспрестанно говорили, жалуясь на все и вся. Японцы то и дело раскланивались со своим высшим начальством. Западные европейцы, ехавшие, как обычно, первым классом, были немногочисленны — все какие-то деловые люди, и они сидели, запершись, в своих купе.

Красивая, хорошо одетая Лида казалась заметным исключением на этом фоне. Никто не думал, что она русская. Таких русских уже давно не было видно в Китае.

На одной из станций, уже невдалеке от Харбина, внимание Лиды и мистера Райнда привлекла большая оживленная группа. Мужчины и женщины, все темноволосые, смуглые, все невысокого роста, хоть и одетые по-европейски, выглядели определенно чуждыми Европе. Это были армяне. Они оживленно говорили все сразу, вернее, кричали в волнении, жестикулируя не только руками, но всем телом; и вся эта лавина жестов, слов и чувств была обращена на одинокую женщину, стоящую посередине, как бы в кольце этой наступающей на нее, негодующей толпы. Женщина была в бедной черной одежде. Лицо ее было наполовину скрыто черным платком. Три маленьких испуганных мальчика жались к ней в страхе. Все трое большеглазые, кудрявые, черноволосые — выглядели очень жалкими.

Мистер Райнд, увидевший толпу, как и всё в дороге, первым, позвал Лиду. Ему казалось, что одинокая женщина в опасности. Ему также любопытно было узнать, чем такая незащищенная женщина могла вызвать подобный гнев стольких одноплеменников. Лида, увидев происходившее, сейчас же спрыгнула с подножки своего вагона и побежала к группе. Растолкав людей, окружавших женщину, она встала с ней рядом, готовая защищать ее от нападений. Но женщина, подняв к ней свое лицо — маленькое, темное, полускрытое под черной шалью, испуганно смотрела на Лиду. В толпе появление Лиды вызвало изумление, и все как-то примолкли. Мальчики шарахнулись прочь, став по другую сторону матери.

В том, как Лида бросилась и встала на защиту женщины, нечто знакомое почудилось мистеру Райнду. Он уже видел это когда-то и где-то и был смутно встревожен, не будучи в состоянии восстановить в памяти прошедшее.

Вскоре Лида вернулась, уже узнав и причину сцены и полную историю женщины.

Эти люди были армяне. Одинокая женщина, тоже армянка — вдова. Она недавно овдовела, оставшись без всяких средств с одиннадцатью детьми. У нее — вот эти три мальчика и еще восемь девочек. Армяне бедны в этом районе, но они собрали ей денег на билет и отправили ее в Шанхай, надеясь, что тамошние армяне богаче и помогут ей. Они ошиблись в расчете. У тех армян были свои бедные вдовы. И вот эта женщина отдала всех восьмерых своих девочек в Римско-Католический монастырь, в приют для сирот. Затем она возвратилась обратно со своими тремя мальчиками. Армянская колония отправляла

ее теперь в Харбин и на прощание выражала свое отношение к ее поступку.

Мистер Райнд не понял сути дела. Почему они так кричат и так негодуют, когда женщина нашла хороший выход из таких тягостных обстоятельств?

— О, мистер Райнд! — воскликнула Лида с упреком. — Эти армяне принадлежат к Армяно-Григорианской церкви, а она отдала девочек в Римско-Католический монастырь — и ее девочки уже католички!

— Но если им грозила голодная смерть... И те, и другие — христиане. Не всё ли равно?

— Всё равно! — воскликнула Лида. — Да разве в вере и церкви может быть «всё равно», если он верит?!

— Терпимость... — начал было он.

— Терпимость — да! — прервала его Лида. — Это значит не ссориться, не обижать, но это не значит менять свою религию на другую. Я их не оправдываю — зачем они так кричат? — но я их понимаю.

Тут, отделившись от группы, к Лиде подошла одна из женщин. Ее лицо было все в слезах. Она заговорила по-русски:

— Мы не хотим ее обратно. Нам не надо изменников. В Армении столетиями и поколениями наши предки умирали за нашу веру. Они завещали нам беречь ее так же, как берегли ее они. Столетиями нас мучили и истребляли турки. У всех нас есть мученики за веру среди дедов и отцов, у всех, без исключения. Мы можем жить только с нашей верой, без нее мы ничто, мы сражаемся, — нас мало, и нас убивают. Мы погибаем... Так вот и идет в продолжении полуторы тысячи лет. Все могут так жить, почему же она не может? — и с новой силой женщина бросилась обратно к группе, крича и жестикулируя.

— Мистер Райнд, — начала в волнении Лида, войдя в его купе позднее, вечером. — Я всё узнала. Знаете, как всё случилось? Они купили ей билет — той армянской женщине — усадили в наш поезд и отправили в Харбин. Мы едем вместе, только она — в третьем классе. Они ее не приняли обратно. У нее тут не было своего дома, и никто из них не захотел приютить ее у себя.

— Куда же она едет? — спросил мистер Райнд с живым интересом, Лидино возбуждение заразило и его.

— Она едет в Харбин. Там тоже есть армяне.

— Богатые?

— Она еще не знает. Неизвестно. Но я лучше опять побегу к ней. Она там одна, и мальчики всего боятся. Я буду с нею, пока они привыкнут. Она немного говорит по-русски.

И Лида убежала.

Перед ужином мистер Райнд пошел по поезду искать Лиду. Он нашел ее в переполненном вагоне третьего класса, грязном и душном. Она сидела около вдовы, двое мальчиков сидели рядом с матерью, а младший — у Лиды на коленях. Ребенок доверчиво припал к ней. На мистера Райнда мальчики взглянули в бок, одним глазом. Лида сидела, обняв ребенка одной рукой, в другой она держала открытую коробку шоколада, ту, что предназначалась для матери, как подарок из Харбина — и мальчики поочередно брали по конфетке и ели медленно-

медленно, как их учила Лида. Они ели с таким выражением отчаянной решимости на лицах, с каким, вероятно, их предки сражались с турками за свою веру. Около Лиды стоял на вытяжку русский молодой человек, в форме солдата, какой армии — трудно сказать. На нём был какой-то анонимный солдатский мундир, цвета хаки. Юноша уступил свое место Лиде — посидеть. И ему, очевидно, была дана шоколадка, так как он медленно-медленно что-то дожевывал. Он смотрел, не отрываясь на Лиду, и глаза его сияли обожанием.

Вся эта сцена — в сумерках — какая была грусть! Но мистеру Райнду, фатально не понимавшему самой сути происходящего, мистеру Райнду с его благополучием и оптимизмом, эта странная и сложная сцена показалась очень смешной, и он громко захохотал.

XI

Есть много уже испытанных способов уменьшить население земного шара. Экономическое давление является, пожалуй, одним из самых верных. Конечно, оно действует медленно, но зато оно менее хлопотливо и, к тому же, гораздо дешевле, чем, например, война. Маньчжурия получила от японцев и то и другое — и войну и экономическое давление.

Русские эмигранты — в который раз! — были обречены на гибель. Но это было не ново, и уже не интересовало никого, кроме них самих. Японцы запретили им все свободные профессии и не разрешали открывать собственных предприятий. Возможность заработка всё суживалась. «Быть или не быть» являлось для них не риторическим философским вопросом, а практической проблемой каждого дня. Она вставала перед эмигрантом каждое утро, ответ выяснялся только вечером, когда день заканчивался, а человек всё еще был жив.

Не так давно эти русские были полезными гражданами. Они работали и умели работать. Между прочим, это русские построили и железную дорогу в Маньчжурии и города вдоль ее линии. Но постепенно эти же люди, ставшие безработными, превращались в нищих ко всеобщему негодованию новых хозяев Маньчжурии. Выбор для них был один: лечь и умирать от голода, или встать и уйти — каким бы то ни было способом в любую другую страну.

Но главным несчастьем русских являлось их запутанное политическое положение. Советская Россия их преследовала. Япония обернулась приоткрытой ловушкой, с верною гибелью в ней. Китай держался, как посторонний незаинтересованный зритель. Жизнь человека часто зависела от того, каковыми в текущий момент были политические отношения между этими странами.

И всё же Харбин выглядел еще русским городом и жил интенсивной жизнью. Тут были и русские церкви, и русские школы, больницы, библиотеки, театры — всё это содержалось самим же русским населением. В своем большинстве оно было культурно, и его культура было последнее, что умирало в них.

Лида приехала в Харбин ранним утром. Было холодно, но небо сияло таким нежным, чистым голубым цветом, каким его окрасил Создатель во второй день творения. Кое-где чудесно белели маленькие

пушистые облака, похожие на пуховки для пудры. На земле местами лежал снег. На солнце он таял, превращаясь в тонкую стеклянную корочку. Воробьи кружились около стоянок извозчиков, изыскивая средства для пропитания.

По движению и шуму Харбин походил на восточный город — всё в нем имело свой голос, издавало звуки. Но доминируя над всем, всё покрывая, поглащая в себе все другие звуки — и шум железнодорожной станции, и свистки паровозов, и гудки автомобилей, крики извозчиков, голоса людей — разливался, казалось, по всему миру, над всем господствуя, торжественный гул церковных колоколов. Тяжелой волной лился сверху их медный хор, и вдруг, где-то из расщелин этой волны взвивался, вспрыгивал и рассыпался вверх фонтаном брызг всплеск малых серебряных колоколов. Они спешили. Перегоняя друг друга, со стремительной быстротой, весело задыхаясь налету, они то лепетали, то громко выкрикивали миру чудную весть. Но медные колокола не могли уступить им надолго. Они подымали свой голос и вновь погашали и затопляли собою все остальные городские звуки. Это было воскресенье.

Есть особая интимная прелесть в жизни общества небольших городов, неизвестная обитателям столиц и метрополий.

Большой город — неверный друг и жестокий учитель. Он опьяняет, но и отравляет; вызывает жажду и не утоляет ее. Жизнь же в маленьком городе подобна вину из собственных виноградников. С чем сравнить всё то оживление, тот яркий интерес, которым сопровождается не только самое распитие вина, но и все фазы его приготовления. В маленьком городе события предчувствуются, угадываются, о них видят пророческие сны, о них рассказывают друг другу. Все знают всех, и все интересуются всеми. Малое событие, преломляясь в стольких мозгах, принимает значение огромных происшествий. Умер человек — его оплакивает и хоронит весь город. Свадьба — одна половина города приглашена, остальные принимают участие в роли взволнованных, жадных зрителей. Растет красавица — ею любитесь весь город. Никто не забыт, никто не затерян. Каждый имеет биографию, даже нищий на ступеньках собора, и он имеет какой-то свой, хотя бы и нищенский вес, его знают по имени, о нем имеется общее мнение, его не спутают с другим нищим на ступеньках того же собора.

В 1938 году Харбин беднел, он разрушался под игом японцев, но он еще сопротивлялся, защищался, он жил. В нем существовали еще две-три очень богатые в прошлом семьи, которые давно уже разорились, но все еще считались очень богатыми. В нем были щедрые благотворители, пожертвовавшие последние суммы лет двадцать тому назад, а их всё еще благодарили. Хранились традиции. Из этого города выходили знаменитые музыканты, артисты, певцы, иной раз известные всему миру. Здесь рождались поэты. Здесь писались исповеди, мемуары, дневники, делались изобретения, измышлялись новые политические и экономические системы. Здесь сохранялись какие-то архивы, и где-то неподалеку был зарыт динамит. Его зарыла наспех, уходя, подрывная команда, и городские мальчишки, вот уже второе поколение — всё искали его. На улице вам пальцем показывали на городского гения; городского шута вы узнавали сами. Были в городе святые,

правда, немногочисленные, и грешники по всем отраслям греха. Был пророк от Апокалипсиса и несколько уличных лжепророков. Была известная дама — клеptomанка, которую знали все и за нею ходили в магазины наблюдать, как она будет красть. Был замечательный лжец, ни одному слову его не верили, но слушали с упоением, где бы он ни заговорил — на мосту, на углу, по середине улицы — так увлекательно он лгал. Были балы, концерты, оперы, драмы, лотереи, подписные листы, «бочки счастья».

Теперь, подавленный и угнетенный, город всё же не был духовно покорен японцами — он жил, он страдал, содрогался, сжимался, но духовно он оставался таким, как прежде, самим собой.

В этот горбд приехали наши путешественники, распроцавшись на вокзале. Мистер Райнд на автомобиле поехал в лучший отель города, где для него были оставлены две комнаты; госпожа Мануйлова на извозчике поехала в тот же отель, где ее ждал самый дешевый номер; Лида на рикше поехала к Платовым.

Едва перед нею раскрылась дверь, как раздались отовсюду крики на разные голоса:

— Она приехала! Скорее, сюда! Смотрите, смотрите — она к р а с а в и ц а!

Лида познакомилась со всеми.

Без Владимира, который жил в Шанхае, в семье оставалось пятеро детей. Глядя на них, трудно было поверить, что все они из одной семьи, так различны были они по виду, характеру и манерам. Старшая дочь, Глафира, была полна жизни, мужества, юмора. Галина была болезненна, застенчива, печальна, неразговорчива. Восьмилетняя Мушка выглядела пухлой и бледной, чем-то встревоженной девочкой; всегда голодная, она то и дело спрашивала, нет ли чего поесть. У нее были прекрасные удивленно глядящие глаза, которые каждую минуту были готовы на что-нибудь обидеться и заплакать. Мальчики не походили на сестер. Гриша — золотоволосый и веснушчатый — был душой семьи, всегда занятый тем, чтобы кому-нибудь в семье чем-то помочь. Котик — кудрявый, темноволосый и растрепанный — являл собой мечтателя, сосредоточенного на какой-то растущей в нем плодотворной идее. Это был тип изобретателя.

Но была всё же в них и общая черта, соединявшая их духовно — явная в одних, скрытая в других — сила жизни. Все они, хоть и по-разному, были Платовы.

Из кухни — в облаке пара — вышла госпожа Платова. За нею хлынули запахи еды. Все дети жадно вдохнули их: Лиду ждали, в доме готовился н а с т о я щ и й обед, все были голодны.

Лида мгновенно была поглощена платовской семейной жизнью, ее интересами. Впоследствии она не могла вспомнить многого из внешней их обстановки: как выглядела мебель, как кто был одет, настолько она была занята ими лично.

Для Лиды не могло быть, конечно, отдельной комнаты, но ей с любовью и заботой приготовили «уголок», и он так и назывался затем долгие годы после ее отъезда — «Лидин уголок». Треугольное пространство отделено было занавеской, сшитой из разных кусков старой материи, но сшитой искусно. На этом занавесе был нарисован плыву-

щий розовый лебедь с непомерно длинной шеей. Над ним порхали бабочки. Рисунок был раскрашен — изобретателем — краской для пасхальных яиц. В «уголке» стояла узенькая кроватка. Над ней — икона «Неувядаемый Цвет». На стене — гвоздики для Лидиной одежды. Около кроватки — круглая табуреточка на одной ножке. Дети Платовы были внутренне горды роскошью этого устройства и с нетерпением, перебивая друг друга, показывали Лиде уголок, обращая ее внимание на детали.

Главным событием для Платовых было возвращение отца домой с раоты. Когда-то он был богатым фабрикантом, теперь же служил в лавке дешевых мехов. Работа была тяжелая, вредная для здоровья, очень плохо оплачиваемая. Меха привозились из Монголии, часто с микробами сибирской язвы. Заболевание ею было смертельно. И каждый раз конец рабочего дня и возвращение домой были благословенным моментом для него, лучезарным — для его семьи.

Сгорбленный, усталый, в жалком заношенном пальто, плелся он домой, неся с собой кислый запах кож и душный животный запах мехов. Но вот он переступает порог своего дома — и его встречают, как короля: он так нужен, так важен для семьи, так любим, так необходим, так ожидаем; он глава, авторитет, законодатель; он обожаем: наш папа! Был настоящий ритуал, давно установленный, для его встречи. Любимица отца — старшая, Глафира, — помогала ему умываться и переодеваться в специальном чуланчике, где он сменял одежду, всё, до последней нитки, чтоб не занести в дом заразы. Жена наливала в большой кувшин теплой воды, и Котик открывал коробочку со специальным дезинфицирующим мылом. Галина подавала чистое белье, полотенце, халат; дети стояли за закрытой дверью чуланчика, готовые каждый со своей услугой. Мушка приносила папины комнатные туфли. Пока папа умывался и переодевался, ему живо и нетерпеливо рассказывались домашние события и новости дня. Наконец, он выходил из чуланчика, вымытый, свежий — и его коллективно встречали любящие глаза семьи. Глафира бесшумно подвигала ему стул, и он садился к столу первый — кормилец семьи. Затем усаживались дети. И начинался страстно ожидаемый, священный час дня — обед.

Меню всегда держалось хозяйкой в секрете. Но из чего бы ни состояло это меню, недоеденная порция была делом невиданным и неслыханным в семье Платовых. В этом доме всё и всегда было вкусно. Если недоставало масла, сахару, чего угодно, хозяйка умела замаскировать недостаток. Она величественно появлялась из кухни с дымящейся миской в руках и односложно, торжественно и строго объявляла: «Суп!» — и затем, понизив голос, добавляла, как бы сообщая некую пленительную тайну: «С картофелем и... с морковью!»

Суп! Суп — одно из величайших изобретений человеческого гения и культуры. Горячий, дымящийся — как он хорош в холодный и ветреный зимний день, как согревает продрогшее тело! Летом — прохладный, в виде окрошки — как освежает и бодрит! Суп — это символ семейной устойчивой жизни, знак спокойного обихода, жизни неторопливой и скромной, свидетель экономии, заботы, достоинства хозяйки и ее добродетели. Избалованные, испорченные люди не едят супов, особенно, домашних супов. Они любят причудливую пищу. Богатые не

едят супов, они могут позволить себе более изысканные блюда. Эстеты боятся пополнить от супа. Ленивые хозяйки не варят супов, так как это отнимает, по меньшей мере, два часа их жизни — за ним, ведь, надо присматривать, пока он на плите. Суп давно развенчан в изысканном обществе. Современный повар-карьерист не станет тратить своих талантов на изобретение новых или изготовление старых супов, потому что суп, как блюдо, не живописен. Суп остается в семье. Он остается гордостью, поддержкой и утешением матери многочисленной и бедной семьи.

Подумайте только о разновидностях, о потенциальных возможностях, о вариациях супа в отношении состава, густоты или прозрачности, температуры и способа сервировки! Вы можете, если они у вас есть, положить в суп мясо, рыбу, курочку, раков, овощей всех сортов, всякой крупы, всего, что из муки, также яиц, сала и масла — всё вместе или в различных сочетаниях и комбинациях, или же только одно что-нибудь — и у вас получается суп. Можете лить в него молоко, опускать кусочки черствого хлеба, всякие крошки, класть сметану — получается суп. Положите кусочки льда — опять суп. Короче, положите в кастрюлю всё, что есть в доме и что вам кажется съедобным, варите, кипятите, затем посолите, — но только умейте подать — и у вас выйдет прекрасный суп. И всякий раз это — новая разновидность супа, это обед. Ваша семья будет сыта. Какое счастье!

В доме Платовых всё было на счету: и кусочки сахара и ломтики хлеба. Мать незаметно балансировала «предложение и спрос», имея свои соображения: отец и Мушка, он — кормилец и самый старший, она — самая младшая в семье — получали лучшие куски; мальчики — самые большие порции; девочки получали, что оставалось. Что же касается матери, она редко была голодна, она почти никогда не имела аппетита и оправдывалась перед семьей тем, что в процессе приготовления пробовала то одно, то другое, и ей не хотелось есть. Но — суп! Его всегда было достаточно для всех. Тут нечего было считать: ступил подлить кипятку, и увеличивалось количество супа на сколько угодно, до бесконечности. Себе, всегда последней, мать тоже наливала тарелку супа.

Все за столом крестились и начинали обед. Сначала ели молча, наслаждались, было не до разговоров. После супа возникал разговор. Тут же начинались сюрпризы, подавалось то, что «случалось», как второе блюдо. Оно случалось далеко не всегда, не поддавалось учету. Это мог быть кусок пирога, принесенный соседкой; рыба, пойманная в Сунгари Гришиным крёстным; коробка консервов, подаренная кем-нибудь кому-нибудь в семье в день Ангела и припрятанная матерью; соус из щавеля, собранного мальчиками на полянах за городом; малина, привезённая со станции крестницей госпожи Платовой. Словом, «сюрпризы» эти были разнообразны, но большей частью обед проходил без них.

Затем следовал чай.

Здесь начинался самый интересный момент дня. Надолго ли, нет ли, но семья была сыта. Они были вместе. Отец был здоров. Они отдыхали. Непременно кто-либо из них вспоминал Володю: «Интересно, что делает сейчас наш Володя?» Отцу наливалась первая чашка. Его чашка и самовар были единственными вещами, доехавшими с семьёю в

Харбин. Чашка была большая, пузатая, из хорошего фарфора, края — рубчиком, ручка — завитушкой. На ней золотыми буквами когда-то было написано: «Ещё чашечку». Но буквы давно полиняли и стерлись. Это однако не мешало всем Платовым явственно видеть и читать надпись. Они даже показывали ее другим: «Посмотрите: это церковно-славянские буквы». У остальных чайная посуда была сборная, случайная. После революции — кто же это мог покупать чайные сервизы?

Приносились книги. Собственно, семейных книг было две: полное собрание сочинений Пушкина и «Потерянный Рай» Мильтона. Господин Платов лично не снисходил до чтения какой-либо другой литературы.

Затем все начинали заниматься различной мелкой работой: штопали, починяли, писали, мыли посуду, готовили уроки. Самовар же пребывал на столе, и, время от времени, то один из них, то другой наливал себе ещё одну чашечку чаю и выпивал ее с наслаждением. Самовар происходил из славного города Тулы, где делаются лучшие на свете самовары. Самовар был необыкновенный: он умел петь. Он пел на разные голоса: вдруг неожиданно заведет густым басом, хвастливо и вызывающе, а то затянет тончайшим детским дискантом, пронизывающе, свистяще; иногда же пробурчит что-то застенчиво и поспешно — и тут же замолкнет. Отчего он пел — неизвестно. Причина была неясна, она не могла быть объяснена конструкцией самовара. Он пел, когда хотел и что хотел; заставить его петь было невозможно, как невозможно было и предвидеть, что он запоет и запоет ли сегодня. У него был такой репертуар мотивов, построений, он пел и пианиссимо и крещендо, скерцо, стакатто, ларго, аллегро — ему позавидовал бы любой симфонический оркестр. Его любили. Он был неразлучным другом семьи, одним из них, Платовых. Невозможно было и вообразить, как это лишился его, как жить без самовара. Его чистили каждую неделю, он блестел, как золотой.

Услышав его голос, отец мог предсказать погоду завтра; мать же по его голосу знала, как себя чувствует ее семья: самовар выражал настроения дома. Этому самовару не было цены.

И еще одна особенность была у Платовых: они умели создавать иллюзии и верить в них. Одной из них, самой постоянной, были их «небесные путешествия». Они начинались так:

Глафира, починяя носок, вдруг приостанавливала работу, глядя в изумлении на дыру:

— Как странно! Дыра имеет совершенно точные очертания Южной Америки!

— Южной Америки? — подымал голову от учебника Гриша. — Там сейчас не зима, как у нас, а лето.

— Лето? Но это ещё где и как. Если ближе к экватору... а если ближе к полюсу, то и не очень тепло. — И Котик раскрывал географическую карту.

— Мама! Мы же не были никогда в Южной Америке! — начинала Мушка, и ее голос дрожал от подозрений, что жизнь обидела их. — Мама, почему мы не едем в Южную Америку, если там лето, когда здесь зима?

— А разве можно получить туда визу?

Теперь уже вся семья подымалась, заинтересованная этим вопросом. — Как достать туда визу?

— Вот в чем наше несчастье . . . — и голова госпожи Платовой высовывалась из кухни. — Сначала мы узнаём — дают ли визу? — и сразу уже готовы ехать в ту страну. Надо бы сначала разузнать про все страны мира, выбрать, что самое лучшее, что нам более всего подходит — и потом уже всеми силами добиваться визы туда! Вот как надо поступать!

И голова ее опять исчезала в кухне.

— Всё зависит от удачи, — весело решала Глафира. — Уедем в Южную Америку и будем жить там все вместе, весело и счастливо.

— Не забудь Володю, — шептала Галя, — Володю надо обязательно увезти с нами.

— Конечно. Все будем работать. Построим свой собственный дом. Большой дом: каждому отдельная комната . . .

— Я буду жить на чердаке, — заявлял Котик, — и чтоб чердак был большой, а потолок высокий . . . у меня будут разные машины.

— И сад, — вздохнула болезненная Галя.

— И деревья? — волновалась Мушка. — Мама! Идите сюда: они не говорят мне, будут деревья?

— А как же? — и отец откладывал книгу в сторону. — Раз есть сад, то, конечно, и деревья будут.

— Но какие, какие деревья будут? — волновалась всё более Мушка. — Фруктовые? Ягодные? или просто овощи? Скажите мне! Скорее, скорее скажите!

— Я буду поливать сад. Я сам буду всё копать, всё поливать и за всем смотреть в саду, — решал Гриша.

— А я? Что я? Что я буду делать? — волновалась Мушка.

— У меня в комнате будет кисейная занавеска, — тихо мечтала Галя. — Она будет раздуваться от ветра. Под окном — ящик с петунией.

— Да, придется поставить электрический мотор, — решал Костя. — Вода, свет, радио — папе, ледник для продуктов — маме, Гале — электрический веер . . .

— А мне веер? А мне электрический веер? — почти плакала Мушка. — Почему ты не сказал, что и мне электрический веер? Мне бы маленький, поменьше, но очень красивый такой веерок!

— Постойте, — появлялась из кухни голова. — Не устраивайте никакого радио в папиной комнате. Ставьте его подальше, где-нибудь в конце дома. Помните: папе нужен покой.

— Нет, отчего же . . . — соглашался отец. — Если устану, можно и выключить. Но вообще будет приятно прилечь у себя на диване и послушать, что делается на свете . . .

— У папы будет широкий, большой и мягкий диван, — предлагала Галина. — Мы его покроем ковром.

— А мне? А у меня будет диван? — вопрошала Мушка. — Мама, мама! Они мне не дают никакого дивана. Мне надо хорошенький такой диванчик и поменьше . . .

— Как только папа придет с работы . . . — начинал Котик.

— Папа? С работы? — весело кричала Глафира, — с какой это работы? Папа уже не будет больше работать! Зачем тогда и ездить папе, если он везде будет на нас работать. Работать будем мы, а папа...

— Мы сложимся и купим папе лошадь и коляску, и он будет кататься!

— А я? А я? Я с ним? — уже плакала Мушка. — Мама! — звала она, и голос ее дрожал от слез. — Мне бы тоже лошадку, ну, хоть маленькую, и колясочку бы малюсенькую...

— У меня будет собака, — решал Котик. — Нет, лучше ружье. Нет, лучше и собака и ружье. Я буду ходить на охоту. Из меха будем делать пальто.

— А я куплю осла, — решал Гриша.

— Только чтоб он не кричал под моим окном, — просила Глафира.

Тут появлялась в комнате госпожа Платова и заявляла решительно и строго:

— Довольно! Что это — коляски, ружья, собаки, ослы... Прежде всего мы покупаем корову. Это прежде всего...

И когда заканчивалось «небесное путешествие», и все видели себя опять дома, на старом месте, никто не чувствовал разочарования. Казалось, они уже съездили, пожили там, насладились и вернулись. Все выпивали еще по чашечке чаю и, утомленные, счастливые, ложились спать.

В эту семью и вошла Лида, чтобы прожить с ней шесть недель. С первого же дня всем показалось, что Лида и всегда жила с ними, такое полное взаимное понимание установилось между нею и ими.

Для Лиды в бедности не было тайн. Она сразу поняла и оценила, чего стоило им гостеприимство: лишний человек — лишний расход. С какой радостью поэтому она в первый же вечер раскрыла коробку шоколада, подаренную ей мистером Райндом, и, улыбаясь смущенно, поставила ее после ужина на стол со словами:

— Пожалуйста! Это — десерт!

XII

Первой заботой мистера Райнда было пойти в советское консульство. Он просил разрешения по дороге в западную Европу остановиться в двух-трех городах России.

— А вы говорите по-русски? — спросил его консул.

— Почти нет, — сознался мистер Райнд. — Пробовал говорить с русскими в Тяньцзине, но без особого успеха. С трудом понимаю самые простые фразы.

— Так вы подучитесь до поездки, иначе какой же вам интерес останавливаться в наших городах. Вы можете читать русские газеты? Здесь, в Харбине, нет газет на других европейских языках.

Мистер Райнд сознался, что и газет русских читать не может.

— Знаете, что, — посоветовал консул, — я пришлю вам кого-нибудь и для занятий по языку и для чтения газет.

— Это будет отлично, — обрадовался было мистер Райнд, и тут

только спохватился, что у консула, возможно, были и свои соображения, по которым он так любезно предлагал учителя. Возможно, он просто хотел побольше узнать об американском путешественнике, прежде чем выдать ему визу. Но отказываться было уже неудобно.

— В конце концов, чего мне опасаться? — размышлял мистер Райнд, возвращаясь к себе в отель. — Я — не политический деятель. Меня никто не знает. Со мной нет ничего такого... У меня нет слепых политических предрассудков. Мое дело поехать, посмотреть и составить честное мнение о жизни в советской стране.

И все же он беспокоился. Тревога в нём росла, становилась огромной, уже без всякого разумного отношения к вызвавшему ее факту. И ночь его была полна тревоги. Он увидел во сне большого, похожего на медведя, косматого человека. Они спорили о чем-то, и великан наступал на мистера Райнда, яростно стуча кулаком по столу. Предмет спора был неясен. Мистеру Райнду совсем и не хотелось спорить, но его заставляла какая-то посторонняя воля. Он пытался вести спор в пределах разумных доводов и хороших манер. Но его противник не вслушивался в мудрые доводы, он лишь страшно вращал злобными кругленькими медвежьими глазками и, топнув ногой, отвечал: «Нет!» Дело уже грозило дракой. Мистеру Райнду совсем не хотелось заходить так далеко. Вдруг его противник схватил стул и стал размахивать им, разбивая, кроша в щепки окружающие его вещи. Мистер Райнд чувствовал, что разбиваемые вещи были его собственностью. Великан наносил ему убитки. Он задрожал от приступа негодования и... проснулся.

Первым же делом, после завтрака, я напишу письмо консулу и в вежливой форме откажусь от его предложения, решил он.

Но едва только он сел писать этот любезный отказ, как в дверь постучали. Принесли письмо от консула с сообщением, что учитель придет к нему в отель сегодня же, в десять часов.

Что ж, мрачно решил мистер Райнд, на сегодня отступление отрезано. Но дня через два-три я найду предлог избавиться от этого учителя.

Но утро было испорчено.

— Коммунист придет, конечно, к тому же, торжествующий коммунист, — внутренне кипел мистер Райнд. — Будет ли у него достаточно такта не навязывать свои идеи мне?

Смутное воспоминание о страшном сне всё более портило его настроение.

— Скорее всего, это и не учитель вовсе, а самый настоящий бандит... с кровью на руках...

В десять часов в дверь постучали.

— Войдите, — сказал мистер Райнд самым ледяным голосом.

Дверь открылась. Он обернулся. На пороге стояла девочка. Она поклонилась и как-то особенно, не застенчиво, а скромно, вошла в комнату. Ее небольшое, бледное личико было обрамлено коротко остриженными волосами. Ее глаза — серые, наивные и чистые, смотрели на него с глубоким вниманием. Ее белая кофточка, черная юбка — всё из самого дешевого материала, — ее тяжелые, грубые ботинки выглядели какой-то форменной одеждой, делали ее похожей на воспитанницу

детского приюта. От нее веяло сиротством. Жизнь, проведенная среди тяжелых лишений, уже была запечатлена в каждой черте ее лица, одежде, движениях. Но глаза ее были полны света. Их выражение отдаленно напоминало взгляд животного, птицы, малого ребенка, в прошлом жестоко страдавшего — в них было понимание неизбежности страдания, покорность, доверие, надежда — и готовность еще страдать.

Мистер Райнд взглянул на девочку и растерялся.

— Здравствуйте, — произнес он медленно, и они познакомились.

Она назвала себя: товарищ Даша. Она сообщила, что знает русский и английский языки, что может бегло говорить на местном китайском наречии и читать газеты, но классического китайского языка она не изучала.

Мистер Райнд как-то упустил из вида, что последнее и могло бы послужить предлогом для отказа от уроков.

Было ли это результатом несходства того, что он увидел, с тем, чего ожидал, или же свет в глазах Даши и ее сиротский облик были тому причиной, но, войдя в комнату мистера Райнда, она вошла и в его сердце: без всякого разумного, логического основания он почувствовал к ней и жалость, и нежность, какое-то глубокое слепое родственное чувство. Как будто за то, что было отнято у этой девочки, он, мистер Райнд, отвечал, отчасти был тому виною. В нем смутно подымалось желание заботиться о ней, защищать ее от невзгод, увидеть веселую улыбку на ее лице.

— Садитесь, пожалуйста, — попросил он кротко. Он взял газету и объяснил ей, что ему нужно. Она быстро пробежала глазами передовую статью и потом кратко и дельно передала ее содержание. Ее изложение было строго логично, язык прост, без всяких прикрас.

Мистер Райнд выразил свое удовольствие и похвалу. Она подняла на него сияющие, благодарные глаза и объяснила, что только что окончила специальную школу, подготовлявшую к работе в чужих краях, главным образом, в Китае.

— Какого рода работе? — спросил мистер Райнд.

— Пропаганда, — ответила она просто.

Вдруг поднявшийся на улице и приближающийся к отелю шум прервал разговор.

— Что это? — воскликнул мистер Райнд, направляясь к окну.

Еще не успел он дойти до окна, как Даша уже ответила:

— Китайская демонстрация. — Она как бы знала о ней заранее.

Огромная, многотысячная толпа медленно текла по улице. Она состояла из беднейших, оборванных китайцев. Некоторые из них несли плакаты, длинные куски материй с иероглифами, прикрепленные к длинным бамбуковым шестам. По временам, как бы по данному кем-то сигналу, они колыхали свои плакаты и яростно громко кричали в унисон.

— Это — политическая манифестация, — объяснила Даша. — Они выражают сочувствие Японии и Новому Порядку.

— Значит, китайцам нравится Новый Порядок?

— Э т и м китайцам? — спросила Даша, показывая пальцем на двигающуюся внизу толпу. — Они голодны. Их наняли. Они зарабатывают деньги. Политически они — слепые. Они неграмотны. Пожалуй,

ни один из них не мог бы прочесть иероглифов на этих плакатах, да их это и не интересует. Если они не заработают, то умрут от голода, возможно, сегодня же. У каждого есть семья. У многих нет даже жилищ. Каждую ночь в декабре замерзает в городе на улицах не менее двадцати человек. Вы можете нанять этих людей для чего угодно. Такой голодный и темный народ делается послушным орудием в любых руках. Пойдемте на улицу и посмотрим на них поближе.

В своем пальто и берете товарищ Даша выглядела еще более бедной, еще большей сиротой. Она была странным спутником для высокого, элегантного мистера Райнда. Публика отеля удивленно глядела им вслед.

Улица была совершенно запружена толпой демонстрантов, тротуары — зрителями. Продвигаться казалось совершенно невозможным.

— Подождите тут! — сказала Даша и нырнула в движущуюся толпу. Она вновь появилась через несколько минут, запыхавшись. Берет ее сполз на бок, волосы растрепались.

— Прочитала плакаты. Расспросила. Девиз: благодарность Японии за освобождение от прежнего ига и за Новый Счастливый Порядок. Платит Японский Муниципальный Совет.

— Что платит? — не понял мистер Райнд.

— Деньги платит. Каждый человек в толпе нанят за десять центов. Идти от берега Сунгари до Зеленого Базара в Новом Городе, т. е. через весь Харбин. Остановки перед всеми официальными учреждениями. Кричать — через каждые десять минут, по две-три минуты. Один «старшина» на каждые сто человек в толпе. Он получит двадцать центов и по 2 цента от каждого демонстранта, как взятку, в свою пользу. Фотографы — японцы, снимают для газет наиболее драматические моменты «благодарности». За выполнением «условий» наблюдает японская полиция.

— Какая гадость! — возмутился мистер Райнд. — Ведь, они продают ролины за эти десять центов.

— Не судите! — строго сказала Даша. — Вы были когда-нибудь очень голодны? Вы видели, как ваши дети замерзают на улице?

— Нет, — неохотно сознался мистер Райнд, — но это не значит . . .

— Это значит! — холодно и почти враждебно перебила Даша. — Не судите человека, пока вы не дали ему возможности жить по-человечески. Его обратили в голодное животное, и он действует, как голодное животное.

Мистер Райнд поспешил переменить тему.

— Но какой интерес Японии устраивать эту комедию?

— Она старается влиять на общественное мнение в свою пользу. Здесь она никого не обманет, тут очевидцы, но в Японии, да и во всем остальном мире . . .

Процессия вдруг остановилась. Нестройные крики негодования и протеста наполнили всё вокруг.

— Подождите тут. Я сейчас! — И Даша снова нырнула в толпу.

Крики становились сильнее. Кое-кто из несших плакаты начал срывать полотнище с бамбуковых шестов. Они угрожающе размахивали этими шестами и, казалось, требовали чего-то.

Даша появилась из толпы.

— Они просят прибавки. Иначе не пойдут дальше. Они просят добавить по пять центов на человека. Японцы пока согласны на два.

— Не лучше ли нам вернуться в отель? — предложил мистер Райнд. — Возможно, есть опасность...

— Да что вы? — удивилась Даша. — Это всё напоказ, то есть крики и ярость. Они сами, хоть и кричат, дрожат от страха. Это очень мирные люди. Только такие голодные, без работы.

Громкий, но уже радостный крик волною прошел по толпе. Наскоро поправив плакаты, демонстранты снова двинулись дальше. На их лицах сияло удовольствие. Совсем искренне, сердечно звучали выкрики, прославлявшие Новый Счастливыи Порядок.

Обменявшись несколькими фразами по-китайски, Даша объяснила мистеру Райнду:

— Японцы прибавили по три цента на человека. Толпа действовала наверняка, зная, что не допустят провала демонстрации, да еще в самом центре города. — Затем она вздохнула печально и добавила:

— Из этих трех центов один пойдет «старшине», как добавочная взятка.

XIII

Мистер Райнд начал знакомиться с харбинским обществом. Первый званый вечер он провел у супругов Питчер. Чета эта производила странное впечатление.

Они жили в собственном доме, большом и комфортабельном. Дом был полон китайской прислуги. В шелковых халатах и туфлях на мягкой подошве слуги появлялись и исчезали бесшумно, как тени. Коллекции китайского фарфора, изделий из слоновой кости, японских вещей из лакированного дерева украшали гостиную. Мистер Питчер был высок, сух, корректен, немногословен; если говорил, то исключительно в категорической форме: «Да, конечно». Казалось, где-то на нем должна была иметься надпись: „made in England“, и затем, более мелким шрифтом — «довоенного производства».

Жена его была русской по происхождению, из хорошей семьи, с прекрасными манерами, спокойной и тоже немногословной речью, всегда просто, но прекрасно одетая. Но всё это было в ней как-то старомодно, и в обществе она производила даже несколько комическое впечатление. Впрочем, оба Питчеры казались чужими везде. Их появление всегда производило впечатление холодного душа — хотелось отодвинуться и поискать уголок потеплее. В обществе, уже потрясенном политическими событиями, экономической разрухой, личными несчастьями — богатые, благополучные, занятые исключительно собою Питчеры были странным, раздражающим нервы, явлением; их ничто не касалось. Они никогда не волновались. Они были от всего застрахованы. К происходящему вокруг у них не было интереса.

Их гости произвели на мистера Райнда не менее странное впечатление. Это было «порядочное», т. е. высшее интернациональное общество Харбина.

Был очень разговорчивый итальянец — мистер Капелла — маленький, темный, беспокойный, врывавшийся во всякий разговор с противоположным мнением. Была дама загадочной наружности и неизвестной национальности — вся в бриллиантах; возможно, что только

они и давали ей возможность бывать в порядочном обществе. Ее темные, нависшие брови, очень заметные усы и способность говорить на всех языках придавали ей зловещий оттенок.

Был здесь и известный шведский путешественник, который всё в мире видел, и еврей-журналист, который все в мире знал. Был норвежский проповедник, не имевший, собственно, никакого отношения к Норвегии, так как мать его была датчанка, а отец — бельгиец, а сам он родился на острове Борнео. Был румяный и толстый доктор-немец, все время довольно смеявшийся, и его тяжелая, бесформенная безжизненная жена. Последняя казалась старой, по виду годилась в матери своему мужу; в городе она славилась в качестве самой экономной хозяйки. На ней было платье, искусно заштопанное на локтях и удлиненное другой материей, не подходившей ни по цвету, ни по качеству. Однако же, она являлась одной из самых богатых дам города. Было несколько моднейших девиц, с торчащими из-под платья коленями и приглашающими приблизиться улыбками.

Звездой среди них была американка мисс Кларк. Она путешествовала с отцом, жизнерадостным и благодушным господином. Тридцатилет он только и знал, что «делал деньги», и вот, сделав и поместив их, наслаждаясь прибылями, он выполнял свою заветную, еще мальчишескую мечту — «объехать свет». Исполняющаяся мечта повергла его в давно забытое состояние десятилетнего мальчика.

Но мисс Кларк... Мисс Ива Кларк была высока, тонка, чрезвычайно модна и элегантна и очень шумна. Она была продуктом системы «прогрессивного воспитания», т. е. никогда не сидела, сгорбившись над книгой или согнувшись над тетрадью, а занималась спортом; знания же ловила на лету. Все замечательные открытия и новейшие теории века были уже применены к ней, начиная с порции непосоленного шпината, холодной электрической завивки и кончая психоанализом. Благодаря своему крепкому здоровью, унаследованному от отца, она всё перенесла и осталась красивой и здоровой. Но главная цель воспитания — „the pursuit of happiness“, то есть умение «гоняться за счастьем» — не была достигнута. Гоняться то она гонялась, а счастливой не была. Ей постоянно чего-то для этого недоставало. Здоровье пока еще помогало ей переносить легко эту погоню, но в будущем — увы! она это знала, видела примеры — ее ждал „nervous breakdown“*) и его последствия. Но это — потом, а сейчас она была красива и поражала своей внешней элегантностью — это было всё, и этим ей приходилось кое-как утешаться. Отец был вдов, в ней он души не чаял, да и она была хорошей, приятной дочерью. Ей ни в чем не было отказа. В общем, мисс Ива Кларк походила на чудный отшлифованный бриллиант в художественной оправе. Он сияет, когда на него падает свет. Но, подвергнутому испытанию большим огнем, он превращается в щепотку каменноугольной пыли, не имеющей никакой цены, и совершенно схожей с пылью от других, совсем не драгоценных предметов.

Мисс Кларк одна могла наполнить любую гостиную шумом, суетой, беспокойством. Она везде держала себя так, будто прием делался исключительно ради нее, в её честь, роль же остальных гостей была в том, чтоб смотреть, слушать и любоваться ею.

*) Нервный удар.

В другой комнате, в малой гостиной, три господина вели оживленную, глубоко волновавшую их беседу. Это были три русских профессора, отчасти известные и за границей. Говорил один из них — с лицом смуглым, большими темными глазами, очень заметной и привлекательной внешности. Он говорил с жаром и с болью. Со стороны могло показаться, что он произносил надгробное слово перед открытой могилой дорогого ему существа. Время от времени второй профессор сочувственно похлопывал его по плечу и вставлял два-три слова, как бы выражая соболезнование. У этого профессора была замечательная наружность. Его очень бледное, почти прозрачное овальное лицо носило аскетический отпечаток. Небольшая темная бородка еще более оттеняла его бледность. Глаза, серо-зеленого цвета, положительно излучали свет. Они светились, но казалось, что он ими не видел — такая в них была отрешенность от мира. Казалось, если он даже и видел, то не то, что все другие, а какой-то иной мир, лежащий за пределами нашего, и куда за ним никто не мог следовать. Его руки, прозрачные, тонкие, были необыкновенной красоты.

Третий профессор очень внимательно слушал и не говорил ничего. Он был неприятен, некрасив по наружности: короткий, полный, неуклюжий, с тяжелой головой, широким лицом и вздернутым носом. Он очень походил на Сократа, но эта мысль едва ли кому приходила в голову при взгляде на него. Одет он был не только очень бедно, но и очень грязно, неряшливо, почти в лохмотья. И все же он держал себя с непринужденностью светского человека, не испытывая, повидимому, никакого стеснения от контраста своей одежды и окружающей его роскоши.

Хозяйка подошла к этой группе и представила мистера Райнда.

Профессор Петров, едва поклонившись, продолжал свою речь, лишь из вежливости к новому гостю перейдя на английский.

— Каково же мое положение теперь? — начал он с горечью. — Самое основание науки, которой я отдал жизнь, потеряно. Поскольку я принимаю принцип, что пространство и материя — одно, физика, как точная наука, прекращает для меня существовать. Закон Ньютона меняет смысл. Подумайте, вся красота, вся гармония мироздания для меня разрушена... А электричество? Свет? Мы снова ничего не знаем о них, мы ими пользуемся, но уже как дикари, не зная их сущности. Ученый превращается в невежду. Мы — представители точных наук — должны объявить миру, что точных наук нет, что на верное мы ничего не знаем... — и, сделав трагический жест рукой, он поник головою.

Профессор Волошин сострадательно похлопал его по руке:

— Это не в первый раз случается с точным человеческим знанием, — произнес он мягким тоном, каким успокаивают дитя.

— А химия? — начал опять профессор Петров, и голос его был полон жёлчи. — Что случилось с нею? Мы даже не знаем, что такое вода, так как и наше H_2O разочаровало нас. Вода — больше, чем это. Что такое телефон? Никто в мире теперь не знает, что это. Основа его работы зиждется на том, что он сделан из металла. Но один дурак сделал его из дерева — телефон так же работал. Согласно нашей теории, деревянный телефон не мог, не смел работать, но он работал —

и с тех пор я уже не знаю, что же такое мой телефон. Я им пользуюсь, я плачú за него, но он — таинственный незнакомец на моем столе. Он мне сделал вызов, и я не постиг его тайны. Я могу его сделать, но я не могу его понять. Я с каждым новым научным открытием превращаюсь всё более в изумленного невежду и не могу к этому привыкнуть. Эти открытия разрушают, казалось бы, вечные, испытанные законы науки. Свод законов науки разрушен. Мир превращается в хаос. Люди превращаются в дикарей. Они, конечно, умеют делать свои отравленные стрелы — я подразумеваю машины войны — и надеются, что этим всё спасено. Мозг человека в будущем сузится, он уже сужен, и человек начнет истреблять тех, кто попробует обратить его внимание на это обстоятельство, потому что больной боится доказательств своей болезни! — и снова профессор Петров поник головой.

Через минуту он начал снова.

— Перейдем к моральной стороне вопроса. Имею ли я право преподавать физику в университетах, если мне очевидно, что я не понимаю ее явлений, не могу их толком объяснить, могу их только описывать, если физика для меня уже не является сводом точных знаний. за какой я должен ее выдавать. Конечно, в ней остаются еще кое-какие надежные гипотезы, но и они могут завтра оказаться ложными. В чем мой долг? Имеем ли мы право сознательно обманывать наших детей в университетах, изображая им мир в том виде, в каком он вообще не существует?

Все эти речи удивили мистера Райнда до чрезвычайности.

— Профессор, — начал он учтиво, — позвольте вам заметить, что существует, помимо умозрительной, и практическая сторона жизни. Разве невозможно было бы для вас предоставить последнее слово п р а к т и к е? Действительная, материальная жизнь показывает, что те законы наук, в которых вы обманулись, всё равно могут быть прилагаемы к жизни практической — и они д е й с т в у ю т. Они делают жизнь богаче, удобнее, легче. Я не понимаю поэтому вашего глубокого огорчения. Мы имеем воду; при нуле градусов она в с е г д а превращается в лед, не может не превратиться, так же, как не может и не закипеть при надлежащей температуре. Значит, шомение в точности законов природы существует — фактически — в вашем мозгу. Оно ни в чем не нарушает работы этих законов для человечества, которое спокойно продолжает ими пользоваться для своих выгод. Значит, катастрофы нет. Вы учите студентов полезным практическим знаниям. Человечество вам благодарно. Так отчего же вы так безмерно огорчены?

— Сэр, — отвечал профессор Петров, — я огорчаюсь безмерно потому, что мои сомнения означают конец нашей цивилизации. Всё, что нас беспокоит сейчас: войны, экономические неурядицы, неустойчивый, беспокойный дух народов, — все это логические и уже видимые следствия того; что я д у м а ю, это — плоды моих сомнений в устойчивости тех истин, на которых построена нынешняя цивилизация и общество. Во мне — интеллектуальный микроб, и он растет, он размножается, заражает другие умы и — в конечном итоге — разрушает, приводит старую цивилизацию в хаос. Она гибнет. Это уже случалось в истории человечества. Это, сэр, огромное несчастье. При виде его приближения невозможно сохранять спокойствие духа. Сэр, считайте всё,

что вы называете цивилизацией, уже погибшим. Знание создает. Сомнение разрушает. И это и есть факт более непреложный, чем тот, на который вы изволили сослаться. Знайте, вода может и не закипеть, если произойдет кое-что с плотностью воздуха.

— Но, сэр, — начал мистер Райнд очень осторожно, — зная, какое несчастье человечеству несут ваши сомнения... не могли бы вы... просто воздержаться от их высказывания... Тем временем, мир оставался бы в прежнем виде, люди, не зная ваших идей, продолжали бы жить спокойно.

— Сэр, — отвечал профессор Петров горько, — правда имеет такое главное свойство: она делается известной. Она имеет свойство выходить наружу при всяких обстоятельствах, как бы искусно ее ни прятали. Смотрите! — и он показал куда-то рукою, — вон там родилась идея, идея истины. Она родилась и уже живет сама по себе, независимо от того, что и как с нею хотели бы делать люди. Разве внутри вас самих нет таких истин, которые вам мешают жить с комфортом, которых вы не хотите знать, не хотите видеть — и всё же они живы в вас, и вам их не уничтожить. Поэтому, достойнее всего для человека — быть мужественным и смотреть в лицо истине. Возможно, человек и рожден для одного этого.

Мистер Райнд не знал, что сказать. Он искал поддержки. — Что бы вы возразили на это? — обратился он к профессору Волошину. Тот поднял на него свои сияющие глаза:

— Я — философ. Метафизик. Наша область — духовные ценности и построения. У нас нет кризиса. Мы ничего не потеряли.

— Сэр, — продолжал мистер Райнд, — хозяйка дома мне сказала, что вы уже двадцать лет работаете над книгой о бессмертии души и всеобщем воскресении. Могу я вас спросить, в какой мере задевают всё же и вашу область сомнения вашего коллеги?

— Ни в какой, — отвечал профессор Волошин. — Банкротство наук о внешнем мире не касается области веры, царства духа. Мир — лишь видоизменяющаяся его оболочка. Духовный мир — всё тот же. Мы не знаем катастроф.

— Но где ж очевидность? Есть ли чему-либо в мире внешняя, материальная, убедительная очевидность?

— Нет, — спокойно ответил метафизик. — Ее нет.

Мистер Райнд перевел свой вопрошающий взор на профессора Петрова.

— Очевидность? — горестно воскликнул тот. — Об очевидностях вы лучше спросите вот нашего коллегу. Профессор Кременец специалист по очевидности.

— О, — начал профессор Кременец в тоне легкого светского разговора, — если хотите...

Мистер Райнд не только хотел, он настаивал. Он жаждал услышать что-нибудь положительное, как-то утешиться после подобного разговора.

Профессор Кременец обладал безукоризненными светскими манерами. Он умел приятно закончить всякую беседу и всякую встречу. Он видел, что на его долю выпало как-то развлечь и успокоить мистера Райнда.

— Разрешите тогда вам рассказать... Я бежал из России в 1921 году. Конечно, не имея ни гроша в кармане. К тому же и мои научные знания имеют редкое применение. Я — специалист по санскриту. Я решил отправиться в Париж, чтобы там устроиться при университете. Но по дороге нужно было как-то добывать пропитание. В молодости я изучал санскрит и жил в Индии. Там один из моих молодых друзей — иог — научил меня кое-чему, так, ради шутки. Я и зарабатывал по дороге одним из заимствованных у него приемов. Придя в деревню (я предпочитал практиковать по деревням), я направлялся на площадь, где побольше народа. Там расстилаю обрывок ковра, сажусь и звоню в колокольчик. Собирается толпа поглазеть. Я беру чашку и одно семечко, не знаю, какое оно было, я — не ботаник. Семечко предлагаю всем в толпе посмотреть, потрогать, понюхать. Потом кладу его в чашку и начинаю петь таинственно, вполголоса что-нибудь по-санскритски. Тут же делаю различные жесты над чашкой. И вот семечко начинает прорасти. Поднимается стебель, появляются почки, из них — листья. Я пою быстрее, стебель поднимается выше, достигает полусажени. Появляется бутон, он растет, разбухает. Я вдруг вскрикиваю — и вот перед глазами моей публики расцветает роскошный цветок. Он прекрасен и душист. Он тихо раскачивается на стебле. Но я пою уже тише, и он увядает, закрывается, уходит в стебель. Свертываются и листья, скручивается в узелки уже сухой стебель. Через мгновение нет и его, и только на дне чашки — одно прежнее семечко. Всё представление занимает около двадцати минут. Оно кормило меня всю дорогу до Парижа.

— Но... — не понял мистер Райнд, — при чем же здесь «очевидность», о которой говорил ваш коллега?

Профессор Кременец посмотрел на него своими очень круглыми, выпуклыми глазами, и в них замерцало нечто вроде скрытой насмешки.

— Сэр, — пояснил он, — хотя для зрителей были очевидны и стебель, и листья, и цветок — они, ведь, мне платили именно за то, что их видели, — в чашке никогда не было ничего другого, кроме сухого семечка.

Мистер Райнд почувствовал себя усталым, почти нездоровым от всего этого разговора. И всё же профессор Кременец был чем-то ближе ему, понятнее, чем те двое других.

— Могу я спросить, — начал он, поднимаясь с места, — к какой области философии вы принадлежите?

— Я — циник, — ответил профессор Кременец скромно и с большим достоинством.

Тут мисс Кларк влетела в комнату.

— Это здесь сидят русские? — зашебетала она. — Я знаю, что русские страшно любят разговаривать. Я читала Достоевского, знаете, эту его детективную книгу о наказаниях. Рассказывайте, рассказывайте, я послушаю. Только что-нибудь интересное.

— Мы только что закончили рассказывать, — галантно поклонился профессор Кременец.

Она весело обернулась к нему, но вдруг, увидя во что и как он

одет, быстро взяла мистера Райнда под руку и почти бегом покинула комнату.

Но и в большой гостиной разговор был довольно странным. Зная, что мистер Кларк в прошлом деловой человек с хорошей репутацией, заинтересован в индустриальных нуждах Маньчжурии и, возможно, подумывает начать коммерческое дело, хозяева пригласили на вечер китайского джентльмена, знатока теории и практики торговли в Китае. Этот мистер Ся, только что потерявший все свои магазины, склады и заводы, просто-напросто отнятые у него японцами, мог, конечно, послужить источником хорошей информации относительно рынков Маньчжурии. Мистер Кларк тут же стал задавать ему прямые деловые вопросы. Он не знал, конечно, что подобное поведение расценивается в Китае как совершенно бестактное: прямой деловой вопрос может задаваться прислуге, но никак не собеседнику, встреченному в многочисленном обществе впервые, если этого собеседника уважают. К тому же, мистер Кларк ничего не знал о финале коммерческих дел мистера Ся.

— Мой достопочтенный господин, — начал мистер Ся свой ответ на вопрос мистера Кларка о том, каков был процент прибыли на рынке с капитала мистера Ся, вложенного в торговлю зерном в Маньчжурии, — прежде чем сообщить о прибылях на достопочтенные капиталы в нашем краю, я смиренно попрошу вас обратить ваше высокое внимание на мои скромные слова. Как гражданин этого города, я чрезвычайно польщен тем, что вы снизошли до того, чтобы спросить меня о чем бы то ни было. Я вижу, вы ищете знаний. Знание — великая сила, особенно для вновь прибывших в далекую страну. Главное знание здесь, в Маньчжурии: много разнородных и сложных интересов сталкиваются именно на местном рынке зерна. — Он замолчал и сладко прищурил и без того узкие щелки, служившие ему глазами.

Тут к ним подошел слуга с угощением. Мистер Ся принялся ухаживать за мистером Кларком, с учтивыми поклонами предлагая ему лучшее, что было на подносе. Он сладко вздыхал. Он улыбался. Он весь сиял. Но его круглое бронзовое лоснящееся лицо и напомаженные блестящие волосы, даже шелк его темного халата, всё, несмотря на слова, на улыбки, на поклоны — всё выражало неприязнь к иностранцу.

Угостившись, мистер Кларк повторил тот же вопрос; он настаивал на ответе.

— Мой многоуважаемый, достопочтенный господин, я чрезмерно ошачтливлен тем, что вы желаете продолжать нашу дружескую беседу на хорошо известную, дружескую тему. Но меня огорчает одна из наших пословиц: «Правдивое слово не может быть приятным, приятное слово не может быть правдивым». Я польщен, что именно мне выпала честь представить эту древнюю пословицу вашему столь почтенному вниманию. — Тут он остановился и вдруг спросил кратко, совсем другим тоном: — Вы хотите открыть дело в Маньчжурии?

Мистер Кларк вздрогнул от неожиданности.

— Прежде чем ответить, я должен обратить ваше внимание на то, что я еще ничего толком не узнал от вас о состоянии местного рынка. Вы мне так мало сказали.

— «Сказал»? — с ужасом воскликнул мистер Ся. — Разве я «сказал» что-либо? Благоразумные люди никогда не говорят о текущих делах. Прошу вашего снисхождения и приношу мои смиренные извинения, но я не помню, чтоб я «сказал». В моих намерениях не было что-либо «сказать» о текущих делах местного рынка. Это могло лишь послышаться...

Мистеру Кларку надоело всё это. — Послушайте, — перебил он, — один вопрос: советуete ли вы вкладывать капитал в маньчжурский рынок?

— Я? Советовать? — мистер Ся даже пошатнулся, как бы от удара. — Да сохранят меня боги от такого самомнения: давать советы людям неизмерно мудрее и почтеннее меня самого. Вы сказали это, конечно, в шутку, мой distinguished gentleman. Я очень несчастен, если я произвожу впечатление человека, который дает советы. Но есть еще одна китайская пословица, которая на практике неизменно оказывается верной — вот уже тысячелетия! — на нашей земле: «Хочешь жить спокойно, не делай ничего».

— Но вы не можете говорить это серьезно. Разве можно жить, прилагая эту пословицу к жизни?

— О, есть еще одна пословица, тоже очень старая: «Если есть сухопутная дорога — не едь по воде», — и мистер Ся, вздохнув, совершенно закрыл глаза и крепко сжал губы, как бы давая знать собеседнику, что разговор окончен, и у него уже не осталось больше пословиц.

XIV

И Лида тоже бывала в обществе, но в своем кругу, среди русских эмигрантов. Эти люди не изменили своих социальных привычек, то есть всякий, кто имел если не дом, то комнату или только угол, принимал гостей во всякое время, когда бы кому ни вздумалось к нему зайти. При появлении гостя, хотя бы и совершенно не ко времени, русская дама сейчас же прекращала стирку, отставляла в сторону ведро с помоями, метлу или утюг, и превращалась в любезную хозяйку. Она улыбалась той самой приветливой улыбкой, как когда-то в столице, в своей гостиной, и начинала готовить чай. Качество и количество угощения менялось в зависимости от материального положения, вернее, от степени бедности в доме, но манеры и разговор были прежнего высокого столичного тона, не снижаясь с привычного уровня. Говорили о музыке, литературе, политике, о светлом, хотя и отдаленном, будущем человечества, и, конечно, о детях, там, где они имелись. Дети вызывали большое беспокойство: они переставали походить на родителей. У них уже не было большой устойчивости принципов и, главное, разнообразия духовных интересов. Они вырастали на чужбине, питались хлебом других народов. Они приспособлялись. Инстинкт самосохранения толкал их на легчайшие пути, отсюда — понижение культурного уровня во имя практического подхода к жизни. Они хотели ассимиляции. В Китае они стремились подражать приезжим или живущим американцам и европейцам. Они постепенно отходили, отдалялись от родителей. Изучая успешно и старательно иностранные языки, как важное средство для борьбы за существование, они стано-

вились небрежны к своему родному, и постепенно теряли к нему чутье. Но всё еще то здесь, то там появлялся молодой русский талант, — поэт, музыкант, певец, ученый, изобретатель — и это на время успокаивало старое поколение: преемственность русской культуры, ее поступательное движение продолжалось. Русская интеллигенция еще дышала.

Всякий талант встречался с восторгом. Им гордились. Сейчас же пускался в ход подписной лист: на покупку книг для таланта, на аренду пианино или скрипки, на плату за учение, на билет за границу. И эти жертвы не были напрасными: не мало гуляет по свету талантов харбинского происхождения.

Лида посещала преимущественно русские культурные круги в Харбине и внимательно вслушивалась в разговоры.

— Современная художественная литература! — с негодованием говорила хозяйка, отходя от корыта, где она крахмалила шторы, — я читаю на пяти языках... я нахожу, что искусство писать погибает. Роман умер с Толстым — погиб под поездом с Анной Карениной, а рассказ умер от чачотки вместе с Чеховым. Жизнь дает такой материал — чего ярче! чего сложнее! — перед нами столько новых явлений, задач, идей, — а литература преподносит одно, какой-то пансексуализм, от которого откровенно несет запахом лекарств и сумасшедшего дома. Язык? Посчитайте, много ли филологов, настоящих ученых филологов в мире, много ли пишут новых грамматик, работ по художественному языку и стилю? Вы не найдете ни одной в рядовом книжном магазине, но вы там найдете всё и по всем отраслям извращения, убийств и порока. Конечно, здоровый взрослый человек не станет этого читать. Но как уберечь детей? Они входят в жизнь с мыслью, что она, жизнь — или полиция, или дом сумасшедших, или тюрьма, и они ведут себя соответственно. Да, была литература когда-то и пророчицей, и руководительницей человека, и его другом, но теперь она — преступница в мире искусств...

Разговор о детях живо подхватывался присутствующими.

— Я просто не понимаю, как мы допустили наших детей до такой апатии мысли. Как случилось, что мы, родители, потеряли авторитет? Даже животные лучше воспитывают и готовят к жизни своих детенышей. Бедное человеческое дитя! Его сначала учитель терзает в школе, чтоб он запомнил заповеди, например, «не убий», и что «люди — братья», и что «честность — лучший путь в жизни». Но едва он окончил школу — его посылают на войну... Что может устоять против этого? Какая вера в человека? Не мудрено, что если он уцелевает, то делается и Хамом, смеющимся над отцом, и Каином, убивающим брата...

Лиду, конечно, более интересовало не общество старших, а круг ее сверстников и сверстниц. Ее первое выступление состоялось на рождественском вечере для детей. Главной темой избрали процесс перехода идеи из области одного искусства в другое.

Местная красавица, готовившаяся к сцене, прочитала стихи: «Был у Христа - младенца сад».

Затем на сцену внесли классную доску. С мелом в руках, учитель гимназии анализировал конструкцию этого стиха, его размер и рифму.

Затем вышла Лида и спела «Был у Христа - младенца сад». После нее скрипка и пианино сыграли то же, переложенное на музыку Чайковским. Затем «симфонический оркестр русской молодежи» сыграл ту же музыку Чайковского, но аранжированную Аренским для оркестра. Затем вышел местный критик и, как подобает критику, разобрал всех, давая понять, что он сам сделал бы всё гораздо лучше. В заключение местным художником была поставлена живая картина на слова: «И много роз взрастил Он в нём». Роз на сцене было не так уж много, они были бумажные, старые, оставшиеся от других живых картин, от других садов. Но прекрасно было дитя - Христос — маленький мальчик в светлом балахончике. Он стоял посреди сцены, испуганный, и сквозь набегающие слезы страха перед людьми жалостно, покорно и кротко улыбался. Этой улыбкой закончилось представление. Несомненно, что все присутствовавшие дети раз и навсегда, на всю жизнь, запомнили, что «был у Христа - младенца сад, и много роз взрастил Он в нём».

После мальчика, самый большой успех выпал на долю Лиды. Аккомпанировавший ей Сергей Орлов, готовивший себя в композитора, слегка завидовал Лиде. Он ей объяснил, что высшее и самое ценное искусство — это создавать, например, быть композитором, а не исполнять уже готовое, как это делают певцы и актеры.

Лида внутренне заволновалась: что же я? могу ли я создавать музыку? Или же я только пою — второй сорт искусства, как он мне только что сказал. Я проверю, я хочу попробовать... в уме.

Накинув пальто, она вышла на балкон. Закрыла глаза и стояла так, неподвижно, стараясь глубже уйти в себя, под холодным небом, высоким и темным, под таинственным мерцанием звезд. Она искала в себе, стараясь найти там музыку. Но ей мешали долетавшие до нее внешние звуки. Они рассеивали, разбивали то, что она хотела вызвать изнутри и услышать. Неясные голоса и смех доносились сквозь стены из клуба; под балконом, нависшим над улицей, кто-то прошел быстрым шагом; где-то засмеялись двое, тихо и радостно; где-то совсем близко вдруг зазвенел женский голос: «О, Боже, как я люблю жизнь!»

И вдруг, неожиданно, Лида слышала музыку. Она волной поднялась и затопила весь мир. Это был мощный подъем, Лида зашаталась, едва устояв на ногах.

— Боже! Это моя музыка? Моя?

Но — увы! — она скоро узнала ее: музыка стала приобретать форму, свою фразу, и оказалась музыкой из «Лоэнгрина».

— Нет, — подумала Лида, — я, вероятно, не могу... я только могу слышать иначе, по-своему... Но не буду огорчаться... — Она посмотрела на небо. — Это было только одним из моих «небесных странствований». И вдруг опять она почувствовала, что слышит музыку — не очень громкую, печальную и нежную. Да, она ее слышала явственно, совершенно отчетливо. Лида подняла лицо к небу и слушала, полная необыкновенного счастья. Но открылась дверь.

— Ты здесь, Лида? — спросила Глафира. — Мы потеряли тебя. Пора домой. Мушка уже засыпает.

Домой возвращались, конечно, пешком. Сергей Орлов шел с Лидой, провожая ее.

— Искусство требует принесения в жертву всего остального, всей жизни, — говорил он.

Глафира, заявлявшая всегда, что не имеет никакого отношения к искусству, что будет просто домашней хозяйкой, и что даже теперь, в молодости, она может читать книгу, слушать музыку, вообще наслаждаться искусством лишь тогда, когда подметен пол, вымыта посуда, словом, закончена вся домашняя работа, иначе мысли о беспорядке не дают ей покоя, — Глафира, смеясь, спросила:

— Расскажите же нам, Сережа, как далеко вы зашли в аскетизме и в приношении жертв для музыки.

— Я могу жить три дня без пищи, — совершенно серьезно начал он, — я могу жить сутки без воды...

На это Глафира опять рассмеялась.

— Однако, как это сокращает расходы. А как долго вы можете жить без музыки?

— Без музыки? — Он даже остановился. — Ни одного дня...

На углу неподвижно стоял человек, глядя на звездное небо. Они узнали поэта.

— Игорь! — воскликнула Глафира. — Что вы так смотрите в небо? Потеряли там что-нибудь?

— Нет, нашел, — отвечал поэт. — Посмотрите туда, — и он показал по направлению созвездия Большой Медведицы. — Вот на той далекой одинокой звезде живет бог китайских поэтов, мистер Wen Ch'ang. Он, между прочим, бессмертен. Обычно он одет в длинный синий халат. Он ходит медленно, он презирает всё, что делается наспех. Если он устает ходить, то ездит на своей лошади. У него белая лошадь. У него также двое слуг; имя первого «Глух, как Небо», второго «Нем, как Земля»... он хотел таких, чтобы они не могли выдать секретов, как творится поэзия, недостойным людям, ради выгоды...

— Боже, какие подробности! — смеялась Глафира.

— Но в этом глубокий смысл! И как это красиво! — восхищалась Лида. — Откуда вы узнали это?

— У меня есть друг, — объяснил Игорь, — он китаец, поэт и философ. Мы делимся нашими знаниями...

— А кто живет там, в созвездии Малой Медведицы, — интересовалась Лида.

— Там? Там живет Мистер Старый - Человек - Южного Измерения.

— Как он выглядит?

— У него очень высокий лоб, длинная и узкая белая борода. Это — бог долгой жизни. У него есть особая книга, куда он вносит запись о каждом рождении и сейчас же придумывает и обозначает, как долго родившемуся полагается жить. Своим записям он ведет строгий учёт.

— Но неужели нельзя изменить срок, как-нибудь?

— Никогда! — отвечал Игорь строго. — Старый господин любит порядок и покой. К тому же, он несколько ленив: он никогда не переделывает наново своей работы.

— Пойдемте! Иначе мы замерзнем здесь на углу! — протестовала Глафира. Но, взглянув на поэта в его легком старом пальто, она участливо добавила:

— Жизнь тяжела для поэтов в наше время.

— Жизнь была всегда тяжела для всех поэтов, у всех народов и во все времена, — отвечал он. — Наше время для поэта ничем не хуже и не лучше, чем все другие.

XV

— Мистер Райнд, вы любите искусства? — как-то раз спросила Даша.

— Искусства? Какие искусства?

— Искусства вообще. Изящные искусства.

— Если в небольшой дозе, ничего не имею против.

— Так пойдемте со мной в Клуб Трудящихся. Вы познакомитесь там с искусством пролетариата.

— Это нечто новое? Еще невиданное и неслыханное?

— Нет, этого нельзя сказать. Но наше искусство во многом отлично от буржуазного. Мы отбрасываем всё, что не отвечает нашим идеям и нашему социальному заказу. У нас искусство должно служить моменту, быть выражением нашей жизни и нашего строительства. Должно объяснять и учить. Мы не поощряем индивидуалистических...

— Пойдите, пойдите, товарищ Даша! — смеясь, взмолился мистер Райнд. — Пойти посмотреть я согласен, но слушать ваши лекции отказываюсь.

— Что ж, я могу замолчать. Я только хотела сказать, что задача нашего искусства — радовать и поддерживать тех, кто строит новую жизнь. Впрочем, я мало изучала этот вопрос. Я могу ошибаться, — призналась Даша. — Но я очень люблю стихи и пение.

— Согласен, ведите меня в клуб, — смеялся мистер Райнд. — Пусть и меня согреет пролетарское искусство, если я поддаюсь согреванию.

На следующий день, вечером, они отправились в клуб местной коммунистической организации, хоть она и не называлась так открыто. Даша пояснила, что, в виду давления со стороны японцев, некоторое время будет даваться программы исключительно артистические, без речей и без обсуждения текущих вопросов экономической и политической жизни. Полиция в то время присутствовала на всех собраниях клуба. Задача состояла в том, чтоб избегать столкновений с полицией.

Клуб помещался в конце города. Это было деревянное театральное здание, какие часто встречаются в небольших русских городах. Мистер Райнд и Даша сидели в шестом ряду. Народу было много, и народ этот был живой, говорливый. То, что публика была рабочая, пролетарская — не подлежало сомнению. Где еще можно было увидеть эти сутулые плечи, согнутые спины, эту тяжелую походку, такие глубокие морщины и такие грубые руки? Не только они сами принадлежали к классу трудящихся, но были детьми многих поколений тоже тяжело трудившихся людей. Здесь они были в своей среде и держались свободно, непринужденно: кто хотел кашлять — кашлял, кто хотел чихать или плюнуть, делал это без извинений перед соседом. И в разговоре их друг с другом не замечалось сдержанности: здороваясь, кричали приветствия прямо в лицо, поддразнивали друг друга, подсмеивались, подмигивали, подталкивали локтем в бок. На мистера Райнда

удивленно подолгу глазели, рассматривая в нем всякую подробность манер и одежды. Удивлялись. То, что он иностранец, видно было по его костюму. Обменивались мнениями на его счет вслух, не стесняясь. Он, в общем, им нравился. Были довольны и даже как бы благодарны за то, что он удостоил их своим присутствием.

Все они, без исключения, были очень бедно одеты. Даже товарищ Даша, в своем берете и белой коленкоровой блузке, выделялась нарядом. Ни женщины, ни девушки не были красивы. Ни в ком не было ни городского изящества, ни деревенской свежести, это был фабрично-заводской пролетариат.

Казалось, между собою все в зале были хорошо знакомы, они держались, как близкие родственники. И, действительно, в них было нечто общее, роднящее их как по внешнему виду, так и по какой-то внутренней сущности.

Мистер Райнд чувствовал себя совершенно чужим. Ему было неприятно; он держался настороже, избегая всматриваться, но стараясь вслушиваться и надеясь, что скоро можно будет уйти.

Даша объявила, что очень знаменитая молодая балерина приехала из Москвы и будет сегодня, здесь, танцевать.

— Вы увидите «мировой» балет, — сказала она гордо.

Но когда балерина появилась на сцене, мистер Райнд не поверил своим глазам. Он представлял себе балет только в американском, скорее, в голливудском обрамлении. На сцену же клуба вышла одна некрасивая девочка, с круглым, несколько плоским лицом. Глаза ее были узки, скулы довольно широки. Она смущенно, по-детски улыбалась большим бледным ртом. На ней были черные трусики и шерстяной пуловер. На голых ногах, правда, были прекрасные балетные туфли. Коротко подстриженные волосы были подтянуты, как у Даши, круглым дешевым гребешком. «Мировая» Саша Воробьева выглядела безобразным утенком.

Но ее встретили по-царски: самые громкие, самые воодушевленные крики и аплодисменты, на какие способна была аудитория, встретили ее появление. Все встали и, стоя, аплодировали и кричали. У пожилых женщин слезы стояли в глазах, и одна из них, не сдержав своих чувств, толкнула мистера Райнда локтем в бок, прокричав ему в ухо:

— Наша девочка! С родины приехала! С Москвы!

Саша Воробьева стояла спокойно, изредка кланяясь. Она пристально всматривалась в публику, как бы изучая ее, как бы впитывая в себя что-то из зрительного зала. Поза ее была неизящна. Она держалась сутуло, засунув руки в карманы пуловера. Карманы были не по бокам, а как-то спереди, и вся балерина казалась собранной в комок. Но вот в оркестре раздалось несколько аккордов, публику приглашали к вниманию.

При первом звуке Саша встала на пуанты и каким-то лебединым движением, подняв шею, сдернула свой пуловер и бросила его высоко, за сцену таким жестом, который сразу отделил ее от всех этих людей и этого зала и сделал ее похожей на летящую птицу. В тугой белой кофточке, без рукавов она остановилась посреди сцены и казалась теперь высокой, гибкой и стройной. Она состояла из немногих, но беско-

нечно грациозных линий. Мистер Райнд никогда прежде не слышал этой музыки и не знал, что это за танец. Он видел, как Саша оставила землю, вопреки всем законам материи и притяжения и, казалось, танцевала в воздухе, не прикасаясь ни к чему. Ее поднятые вверх руки вдруг разламывались в неожиданные углы и линии и затем опять выпрямлялись, как крылья. Саша пролетала перед глазами, как легкая птица, и лицо у нее было совсем другое, тоже еще невиданное мистром Райндом. Наконец, она остановилась в позе триумфа с высоко поднятой правой рукой.

— В программе это называется «Вдохновение», — прошептала Даша.

Буря аплодисментов, крики восторга приветствовали балерину. Она низко всем поклонилась и опять превратилась в простую некрасивую девочку.

В Холливуд бы ее! — про себя подумал мистер Райнд. — Пропадает талант! Смешно танцевать в такой убогой обстановке.

На сцену вышел хор и пел народные русские песни. Публика слушала с умилением. Каждый узнавал свою губернию, свою песню — и объявлял об этом вслух. После хора появился распорядитель и крикнул в публику: «Товарищ Даша!»

— Это меня! Меня зовут! — быстро поднявшись, сказала Даша мистеру Райнду. — Стихи. Вот перевод! — и она сунула ему в руки мелко исписанный листик.

Человек на сцене, нагнувшись, подал Даше руки, и она неуклюже взобралась к нему. В публике оживленно заговорили, показывая на Дашу пальцем. Ее, очевидно, и знали и любили; ей улыбались и кричали: «А ну, Даша, покажи себя, какая ты на сцене!»

Даша читала стихи. Мистер Райнд следил по переводу. В них рассказывалось о том, как угнетали народ прежде и как счастлив он теперь, при советском правительстве. Она читала стихи просто, но с захватывающей душевностью. Картины прошлых страданий народа ее так волновали, что голос ее снижался до шопота, как будто бы она рассказывала тяжелую повесть о собственном сердце какому-то близкому задушевному другу.

Мистер Райнд слушал и наливался протестом. Что могла знать Даша о прежней жизни, свидетельницей которой она не была? Трагикомедией казались ему ее восторги перед настоящим. Она не знала никакой другой жизни. У ней не было данных, чтоб судить, средств, чтобы сравнивать. Вот бы кому надо было пожить в Америке! Ничто другое уже не сможет ее изменить. С годами она будет всё фанатичнее. Ей объяснили, что колебание и сомнение — предательство, и благородная сердцем, мужественная Даша уже не изменится. Ему бесконечно было жаль Дашу. «Такая прекрасная девочка!» Ребенок, не знавший никогда семьи, ни отца, ни матери, где-то кем-то подобранный — и благодарный за это! Она вложила свое сердце, все свои чувства в желание служить этому невидимому благодетелю — коммунизму. И мистер Райнд принял решение заняться товарищем Дашей, попробовать изменить ее жизнь.

По дороге домой он сказал ей:

— Знаете что, товарищ Даша, вам полезно было бы повидать свет.

Я могу отправить вас в Америку, в Соединенные Штаты. Вы там поступите в колледж. В жизни нехорошо, вредно и опасно, быть слепо односторонним. Это — фанатизм. В Америке вы увидите другую жизнь, познакомитесь с другим мировоззрением.

— Капиталистическим? — сурово крикнула Даша.

— Нет, с демократическим.

Она посмотрела на него по-детски, исподлобья, недоверчивым взглядом.

— Понимаю, вам кажется, что я несчастна здесь, бедна, что ли. И вы думаете, что я стала бы счастливее, живя на чужой счет, вашей благотворительностью? Вы считаете, что быть паразитом куда более завидная участь?

— Нехорошо так подходить к моему предложению, — защищался мистер Райнд. — Вам надо бы иметь более доверия и уважения ко всем людям вообще. Я старше вас, я много видел, а вы и молоды и очень наивны. Нельзя ничему отдавать свою жизнь наспех, без критики. Надо посмотреть на мир со всех сторон. Поживете в других странах, понаблюдаете, и ничто не помешает вам снова вернуться сюда, если захотите.

— Мистер Райнд, — сказала Даша, и ему почудилось, что теперь с ним говорит взрослый и вполне открытый человек. — Вы — добрый. Но почему ваша жалость так ограничена, почему она обратилась именно на меня? Причуда: я почему-то понравилась вам. Но для многих миллионов других девушек вы считаете бедность в порядке вещей, вы не протестуете, не посылаете их в колледж. Они могут страдать, сколько угодно: они не имели счастья попасться вам на глаза, понравиться вам и вызвать вашу жалость. И вот вы хотите, чтоб и я стала смотреть на права человека вашими глазами. Вы считаете, что это будет «добро» для меня, и так я стану счастливее. Вы хотите мне дать то, что покупают в лавке за деньги — хорошую пищу, одежду, а за это разрушить во мне то, что составляет смысл моей жизни — борьбу за счастье всех бедняков. Но я родилась среди них, я живу с ними, я счастлива, я не хочу перемен.

— О! — воскликнул мистер Райнд, — Как, однако, вы принимаете всё это! Я не предполагал вовсе, что кто-то станет разубеждать и перевоспитывать вас. Я имел ввиду, что вы просто увидите больше.

— Довольно!

— Даша, — сказал мистер Райнд просто и сердечно, — ваша жизнь будет полна страданий.

Она остановилась и пристально взглянула на него.

— Разве возможна жизнь без страданий? — и опять повторила: — Разве возможна человеческая жизнь без страданий? Вы посмотрите! Вы только внимательно посмотрите вокруг!

Они стояли у границы китайской части города, Фу-дзя-дзяна. Как все китайские города, и этот был перенаселен до чрезвычайности. Тротуары были запружены людьми, мостовые — рикшами, велосипедами, экипажами. Кое-где видны были автомобили посетителей из европейской части города. Никаких правил, регулирующих уличное движение, не существовало, и всякий переходил улицу, где хотел и когда хотел. Всё вместе производило впечатление хаоса, столпотворения; но это

был мирный хаос — никто не искал причинить другому зла. На мостовой были и ухабы и ямы, но необычайно ловкие китайские носильщики и рикши умудрялись доставить и человека и товар в целости. Правда, время от времени кое-кто из пешеходов падал на-ходу, но, поднявшись, добродушно следовал дальше. Он знал, что город тесен для миллионного населения, и все поневоле толкают друг друга, и воспринимал этот факт по-философски.

— Разве эти люди не заслуживают лучшей жизни? — спросила Даша мистера Райнда так строго, будто именно он и был причиной всех бедствий. — Всмотритесь в эту бедность... Вслушайтесь!

Мистер Райнд слушал городской гул, но не понимал отдельных голосов и звуков, не умел их анализировать. Казалось, сама жизнь звучала в Фу-дзя-дзяне. Ремесленники и уличные торговцы, слепые музыканты и певцы баллад, предсказатели будущего и нищенствующие монахи — каждый имел свой специальный инструмент, который уже веками выражал его профессию: у сапожника был маленький гонг, паяльщик верещал, как кузнечик, особыми металлическими щипчиками, у иных была трещётка, деревянная погремушка, натянутая струна, и многие, вдобавок, издавали еще своеобразные крики. Эти крики тоже имели свою историю и традицию — строго соблюдалась градация тона и звука. Каждая профессия ревниво оберегала свою область.

Над всем этим носились запахи. Доминировал запах бобового масла. Голодные страшные нищие толпились около уличных печей и лавок, где изготовлялась, продавалась и часто тут же съедалась пища. Они жадно вдыхали эти ароматы. Жарились лепешки, варился суп, в горячей золе пеклись каштаны. На прилавках и в окнах была выставлена разнообразная, часто невиданная европейцами еда.

Всё это было грязно и пыльно. Стены домов, мостовые, одежда людей — всё было очень грязно. Везде проступала бедность, обнищание масс. Нищие и бродяги всех видов и возрастов, в различных стадиях уродства, увечья и болезней, вопили, стонали, молили, кричали о помощи, хватая проходящих за одежду. Они кричали напрасно. Никто не обращал на них никакого внимания.

— Смотрите! Теперь сюда смотрите! — сказала Даша.

На углу, у стены дома глазам мистера Райнда представилось страшное зрелище: там копошилось человеческое тело, еще живое, наполовину голое, наполовину покрытое ужасными лохмотьями. Тело ползло на четвереньках, издавая глухие, какие-то булькающие стоны. Обнаженные части тела были покрыты как бы корою из пепла, обнажившая страшную накожную болезнь.

— Проказа, — сказала Даша просто.

— Что? — даже поперхнулся мистер Райнд.

— Это проказа, — пояснила Даша.

— Но как же... кто позволяет это? Больной должен быть изолирован... Это опасно. Должна быть больница.

— Должна быть? Не правда ли? — в первый раз в голосе Даши он услышал иронию. — Она должна быть, но ее нет. Больные пользуются привилегией полной свободы в Китае. Здесь круг-

лый год эпидемии, все самые страшные болезни, самые заразные — и при этой скученности населения...

— Возмутительно, — сказал мистер Райнд.

— Не правда ли? — опять повторила Даша. — Китай богат. Здесь быстро делаются состояния. В нем 500 000 000 населения, ежегодно рождается 14 500 000 детей, человеческих детей, мистер Райнд. Они рождаются чтобы жить в э т и х условиях.

Прокаженный, очевидно, почуяв иностранцев, полз по направлению к ним, простирая руку.

— О! — отшатнулся мистер Райнд. — Уйдем скорее отсюда. Это ужасно. Проказа заразна.

Прокаженный протянул к нему руку, на которой недоставало пальцев.

— Зачем уходить? — сказала Даша. — Все люди — братья, не правда ли? Почему бы не подойти к этому несчастному брату и не прикоснуться к его протянутой руке?

— Довольно! — крикнул мистер Райнд. — Довольно разговоров и глупостей! — и, схватив Дашу за рукав, он потянул ее в сторону. — Вы не бойтесь?..

— Чего?

— Смерти.

— Смерти? — повторила Даша таким голосом, будто уже много и часто думала о ней. — Смерти, — повторила она, и странная, восторженная улыбка осветила ее лицо. Это слово она произнесла так, как воин сказал бы «слава», поэт — «красота», юноша — «любовь». — Почему не умереть, если это чем-то поможет человечеству?

XVI

Привязанность мистера Райнда к товарищу Даше все возрастала. Она была, повидимому, взаимной. Различные по мировоззрениям, они, казалось, имели одинаковые чувства: обоим хотелось больше доверия, больше тепла в жизни, меньше одиночества. Оба даже старались избегать споров, но — уввы! — эти словесные столкновения возникали ежеминутно.

В мистере Райнде просыпались инстинкты отца: заботиться, защищать, укрывать от невзгод. Даше же было ново теплое, лично к ней внимание, как к «Даше», не как к «товарищу». Она выросла в приюте. Воспитатели там постоянно менялись, она переходила из одних равнодушных рук в другие. Когда она подросла, и ей стало известно понятие — «родители», она спросила, кто принес ее в приют. Но никого из старых воспитателей в то время в приюте уже не было, никто не помнил. В книге она была записана, как «девочка, номер пятьдесят семь». Позднее ей дали имя — Октябрина, но она не умела произнести этого слова, что затрудняло, например, при переключке, и ее переименовали в Дашу. Никто никогда не приходил в приют спросить о Даше. Она осталась одна на свете. Она принадлежала государству. Ее раннее детство прошло в страшные годы голода по всей стране. Приюту выдавали так мало продуктов, что дети умирали от истощения. Их имена вычеркивали из списков. Даша продвинулась в реестре, стала «девочкой,

номер восемь». Она выжила. Без материнской ласки, без материнского ухода, она прошла сквозь младенчество и детство — всегда бледная, всегда голодная, всегда испуганная. Няньки в приюте постоянно менялись, и Даша, просыпаясь, то и дело видела новые, незнакомые лица. От этих полуголодных, раздражительных, несчастных нянек Даша перешла, наконец, на попечение школы, и там двигалась из класса в класс, от одного учителя к другому. И учителя, как и няньки, были полуголодные, утомленные люди, и они, как все кругом, торопились, спешили «создавать», спешили «строить». Класс сирот был «коллективом». Одинаково одетые, схожие платьем и сиротством, им задавали одни и те же уроки, лекарства, им всем прививались одни и те же идеи. Работая с коллективом, отдавая ему жизнь и силы, учитель не был заинтересован в индивидуальностях.

Даша старалась. И она торопилась, стремясь как можно лучше учиться, во всем быть такой, какую ее желали видеть. За «усердие и успехи в науках», ее приняли в пионерскую организацию — и тут ей открылся новый мир. Впервые у нее появились друзья и наставник, который интересовался ею, был искренне участлив. Она была лучшей в отряде. За ее развитием теперь внимательно следили, наблюдали, к чему она более способна, хвалили, поощряли. И на эту первую ласку в жизни Даша ответила такой преданностью, такой горячностью, такой благодарностью, что вскоре стала центром своей организации. Ее отмечали, как многообещающую работницу. Затем она была принята в комсомол, и жизнь ее определилась. Ее мировоззрение было там сформулировано раз и навсегда. Человечество для нее состояло из двух неравных групп: обижающие и обиженные. Обиженные, наконец, восстали. Они пересоздавали мир. Даша была с ними. С радостью, с верой, она пошла по избранной дороге. Ей дали задание. Она училась в спецшколе, готовясь к пропаганде в Китае. Она была совершенно, восторженно счастлива своей деятельностью и предстоящей работой.

Но были, конечно, в ее сердце еще и другие стремления — тоска бездомного ребенка о доме, о семье. Когда она видела своих друзей с отцом или матерью, ей смутно хотелось ощутить глубокую сердечную привязанность, основанную не на общих идеях, а на родстве или свободном влечении сердца.

Теперь она и мистер Райнд в некотором смысле «нашли» друг друга.

Цельность и последовательность Дашиной природы и привлекала и отталкивала мистера Райнда. После ежедневных занятий они обычно подолгу беседовали, и беседа неизменно оканчивалась спором. Разговор велся с величайшей искренностью, что было несколько ново для мистера Райнда. Даша защищала свои политические взгляды с великой горячностью. Партия была для нее всем. Никаких планов на личную жизнь, на какое-то личное устройство своей судьбы у нее не было.

Мистер Райнд продолжал атаковать Дашину веру с разных сторон. — А система террора? Как вы оправдываете это?

— Мистер Райнд, — горячо возражала Даша, — жизнь нас вынуждает к этому. Иначе враги не дадут нам основать нашу систему. И раньше были попытки перестроить жизнь — то новой религией, то революцией, а чем все они оканчивались? Но мы решили довести до конца,

чего бы это ни стоило. Мы имеем право: разве нас не преследовали таким же террором раньше? Или не преследуют в некоторых странах сейчас? К тому же, мы — не христиане, у нас нет заповеди «не убий».

— Всё равно, это ужасно. Это тягостно: око за око . . .

— Око за око? — воскликнула Даша. — Вы ошибаетесь, мистер Райнд! Мы выше расцениваем нашего товарища, чем нашего врага. Нет, не око за око, два за одно.

Он слушал ее с большой грустью. С таким вот горячим задорным воодушевлением мальчишки говорят о своих уличных битвах. А Даша? В прежние времена она, вероятно, ушла б в монастырь; или, как гонимые за веру старообрядцы, подожгла бы свой дом и, распевая молитвы, сгорела бы в нем. Меняются религии и идеи человека, но типы людей остаются всё те же. Фанатик всегда найдет свой костер.

— И всё же, товарищ Даша, достойно ли подходить к жизни, к ее цели, ее деятельности так слепо, без критики . . .

— Вы не понимаете, мистер Райнд! Историческая задача нашего поколения не критиковать, а повиноваться. Период обсуждения коммунизма прошел. Он рассмотрен, всякая деталь предвиделась, освещалась, обсуждалась. Он перешел в практику. Наш долг — проводить его в жизнь, не колеблясь, не оглядываясь. Именно мы расчищаем дорогу для коммунизма в жизни, чтобы он смог дать человечеству новый социальный строй, сделать всех равными, сделать угнетенных счастливыми.

— Но предположим . . . — начал мистер Райнд, — вообразим, что коммунизм — ошибка, что он не выполнит того, чего от него ожидают. Что если все эти жертвы и борьба — напрасны? Что тогда?

— Если всё это напрасно, — повторила Даша, и у ней захватило дыхание. Видно было, как больно ей хотя бы на минуту вообразить это. — Что ж, если бы это несчастье случилось . . . наш пример вдохновит следующие поколения. Они будут учиться на наших ошибках, они создадут новую, лучшую систему и всё-таки сделают человека справедливым и счастливым. Мистер Райнд, человечество никогда не перестанет бороться за правду!

— Но ваша жизнь, Даша? Ваша единственная, неповторимая жизнь . . .

— Не говорите: в а ш а жизнь. В деле партии мы живем вместе. У нас общая н а ш а жизнь.

— Но она пройдет, и никто не вернет вам юности. Вы проводите ее в лишениях. Это — мученичество.

— Что за слово «мученичество»! Мы не герои, не поэты — мы работники, строители будущего. То, что мы делаем, — наша работа, черный труд. Мы работаем из чувства долга перед человечеством и чувства личной чести. Человечество должно превратиться в одну дружную и веселую коммуно. Тогда для него откроются и другие задачи.

Постепенно мистер Райнд всё более узнавал о Даше. Ей было двадцать лет. Она жила среди лишений. Она ничего не знала о роскоши или комфорте, например, она никогда в жизни не ела шоколада. Узнав об этом, мистер Райнд купил ей большую роскошную коробку лучших шоколадных конфет, но она отказалась ее взять, не желая «развивать в себе губительных привычек, потребности в излишествах» — и она

говорила это ему в обычном серьезном и строгом тоне. Она жила, как аскет, вела себя, как стоик. У нее никогда не было отдельной комнаты. У нее никогда не было никаких модных вещичек, сувениров, украшений, безделушек. Подобно другим девушкам в партии она стригла волосы не потому, что это было модно, а потому, что короткие волосы требовали меньше воды и мыла и меньше времени для того, чтобы держать их в порядке: их не надо заплетать в косы или укладывать на голове. Дашино время по-настоящему принадлежало партии. Правда, она носила на голове круглый гребешок, но он стоил дешевле, чем стоили бы шпильки, которые легко теряются.

Мистера Райнда просто ужасало всё это.

Он не мог себе представить, что есть на земле такие девушки, как Даша, без шелковых чулок, пудры, хорошенькой сумки, соломенной шляпы, лент, кружев, духов, брошек, колец; шарфов, зонтиков, ожерелий, карманных денег — и, главное, без стремления их иметь.

Мистер Райнд жалел Дашу, Даша жалела мистера Райнда.

Она категорически отказывалась от всяких подарков. Партия даст ей всё, что необходимо. Личной собственности ей не нужно.

И всё же однажды, остановясь у витрины цветочного магазина, она долго смотрела на розы. В сумрачный, зимний день они казались необыкновенно прекрасными.

— Интересно бы знать, — медленно произнесла Даша, — кто, когда и кому дарит такие цветы?

— О! — воскликнул мистер Райнд, — Скажите мне, когда день вашего рождения, и я буду посылать вам их каждый год, где бы вы ни находились.

— День рождения... — повторила Даша, и он вспомнил, что у Даши не было и «дня рождения».

— Хотите, я вам куплю эти цветы?

— Нет, не хочу, — ответила Даша.

— Вы подождете до тех пор, пока всё человечество будет в состоянии покупать розы? Ваш идеал: все девушки мира получают одинаковые розы в один и тот же день и час. Ни одна не осталась без букета. Не правда ли?

В его голосе звучала насмешка. Но товарищ Даша всегда принимала вызов.

— Да, я подожду, — отвечала она. — Но вы, когда вы садитесь утром за завтрак... разве вас оскорбляет мысль, что такую же точно чашку чая выпивают все в отеле, вообще, многие в мире. Это не портит вам аппетита? Что бы вы предпочли: съедать вашу каждодневную утреннюю яичницу, зная, что мир полон голодных, или же зная, что все люди в мире по утрам едят совершенно такую же яичницу? И в каком случае она показала бы вам вкуснее?

У мистера Райнда появилась мысль познакомить Лиду с Дашей и посмотреть, что из этого выйдет. Не обнаруживая перед ними этого намерения, он подготовлял их встречу. По его рассказам обе уже хорошо знали друг друга. Свидание же он устроил как бы совершенно случайно.

Они встретились в гостиной мистера Райнда — лицом к лицу — и сразу же узнали друг друга. Обе нерешительно отступили на шаг.

— Познакомьтесь, — сказал мистер Райнд простодушно.

Обе заколебались. Затем Лида, первая, протянула руку. Даша задержалась с ответным жестом. Она сумрачно вглядывалась в Лидино лицо и потом медленно, нехотя, протянула и свою руку.

— Вот вы и познакомились! — обрадовался мистер Райнд. — Будьте друзьями! — Но он первый почувствовал, что голос его прозвучал фальшиво.

XVII

— Дети, споем молитву, — сказала игуменья. Им, пожалуй, более ничего и не оставалось делать, как петь. В монастыре не было пищи, и никто сегодня не ужинал. Игуменья всегда старалась дать религиозное оправдание всякому лишению: последнюю неделю она жила в этом монастыре, перед своей поездкой в другие, основанные ею два монастыря — и вечерами, когда не было ужина, объявляла, что надо попостничать и помолиться, чтобы ее поездка прошла благополучно, а в монастыре, во время ее отсутствия, все жили бы в полном здравии и покое.

— Споем! — сказала она девочкам, толпившимся около нее, и сама запела «О тебе радуется, Благодатная . . .» разбитым тонким, но верным голосом. Девочки подхватили дружным, старательным хором.

Спели.

— Ну, а теперь еще споем, — снова предложила игуменья и запела: «Не имамамы иные помощи, не имамамы иные надежды . . .»

Девочки стояли небольшой стайкой и пели истово и старательно. Неуклюжие, в своих длинных серых платьях и белых платочках, они напоминали стайку птиц, затерянных и жалких. Игуменья пела сидя. Она и молилась теперь иногда сидя. Ее многочисленные и страшные болезни решительно тянули ее к могиле. Чувствуя, что конец приближается, она всё чаще впадала в тяжелую, глубокую задумчивость, как и подбаивает христианину, стоящему одной ногой уже в могиле.

Мать игуменья не отличалась большим умом, к тому же она не получила и хорошего образования. В ней совершенно не было ни гордости, ни лицемерия. Поэтому просто и искренне, с необычайной ясностью, она видела и самоё себя и свои грехи. Грехов было много. Ей казалось, что нет ни заповеди, ни церковного правила, против которых бы она не согрешила, — если не делом, то уж, наверное, либо словом, либо помышлением. Взять, например, пост. Разве не нарущала она постов? Правда, исключительно по болезни. Ну, а что если и болезнь-то посылалась свыше именно для испытания ее твердости в постах? Потворство своим слабостям . . . Вот и сегодня, выпила чашечку чайку до обеда, а пить его надо было п о с л е. Хорош пример для монахинь! Это грехи делом. А словом? Мать игуменья любила поговорить. Знала это, каялась — и всё-таки любила поговорить. Да, а в разговоре как легко сказать лишнее! Обильны, неисчислимы были грехи ее словом. А помышлением? Тут она в сокрушении закрывала глаза и печально качала головой. Темная, темная область — эти человеческие помышления! И откуда только они возникали, и почему? Молиться надо.

Склонив голову, она пела. Ее голос, слабый, но верный, подымался над детскими неуверенными голосами, он вел их.

Спев молитву, девочки перекрестились и стояли в безмолвии, неподвижно, склонив головы. Но из-под платочков кое-кто переглянулся, незаметное волнение прошло между ними, и одна девочка, как очевидно было условлено заранее, выступила вперед и спросила:

— Матушка игуменья, видели ли вы когда Божию Матерь?

— Дважды, — ответила игуменья. Вопрос как будто разбудил ее и перенес из мира скорби и сокрушений в обитель радости. Лицо ее, измученное болезнями, осветилось детской улыбкой.

— Владычицу я видела дважды. В первый раз — была я тогда совсем маленькой девочкой. Привели меня в монастырь, я знала, что навсегда. Оставили в келье одну. Дверь закрыли. Я всего тогда боялась. Стало мне страшно в той келье, и я решила бежать. Я подкралась к двери, открыла ее. И там, за дверью, в светлых одеждах стояла Она... — Игуменья замолкла.

— Что же Она вам сказала, матушка игуменья? — спросила та же девочка.

— Ничего не сказала. — Игуменья как будто бы удивилась вопросу. — Что тут было сказать? Она знала, что тяжкая жизнь ожидала меня в монастыре. Она только посмотрела на меня и засмеялась.

В углу комнаты заскрипел стул. Это был условный знак. предостережение. На стуле сидела мать Таисия. Постоянная готовность игуменьи смеяться была открытой раной в сердце Таисии, сторонницы сурового и скорбного благочестия. По ее мнению, истинному христианину в этом мире не над чем было смеяться. Его удел — слезы. И уж менее всего приличествует смех монахине. Но игуменья, вопреки правилам внешнего благочестия, смеялась часто и, как казалось матери Таисии, всегда там, где совсем не следовало бы. Вот и теперь, описывает видение, а где смысл его, где наставление? Владычица сошла с небес, чтоб засмеяться! Она сердито двигалась на своем стуле, и он скрипел. Игуменья услышала знак. В этот последний период своей жизни она с готовностью признавала свои грехи, не спорила с матерью Таисией, сразу винилась.

— Довольно разговоров на сегодня, — сказала она сурово. — Споем еще одну молитву — и спать.

Кто-то постучал в дверь с обычной молитвой: — «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»...

— Аминь, — сказала игуменья, и дверь отворилась. Молодая монашенка доложила о посетительнице.

Посетителей принимали в монастыре во всякое время дня и ночи. Были такие, кто и приходил мог только скрываясь, ночью: иные из стыда или страха перед людьми, другие — перед самим собою. Верующие коммунисты приходили молиться глубокой ночью. Но сейчас было еще не так поздно, всего девять часов. Посетительница, женщина пожилая, на вид очень утомленная, была одета бедно. В руках у нее был узелок.

Глаза игуменьи с большой живостью остановились на узелке. Она оглядывала его, как бы стараясь проникнуть в тайну его содержимого. Посетительница начала обычный обряд приветствия: сначала крестясь на иконы, потом кланяясь игуменье, начала словесное приветствие. Но игуменья перебила ее:

— А что тут у вас в узелке-то?

Стул закрипел в углу, но игуменья на этот раз была глуха к знакам. Она — весь этот вечер — что бы ни делала, как бы ни молилась, ни пела, как бы ни направляла мысли «горé», — она всем сердцем, всем своим земным телом чувствовала, что дети в монастыре не ели с полудня.

— Тут съестные припасы, — сказала посетительница, видимо обиженная, что ее плавную речь прервали. — Но, прежде всего, я хотела бы вам сказать, я хотела бы вам объяснить . . .

— Потом, потом объясните . . . дайте-ка мне узелок!

Стул закрипел громко, угрожающе, всё подымая тон, но матушка игуменья была, наконец, в своей сфере: она радостно, с ликованием, развязывала узелок, восклицая:

— Боже ты мой! Рис, чаю полфунта, опять же сахар . . . Спаси вас, Господи! Награди и помилуй, Владычица! — Она простерла сухую страшную руку и перекрестила пищу широким крестным знамением: — Завтра утром напоим чаем . . . А тут, еще, в бумажном кулечке? — она развернула его. — Яблоки!

— Яблочки! — хором раздался вздох из группы девочек. Они стояли тесной стайкой, позабытые всеми.

— Яблоки! — еще раз воскликнула игуменья. — Да помянет Господь вашу доброту сию же минуту! Сколько яблок-то?

— Пятнадцать.

— Ребятишки, сколько вас тут? Двенадцать?

Она встала, обратила свое лицо к иконе и несколько мгновений смотрела на нее в молчании. Было это чудо или же просто яблоки? Как понять?! Чувствуя большую усталость, она решила, что просто яблоки. Мысленно поблагодарив Богородицу (Услышала мой вопль!), игуменья обернулась к детям:

— Ну, девочки, вы хорошо молились и пели сегодня — вот вам и ужин! Посмотрите на эти яблочки! Невелики, правда, но какие же кругленькие, спелые, славные. Берите по одному. Ешьте с молитвой! Откусывайте по маленькому кусочку, хорошо прожевывайте. Христос ел яблоки (стул предостерегающе скрипнул). Я думаю, Христос ел бы яблоки . . . фрукты — лучший Божий дар человеку . . .

Отпустив детей с благословением и яблоками, она посмотрела с сожалением на оставшиеся три. Поколебавшись немного, она дала одно яблоко молодой монашке: — Поужинай, сестра Юлиания!

Наконец, она обратилась к посетительнице.

— Что-то вы хотели рассказать? Слушаю.

— Хочу покаяться: грешна лично перед вами.

— Перед мною! Ну, так это какой же грех! Совсем неважно.

— Позвольте всё-таки рассказать: это у меня на душе. В прошлое воскресенье была я здесь, в монастыре, за обедней. Вы вышли на амвон со «словом», и я подумала: «Ну, вот, опять начнет просить! Прямо уж тут и времени на молитву не остается — то проповедь, то с тарелкой ходят. Сосредоточиться невозможно». Потом стало мне стыдно. И вот сегодня, после работы, зашла я в бакалейную лавку, думаю, куплю-ка я им немного еды, вот мое душевное смущение и уляжется. Покупаю, а сама досаду, жалею денег-то. Вот, думаю, дура какая, сама

— нищая, муж-инвалид, его надо лечить, а я туда же, с благотворительностью на монастырь! Думаю так, но покупаю. О вас размышляю. Что ж, думаю, я ведь сама не богаче игуменьи. Одни мы с мужем на свете, нам-то никто не даст, а на монастырь открыто и собирать и просить можно. Где же мой здравый рассудок? Мужу шерстяные носки надо, а я яблоки на монастырь покупаю. Нету что ли людей побогаче? Где они? Почему в монастыре сироты голодные? Но я-то? Люблю я так людей, что ли? Не очень. Давно я в людях разочаровалась. Так зачем я трачу мои гроши? Жалость во мне какая-то к человеку, и ничем ее нельзя никак убить. Вот из-за этого чувства и действую вопреки рассудку. И всегда мне жалко отдавать! . . . — Вдруг она засмеялась. — Когда вы, матушка игуменья, залюбовались яблоками: «круглые, спелые», я, ведь, подумала: «Эх, надо было купить ей не полтора, а два десятка!»

— Ну, мать, в чем же ты каешься? Такие ли грехи бывают! — легко отпустила ей грехи игуменья. Она даже замахала на нее руками. — Тут и рассказывать нечего. А яблочек-то ты донеси, недостающих-то — пяточек. Ну, не к спеху, — заторопилась она, услышав скрип и увидев, что лицо гостьи омрачилось. — Я ведь не из корысти, для тебя это. Тебе подумалось — «два бы десятка» . . . И следуй голосу сердца, и на душе у тебя будет уже совершенно спокойно.

Стул в углу скрипел. Игуменья поняла, что нельзя же так, надо добавить и «духовное», церковное, наставительно-поучительное.

— Иди с миром, дорогая моя! Грех твой, какой и был, то самый житейский. Как же не жалеть денег-то! (стул страшно взвизгнул). Сама ты бедная. Кто пожалеет, как останешься без работы, старая, нищая? Ну, к нам приходи — вместе голодать будем. А за лепту твою спасибо. Много о тебе помолось. И не размышляй много, лучше то помни, что и святые все грешниками довольно-таки были! (стул отчаянно взвизгнул). Я так говорю, — храбрилась игуменья, — что были и они грешниками каждый в свое время, — объяснила она, обращаясь в темный угол, где скрипел стул. — Да и евангельская вдова, как грош отдавала, а на руках голодный ребенок — как было и ей не подумать: «Ну, и дура я!» Из угла поднялась темная фигура и громко заговорила: — Матушка игуменья, уж поздний час! — Но игуменья хотела закончить наставление.

— И дала-таки она свою лепту! Дала! А вот юноша богатый, как пошел раздавать имение нищим, чтоб потом за Христом пойти, как пошел, так всё и ходит. Две тысячи лет скоро, а о нем так-таки ничего и не слышно. Эх, милая, рассудительным людям нету места в христианстве. Верят-то только малые дети, да глупые люди . . . А умные на себя полагают, сами свою жизнь устраивают, независимо.

Мать Таисия стояла уже около игуменьи.

— Простите, матушка игуменья, перебиваю вас, но надо бы распорядиться . . . поздно . . . в кухне ожидает мать Стефания.

— Сейчас, сейчас, — заторопилась игуменья. — Вот только отпущу гостью-благодетельницу . . .

Она смотрела на два последних яблока, и глаза ее выражали колебание, и ей, как видно, жаль было давать. Но она победила себя и, взяв яблоки, подала их гостье:

— Это вам и супругу вашему. Полезны фрукты для здоровья!

— Ну, — обратилась она к матери Таисии, когда гостя ушла, — сколько же народу надо нам завтра кормить?

— Во-первых, вас, матушка игуменья, да сорок монахинь, да пятьдесят девять девочек, ну, и нищие завтра придут — потому праздник — считать надо еще тридцать человек.

— Владычица! Целая армия! А какая у нас есть провизия?

— Никакой нету. — Мать Таисия даже удивилась наивности вопроса. Провизия!

— Что ж, матушка Таисия, при таких-то обстоятельствах и народ считать и провизию — только время терять. Возьми узелок-то и скажи матери-поварихе: рис, чай, сахар — всё завтра и дать на первую же еду.

— Но, матушка игуменья . . .

— Всё и подать . . .

Мать Таисия улыбнулась сардонически и, благословясь, ушла.

Наконец, игуменья осталась одна. Был час ее вечерней молитвы. Предчувствуя близкий конец, она молилась всё с большим сокрушением. Ей надо было собраться с силами и встать. Волнения дня улеглись, от них осталась смертельная усталость. Всё ее тело болело. Она обратилась к образу Христа со словами:

— Ты меня пока не слушай: я постою, да порющу. Слабость человеческая . . . поохаяю над моими болезнями.

Опираясь на палку, она заохала и тяжело поднялась со стула. Боль резнула ее по печени. — А уж ты не могла бы полегче? — с упреком сказала она своей боли. — Змея ты, право, змея! Тешишься над старухой. Эх, и тяжело же мне! Тяжко, тяжело! — Сделав два шага, она крикнула: — Не могу, не могу и не могу! — Слезы брызнули из её глаз, слезы слабости и малодушия. Но она торопилась взять себя в руки. — Сама же сказала: «пока не слушай меня» — вот и маюсь без Божьей помощи. Ну, буду молиться!

Она подошла к углу с иконами. Надо было стать на колени. Теперь для нее это было трудно. Шатаясь, балансируя рукою, опираясь о стенку, она всё же опустилась на колени, и, почувствовав почву, глубоко передохнула. «Иисус Христос!» прошептала она и подняла глаза к образу. Он смотрел на неё с иконы сурово и строго. Лампада слабо освещала обоих.

— Иисус Христос! — произнесла она громко, со скорбью, и опустилась в земном поклоне.

Она лежала перед Ним на полу, — останки человека, — кучка истерченного, истерзанного тела, больных костей, изсохшей кожи, отравленных болезнями органов. Это тело распадалось, в нем не оставалось надежды на жизнь. И из этой темной, умирающей, безобразной оболочки человека она подняла к Нему сияющий, светлый, лучистый взор и вновь, уже радостно, позвала Его к себе:

— Иисус Христос!

Она давно перестала молиться словами молитв. Ей перед концом надо было говорить Ему не общими словами, а о себе лично, «рассчитаться с душою своею».

— Благодарю Тебя, Иисус Христос! Без Тебя куда бы мне пойти

сейчас в такой тоске и болезни — в какую тьму? В какое отчаяние? Куда бы мне было теперь обратиться? А Ты сказал: «Не оставлю вас сиры». И еще сказал: «Прийдите ко Мне все обремененные». Иду, встречай! Скажи и мне в последнюю мою минуту: «Ныне отпускаеши». Твоя раба готова оставить земное рабство... А что не так было мною сделано — прости! Прости меня! Разве кто хочет грешить? Кому хочется быть темным и страшным? Зло много сильнее человека. И я грешила и каюсь...

Тут раздался стук в дверь и голос:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

— Аминь, — сказала игуменья и хотела подняться с колен, но не смогла. Беспомощная, она подползла к стене.

Вошедшая монахиня кинулась ее поднимать. За нею вошла посетительница. При виде ее игуменья забыла о своих болезнях. Лицо вошедшей выражало глубокое горе, почти последнюю степень отчаяния. Она опустилась на стул машинально, прежде чем ей предложили сесть, не ответив даже на приветствие. Она сидела, закрыв глаза, и лицо ее казалось лишенным жизни, темной маской.

Игуменья знала посетительницу только по виду. Это была русская беженка, в прошлом очень богатая. Ей удалось сохранить кое-что из имущества, и она жила в Харбине со своим единственным, уже взрослым, сыном.

Игуменья отослала монашенку. Они остались вдвоем. Посетительница вздохнула, открыла глаза и, глядя на игуменью, заговорила:

— Прихожу к вам в отчаянии. Бывает горе, которым легко делиться, а есть и такое, о котором стыдно сказать. Дело идет о сыне. Был он прекрасным мальчиком. И вот — может вы уже слышали, в городе все говорят — сделался наркоманом. Случилось с ним это, как со многими тут случается. Начал курить. Тут бы мне его остановить, да я — снисходительная мать. Пускай, думаю, он — взрослый. Курят же другие. Табачное дело — в руках японцев. Они подмешивают в табак героин, как теперь доктора наши узнали. Английские папиросы дороги. Курят, что подешевле, японские. Создается привычка. Дальше-больше, а там переходят уж прямо на героин. Город полон наркоманами — всё молодежь! Стал мой сын бледный, раздражительный, невозможный. Но в голову мне не приходило, не догадалась. Начал красть у меня деньги, уносить вещи в ломбард, пропадать стал из дому... Даже, когда всё о нем стало мне ясно, не нашлось у меня характера связать его и насильно увезти в больницу. Я его умоляла, на коленях упрашивала, он плакал, обещал, клялся и начинал снова. Стали мы ссориться. Он бил меня несколько раз, да так безрассудно, чем попало. Боюсь — убить может, так, ведь, пойдет на каторгу — и пропала жизнь. И вспомнила я слова моей покойной матери: «где ничто не помогает, поможет молитва, просящему Господь указывает путь». И вот я пришла к вам, — и посетительница заплакала.

— Хорошо сделали! — деловито одобрила игуменья. — Тут надо, ох, как тут надо молиться! Хороший такой, говорите, был мальчик — и вот убивает мать! Будем молиться и день и ночь, без перерыва, шесть дней. Как христианское имя сыночка?

— Симеон.

— Симеон! Имя-то какое чудесное! Значит: «услышан», то есть Богом услышан, молитва услышана. Ишь, ведь, как дело-то хорошо начинается! Шесть дней пройдет, приходите, молебен отслужим. Бог нам откроет, где спасение. Для веры у Бога нет отказа. Уж мне поверьте: я тут пятьдесят лет наблюдаю...

Дама поднялась. Выражение лица ее переменялось. Казалось, она успокоилась, словно сын ее уже был спасен. Как во сне, она пошла к двери, но, вдруг вспомнив, открыла сумку, вынула конверт и подала игуменью.

— Это — на нужды монастыря.

— Дорогая, — сказала игуменья, — как ни бедны мы, но молитесь — такое же горе у вас! — можем и даром. А ну, как эти деньги у вас последние...

— Нет, не последние. Я, конечно, не богата, но эту сумму даю вам свободно. И прошу взять. Мне надо чувствовать, что и я делаю для него что-то.

— Ну, в таком разве случае!.. — радостно воскликнула игуменья, — в таком-то случае, — возьмем! И иди, голубушка, с миром! День и ночь будем молиться. А Господь — всемогущ, да и милостив — будет твой сын здоров!

Игуменья говорила с уверенностью. Иногда с нею случалось, что она знала будущее.

Оставшись одна, она положила нераспечатанный конверт перед иконой, решив прежде помолиться, — «за раба Твоего, юношу Симеона», а потом уже взять деньги. Однако мысли ее всё возвращались к конверту: сколько же там могло быть? Но акафист она прочла добросовестно, честно. Да и молиться, зная о конверте, было радостнее и легче. «Уж, наверное, не менее десяти, а то и двадцати долларов».

Наконец она открыла конверт: там было триста долларов. Три асигнации по сто долларов каждая. Не находя слов, она только взглянула на икону и перекрестилась.

Оставалось последнее — заключение ее дня. Она перед сном обходила сама весь свой монастырь, церковь и общежитие.

Комнаты, где спали дети, были тесные, душные, воздух был почти невыносимый. Детские легкие отравлялись тут на всю жизнь. Не лучше были и кельи монахинь. Бедность! Но в каждой комнате была икона и лампада. Перед иконой стояла монахиня на очередной молитве. Эта одинокая лампада искрилась и сияла, и ее слабый мерцающий свет примирял со всем остальным.

Игуменья медленно проходила по комнатам, осеняя спящих крестным знаменем. Всё было тихо, веяло от всего покорностью и покоем. Игуменья прошла в церковь. В алтаре сияли «неугасимые». Четыре монахини молились на коленях: это была ночная постоянная молитва о России. Всё было в порядке. Игуменья возвратилась в свою келью и снова стала молиться о юноше Симеоне.

В полночь к ней пришла мать Серафима. Ее игуменья особенно любила, так как, вопреки всем лишениям и тяготам монастырской жизни, мать Серафима была румяна, здорова, весела и оживленно радостна. «Хоть людям можно показать!» говорила о ней игуменья.

Этот визит тоже относился к порядку дня: в полночь они вместе

читали полунощницу. Сегодня игуменья обсудила с ней, как организовать непрерывную молитву за юношу Симеона, кого и когда ставить на молитву. Мать Серафима решила, что час поздний, не стоит никого будить. На молитву она станет сама, а в шесть часов утра матушка игуменья пошлет ей смену.

Наконец день был закончен. Весь труд выполнен. Мать игуменья, перекрестившись, легла на свою узенькую, железную кровать и сейчас же заснула спокойным, ангельским сном.

XVIII

Утро в монастыре началось шумом в одной из детских комнат. «Грешница» Вера была и причиной шума и его жертвой. Ее так и называли все «грешницей» Верой, потому что она упорствовала в одном тяжком грехе: Вера была лгуньей. Уличенная публично во лжи, она обычно смотрела на всех широко открытыми, испуганными глазами, потому что сама не замечала, как, покинув правду, уносились в царство фантазии. Она охотно, сердечно каялась, обещала навсегда исправиться. Но стоило ей начать рассказывать, — а рассказывать она любила, — стоило только войти во вкус, увлекая всех за собою, как вдруг раздавался чей-нибудь голос:

— Неправда! Ты врешь!

И подруги тащили «грешницу» Веру на суд к высшим инстанциям монастыря. За нею следовали добровольные свидетели для дачи показаний. Все эти девочки, только что бывшие под очарованием ее фантазии, превращались в благочестивых детей, полных справедливого негодования. Обычным судьей тяжких преступлений была сама игуменья. Иногда Веру вели на исповедь к отцу Луке, который отпускал грехи всем в монастыре. Но, к удивлению одних и негодованию других, обе инстанции, казалось, питали особую симпатию к Вере. От них она возвращалась улыбающаяся и счастливая. Поэтому особенно усердные преследовательницы «грешницы» старались направить ее к матери Таисии, из чьей кельи она возвращалась поникшая, дрожащая и в слезах.

Еще накануне, проходя мимо одной из детских комнат, мать Таисия услышала вдохновенный голос Веры, вспоминающей о своем раннем детстве в отчем доме.

— И каждый вечер, как только, бывало, лягу я в свою кроватку, на круглую, на пуховую подушечку, как укурюсь шелковым одеяльцем, то и притворюсь, что уже заснула. Но один глаз оставляю чуточку открытым, и вижу — отворяется дверь, тихонько, без шума, и входит мой Ангел-Хранитель и становится у изголовья с мечом — на часах! И стоит, и стоит, а я подсматриваю.

— А какой он из себя?

— Хорошенький такой молодой мальчик, постарше меня, как я сейчас. А крылья у него, как рамочка, по бокам. Из перьев. Но перья не те, что на птицах. Перья другие, не настоящие. Мягкие и такие легкие, что от них льется свет.

— Свет?

— Ну не такой, как от свечки. Светлее и бледнее, и хоть теплый, но сжечь не может, только чуть-чуть освещает.

— А ты с ним разговаривала?

— Разговаривала. Только говорит он лишь по большим праздникам, да и то когда уже поздняя ночь, и никто совсем не услышит.

— Ты его спросила, как у них на небесах?

— Как же! У каждой, — говорит, — там девочки своя отдельная комнатка, и разные птицы к ним залетают, чтобы петь вместе. В саду — качели. Платья у всех цветные. Постов нет. Работать никто не работает, только отдыхают весь день. А пицца — сколько хочешь — всё самое вкусное, по выбору, и никто не останавливает. Замечаний ни от кого нету. Богу никто не молится, и церковей нет. Никто ничем не болеет. Елка — круглый год, так и стоит в углу, только игрушки каждый день меняют. Елку наряжают ангелы. И на кухне тоже, где пицца готовится, — ангелы.

Тут мать Таисия переступила порог детской комнаты и кратко распорядилась, чтоб Вера немедленно отправлялась в церковь, на исповедь к отцу Луке, и рассказала бы ему дословно эту же историю. А завтра она сама поведет Веру к обедне и поставит от всех отдельно, где ставили кающихся, — у всех на виду.

Сегодня утром она шла за Верой и уже издали услышала ее вдохновенный голос:

— Почему Бог не помогает голодным, раз они молятся? Да Он не может. Бог сам бедный-пребедный. У Него сначала всё же кое-что было, но люди просили, просили, а Он давал да давал — ну и раздал всё до ниточки. И Христа Его распяли, а детей у Него больше нету. И уж теперь Он старый. Жалко Его как!

— А чьи же все вещи и деньги, дома?

— Чьи? Народа. Ведь не бывает: ничей дом.

— А почему этих вещей Бог не отнимет у них и не раздаст.

— Да ведь Он — Бог. Братъ чужие вещи — грех...

Тут мать Таисия вошла в комнату. Крепко взяв дрожавшую Верину руку в свою, она уже была готова начать опрос свидетельниц и назначить для Веры новую расправу. До ранней обедни оставалось минут десять — достаточно для разбора дела. Но тут вошла игуменья и после обычного приветствия объявила:

— Дети, вы усердно постничали вчера, и за это сегодня вам послабление: не пойдете к ранней обедне. Сейчас вы будете завтракать кашкой, милые! А после постоите у поздней обедни. Идите с Богом! Мать Стефания ждет вас. Кашка готова!

Есть до обедни было нарушением правил. Лицо матери Таисии потемнело. Она на минуту позабыла даже о Вере, хотя и держала, крепко стиснув в своих, ее маленькую руку.

— Вера! — воскликнула игуменья, увидев ее. — Что случилось?

— Обычная история, — ответила за нее мать Таисия. — Рассказывает девочкам ложные, неподходящие для монастыря истории.

— Ах, — вздохнула игуменья, — давайте отпустим и простим ее на этот раз. Очень я устала. Да и не хочется наказывать в праздник. Отпустите ее руку. Беги, Вера!

Девочка рванулась от матери Таисии и побежала из комнаты, спотыкаясь в своем длинном, до пола, платье.

— Простите меня, матушка-игуменья, — заговорила мать Таисия, — но где-то должна быть этому граница. Вера — закоренелая лгунья. Она плохо влияет на других девочек: она растет, ее рассказы принимают такой характер...

— Знаю, всё знаю. Но как вспомню, что эта Вера своими глазами видела, как убивали ее родителей, как вспомню это — не подымается моя рука ее наказывать.

— Но при чем тут ее лживость, если родителей убили? Одно другого не касается.

— Касается, матушка, касается. Ребенок напуган жизнью, вот и приукрашивает всё, чтоб было получше, полегче, не так уж страшно. Но где ж; как не в фантазии, и найдет человек лучшее?

— Пусть так. Но нам надо обратить это её вдохновение, что ли, на религиозный сюжет. Тут ведь — монастырь. Она — послушница. Как же мы допускаем и прощаем такую лживость?

— Да что нам суетиться, наказывать! Придет час суда, Господь разберет всех да и простит всех и за всё, нашего совета не спросит.

— Что? — в негодовании воскликнула мать Таисия. Но игуменья, не отвечая ей, вышла из комнаты.

Поздняя обедня в монастыре совершалась торжественно и продолжалась долго.

Девочки стояли впереди, рядами. Они привыкли к долгим стояниям. Поведение их было безукоризненно, хотя стоять было не легко. Общим горем их и матери-игуменьи была обувь. Шутка ли, для одних только девочек требовалось пятьдесят девять пар! У монастыря не было средств, чтоб покупать новые ботинки. Обычно собирали поношенные среди прихожан, и потом подыскивали подходящую ногу. Но редко ноги и ботинки были созданы друг для друга. Ноги болели у всех в монастыре. Но длинные платья, касавшиеся пола, скрывали обувь от посторонних глаз. А боль все умели переносить в монастыре молча, — и физическую и духовную. Все пятьдесят девять девочек были крупными сиротами, почти то же можно было сказать и о монахинях.

Одетые в черное монахини заполняли левую часть храма. Игуменья стояла у чудотворной иконы монастыря. В праздники церковь бывала переполнена молящимися, стояли даже на ступеньках входа и в палисаднике. Семья Платовых, госпожа Мануйлова, Лида — все пришли к обедне.

В праздники, после поздней обедни, обед подавался в трех монастырских столовых. В первой, куда приглашались посторонние, бывшие за обедней, председательствовала сама игуменья. Во второй столовой ели монахини и дети монастыря. В третьей — кормили нищих. Обед состоял обычно из горячего чая и того, чем монастырь обладал и из чего мог приготовить в тот день. Часто этот обед и ограничивался чаем с куском хлеба. Иногда прихожане присылали продукты для стола накануне, иногда приносили с собой в церковь для раздачи. Но все хлопоты по сбору провизии, приготовлению пищи, накрыванию столов, подачи обеда, затем уборки посуды и комнат, делали праздни-

ные дни тяжким физическим испытанием для монахинь, которые, к тому же, были и так изнурены и слабосильны.

Сегодня почетным гостем был профессор Волошин. Игуменья, увидав его в церкви, лично приветствовала его и пригласила к столу. Его почитали за самого выдающегося христианского философа в местных краях, и присутствующие предвкушали интересную беседу. Мать Таисия, в чьих мыслях всё еще держалось утреннее происшествие, обратилась к нему с речью:

— Уважаемый профессор, как известно всем чтущим Священное Писание, в нем определенно указывается и с подробностями повествуется о том, что праведников ожидает рай, а грешников — геена огненная. Однако же находят некоторые среди верующих, кто склоняется к иной мысли, полагая, что Господь всех простит. Такое отрицание Ада и наказания за грехи повергает в смущение. Прошу вас объяснить мне, есть ли для сей последней мысли указания в Священном Писании?

Профессор Волошин ответил: — Конечное решение судеб мира и людей остается тайной, но человеческое сердце всё более склоняется к мысли о всепрощении. Думаю, эта мысль — ответ Божественного решения, и присоединяюсь к молитве об этом и к этой надежде.

Неприятно удивленная подобным ответом, но не смея выразить своего неудовольствия, мать Таисия обратилась к монастырскому священнику:

— А вы, отец Лука, как полагаете об этом?

Отец Лука принял священнический сан не так давно. Решение это явилось результатом его переживаний во время революции и гражданской войны. Рожден он был в богатой дворянской семье, учился в военном училище. Женился счастливо, по любви. Была у него дочь. Жили они в полном благополучии, и никто в семье не отличался особой религиозностью, скорее, наоборот: исполняя обряды, подсмеивались над обрядами и духовенством. Затем революция, гражданская война и беженство разрушили всё это благополучие. Но и тогда о Боге не думалось. Национальные и личные несчастья, желание вернуть всё обратно, восстановить прежнее — наполняли всю жизнь, для размышлений иного порядка, казалось, не было места. Но потом случилось нечто, что сразу изменило этого человека, заставив его бросить всё и погрузиться в духовную жизнь.

Спрошенный матерью Таисией, он поднял к ней свое склоненное до этого лицо и ответил:

— Господь любит человека. Он простит его.

— Но как же? Как же? — заволновался кое-кто из старых монахинь, словно у них отнимали что-то. Это были люди того старого склада, в котором не возникало сомнений о самой необходимости ада. Среди же более молодых, наглядевшихся на ужасы, следовавшие в России за революцией, на непомерные, невероятные человеческие страдания, появилась и всё возрастала уверенность, что Господь не станет налагать казней. Получался один из психологических парадоксов: благополучные люди веровали в ад, а очень много страдавшие прощали всем и отвергали его.

— Почему же простит? — посыпались вопросы.

— Потому что, — начал отец Лука и на мгновение опустил голову, прикрыв глаза. Лица его не было видно. — Потому что...

Внутренним взором, как при свете молнии, он увидел снова тот день, который сделал для него неприемлемой мысль о наказании. Тогда он был не отец Лука, а капитан Карпов. Он увидел себя лежащим на полу в грязной и дымной юрте бурята. Белая армия была разбита. Остатки ее оставили город после боя в беспорядке. Он прятался в этой юрте. В городе у него остались жена и дочь. А через реку, в ясном морозном воздухе, вдали виднелся город. Что там теперь происходило? Ночью из города пробрался бурят и рассказал, что видел. Он видел, как веди на расстрел, с другими, и жену и дочь капитана Карпова. Девочка понимала, боялась, хваталась за мать, кричала и плакала. Всех расстреляли. Потом снимали с них верхнюю одежду — уже наступили холода, а бедность везде была страшная — и поделили между собою.

— Кто расстреливал? — спросил капитан Карпов, вставая. Он взял свой наган, сосчитал пули. Имена и где кто жил, запомнил хорошо. Шел двенадцать часов, не замечая времени. Он шел мстить.

В город он проник незамеченным. Он даже подошел к избе, где жил один из убийц, рабочий со своей семьей. Вокруг было пустынно. На заваленке избы сидело дитя, девочка, много моложе его дочки. Она сидела скорчившись, и он видел ее со спины. На ней было серое пальто с вышивкой, и он узнал пальто своей убитой девочки. На пальто были темные засохшие пятна, повидимому, крови, то есть, крови его ребенка! В злобной радости, в восторге, что нашел врага, он сжал револьвер в руке, целя в голову. В этот момент девочка обернулась. Он увидел испитое, жалкое лицо больного ребенка.

Он бросил револьвер. Жизнь его переменялась. Мстить? Кому? За что? Он понял, что корни зла глубоко уходят в прошлое, где все они переплетены, что все виновны, и единственный выход — простить. Он стал священником. Помня имена убийц, ежедневно молился о них. И когда ему приходилось в церкви читать... «и о ризах Его меташа жребий» — он видел серое пальто — и снова и снова прощал.

Это всё было видением, пронесшимся перед его духовным взором. И отец Лука еще раз ответил матери Таисии:

— Полагаю, Господь простит всех. Если человек находит силы прощать и молиться за врагов, такая молитва получит исполнение.

— Но как же грешники? О них сказано...

— Это мы и есть грешники, о коих сказано... Но кто же из нас — грешников — отчаивается в прощении?..

В конце стола зашептались старушки.

— И хороший священник, а поди ж ты! Сказано «скрежет зубовный» — кто же будет скрежетать, если всех простят? Эти новые священники, из светских, не доведут людей до добра!

— Да что вам-то, матери, жалко что ли, если грешников Господь простит? — заговорила игуменья. — Разве не молимся мы о том ежедневно в запрестольной молитве: «Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди». Сами молитесь, а потом удивляетесь о своей же молитве!

Из молодых одна Лида заинтересовалась темой. Она слушала, очевидно, волнуясь. Затем, вспыхнув, застенчиво, но горячо стала на сторону отца Луки, сказав, что Христос «не вытерпит» и простит всех, как простил на кресте. Увидев, что она не сумела высказать своей мысли, она заторопилась, попрощалась и ушла.

Игуменья долго смотрела ей вслед, потом сказала:

— Эта девочка Богом хранима. Охраняет ее невидимая рука. Под пулями пройдет невредимо. Кто-то молится о ней на том свете...

— Пророчествует матушка-игуменья, — зашептались, заволновались старушки. — Слушайте, замечайте!

Но игуменья замолкла. Любопытство не было удовлетворено.

— Что ж, матушка-игуменья, — осмелилась одна, — вы девице этой особое счастье предвидите в жизни? Какое же? Судьбу необыкновенную? Славу? Богатство?

— Какое там счастье! — отмахнулась от них игуменья. — Да я не о том совсем говорю. Какое же счастье на земле возможно нынче? Я говорю, защищена она невидимой рукою от порока, зло не найдет к ней пути.

— А что же всё-таки вы ей предвидите, матушка? — не унимались старушки.

— Я ей продвижу чистую жизнь, добрую и христианскую. И она понесет тяжелую ношу, как полагается, по несовершенству человеческой природы: бедность, болезни, слезы, сокрушение — всё, как полагается. Но от злого духа не возьмет ничего: зависть, злоба, отчаяние, сумасшествие, самоубийство — это ее не коснется.

Наконец гости разошлись. Монахини бесшумно прибирали столы. Дети отдохали. В монастыре воцарилась тишина: в этот час не полагалось разговаривать. И матушка-игуменья собиралась было прилечь на минутку: в этот час, в праздник, разрешалось. Но вдруг она услышала грубый окрик, и затем где-то громко захлопнулась дверь. Хлопать дверьми в монастыре — нарушение устава. Она двинулась на место происшествия навести порядок. Пожилая усталая монахиня была в коридоре.

— Что случилось? — сурово окликнула игуменья. — Это ты громыхаешь дверью?

— Матушка-игуменья, каюсь, захлопнула дверь. Сил моих нет: мало народу было сегодня? Мало кормили нищих? Так вот только прибрались — лезет еще один, в неусловленный час. Есть просит!

— Где он сейчас?

— Я его прогнала.

— Не накормив?

Монахиня низко опустила голову и молчала.

— А ты не подумала... может, это был сам Иисус Христос... в образе нищего...

Монахиня как-то всхлипнула.

— Беги! — крикнула игуменья. — Беги на улицу! Смотри! Найди и проси сюда.

Монашенка бросилась вон искать нищего. Вскоре она вернулась.

— Пуста улица. Ну ни души нигде не видно. Исчез.

— Гм... — сказала игуменья.

XIX

— Зачем он пришел? — в недоумении задавал себе вопрос мистер Райнд, глядя на гостя. Это был профессор Кременец. Казалось, им нечего было сказать друг другу, и начало визита проходило в молчании, которое, очевидно, нисколько не стесняло гостя. В том же грязном, поношенном костюме, он непринужденно сидел в кресле, с удовольствием курил сигару, предложенную мистером Райндом. Сигара была хорошая. Гость наслаждался ею. Его глаза были полузакрыты и он, казалось, даже мурлыкал от удовольствия.

— Может быть, он голоден, — размышлял мистер Райнд. — Я мог бы предложить ему пообедать. Но как явиться с ним в ресторан отеля? Его могут просто не впустить в таком виде. Просить подать нам обед сюда, что ли? . .

— «Пиковая Дама» — самая популярная из опер Чайковского, по крайней мере, в России, — неожиданно сказал гость и еще неожиданнее для мистера Райнда добавил: — Могу я попросить вас одолжить мне вашу иголку?

— Иголку?! Какого рода иголку?

— Иглу для шитья. Я бы хотел пришить мой рукав. Он почти совсем оторвался.

— Боюсь, что у меня нет иглы, я не шью сам, — ответил мистер Райнд, стараясь не выразить голлссом своего изумления.

— Так не разрешите ли вы мне позвонить и одолжить иглу у прислуги?

— Пожалуйста.

— Бой, — сказал профессор Кременец вошедшему слуге, — мне нужна игла и черная нитка, покрепче, чтоб вшить этот рукав. -- Со слугой он говорил по-китайски, что, конечно, последнему было очень приятно. И слуга ответил почтительно:

— Могу я предложить мои скромные услуги, чтобы исправить рукав вашего почтенного пиджака?

— Благодарю вас, — ответил в той же учливой манере профессор, — но у меня много свободного времени, тогда как вы, несомненно, переобременены работой.

Получив иглу и нитки, гость очень любезно попросил у хозяина разрешения снять пиджак и произвести починку в его присутствии. Получив разрешение, он деловито осмотрел рукав и погрузился в работу. Воцарилось молчание.

— Были ли вы когда-нибудь в Америке? — спросил мистер Райнд, чтобы прервать тяготившее его молчание.

— Как же, несколько раз, — ответил гость, вынимая большую черную пуговицу из кармана и исследуя на пиджаке место, откуда она оторвалась.

— Были ли вы когда-нибудь в Нью-Йорке?

— Как же, три раза! — и он занялся вдергиванием нитки в ушко иголки.

— Как вам нравится Нью-Йорк?

— Не нравится совсем. Старомодный город.

— Что? — воскликнул оскорбленный хозяин.

— Старомодный город, — произнес профессор громче.

— Что вы хотите этим сказать?

— Город, который не следует за последними тенденциями науки и требованиями жизни. — И он старательно — за отсутствием ножниц — откусил нитку, а затем, ловко скрутив на конце ее узелок, залюбовался им. — Отсталый город.

— Да? — сардонически спросил хозяин, оглянув гостя, его наряд, и усмехнувшись: — На чем же вы обосновываете ваше мнение? — И добавил, явно обиженный: — Я родился в Нью-Йорке.

— О, если вы родились в Нью-Йорке, я могу взять мои слова обратно.

— Наоборот, — обижался хозяин всё больше, — вы мне окажете услугу, если объясните, на чём основано ваше мнение.

— Если хотите. Какая сторона вопроса вас более интересует?

— Вы изволили заметить: в научном отношении.

— Да. В биологическом. Подобные города способствуют дегенерации человеческого типа. Это уже научный факт. Психологически — они развивают жадность, зависть, ненависть. Экономически — они приносят дефицит стране, если принять во внимание содержание чиновников, полиции, тюрем, домов для умалишенных, приютов, больниц. Гигиенически — продолжительное пребывание в таком городе — угроза здоровью, прежде всего, нервной системе, — и он замолчал, пробуя, насколько крепко пришита пуговица.

— Хотите ли вы еще что-нибудь добавить?

— Если хотите. Такие города понижают уровень культуры: они вредны для талантов, невозможны для спокойной творческой работы вообще; они развращают простых и честных людей.

— И еще что-нибудь?

— Такой город — за исключением немногих кварталов — уродлив, безобразен, грязен. Он оскорбляет глаз. Он также вульгаризирует язык. Во время войны — это самое опасное место для населения.

Помолчали.

— Хотели бы вы еще что-либо услышать? — любезно осведомился профессор.

— Нет, благодарю вас, — сумрачно ответил хозяин.

— Не за что, — слегка поклонился гость. Шитье было закончено. Он с удовольствием встряхнул свой пиджак и затем надел на себя, проговорив:

— Теперь ничего нельзя возразить против моего костюма: я иду сегодня в оперу. — Затем он встал, любезно поклонился мистеру Райнду и спросил:

— Могу я иметь удовольствие — пригласить вас быть моим гостем и пообедать со мною сегодня здесь в ресторане?

— О... — замаялся мистер Райнд, — я также иду с моими друзьями сегодня в оперу.

— Но обедаете вы одни?

Ничего больше не оставалось, как принять приглашение.

Вопреки его опасениям, появление профессора в зале ресторана не удивило никого. Более того, с ним раскланивались, его приветствовали знакомые, и в их обращении с ним чувствовалось уважение. Прислуга

тоже, как видно, его знала и оказывала ему бóльшее внимание, чем остальным. Это был Китай, а в Китае ученому всегда оказывается почтение, как бы бедно он ни был одет. И для русских репутация ученого имеет бóльший вес, чем деньги или высокое служебное положение.

Обед прошел чрезвычайно приятно. Профессор был оживлен, внимателен, учтив и остроумен. Выпив вина, он стал сантиментален и перешел на личные темы.

— Природа расточительна, — говорил он. — Всюду у нее переизобилие. Но каково это для человека! Все билеты розданы, все роли распределены, и остаются те, кому нет места даже среди зрителей. Я принадлежу к этому классу. Седьмой ребенок моих родителей, третий муж моей жены, второй отчим ее сына. Специалист по наукам, названия которых даже неизвестны широкой публике. Знаток языков, на которых неизвестно кто говорил тысячелетия тому назад. Всюду обошлось бы и без меня. Я не понял этого сразу и в молодости приобрел, было, привычку оглядываться кругом — не освободилось ли где место. Увы, безуспешно! — и он замолчал.

Мистер Райнд вздохнул из сочувствия. Он думал, что пауза являлась подходящим моментом для выражения соболезнования по поводу судьбы собеседника, но не находил подходящих слов. А между тем профессор просиял лицом и сообщил:

— Отсюда то счастливое состояние духа, которое теперь сделалось для меня обычным. Мистер Райнд, вы видите перед собой совершенно счастливого человека! Я потерял родину, общественное положение, родных, друзей, рукописи моих работ, все имущество — и с ними всякую ответственность. Я приобрел этим полную свободу. Я, мистер Райнд, наслаждаюсь жизнью, каждым ее мгновением. Будучи уже не призывного возраста, я не вызывал к себе интереса тех, кто набирает армии. Никем не призванный к несению обязанностей, я не заинтересован лично в исходах политических столкновений.

Мистер Райнд подумал, что профессор, вероятно, подшучивает над ним.

— Но, позвольте, — сказал он, — помимо политических задач, есть и другие. Вас не привлекает общественная работа гуманного порядка, миссионерство, благотворительность?

— По точному подсчёту сейчас действует в мире девять миллионов организаций, обществ и групп религиозно-гуманно-благотворительного характера. Боюсь, что и там уже обойдутся без меня.

Подали кофе. Выпив чашку с большим удовольствием, профессор, повидимому, счел нужным как-то извиниться за свое необычайное счастье.

— Я не всегда был так счастлив, конечно. Я долго работал над собою. Я сам создал себя и затем выпустил на свободу.

Мистер Райнд подарил его каким-то нерешительным взглядом, не сказав ничего.

— Гигантский труд! — убеждал его профессор. — Отделиться от человечества, уничтожить в себе раба и научиться радоваться каждому мгновению жизни.

(Окончание следует)

Лагерные стихи

Т Е Б Е

Когда я буду умирать,
Тебе — последний вздох и слово.
Пока я жив — молчи, не трать
Сокровищ сердца для чужого!

Не надо их добра и зла.
Ни ласки их, ни беззаконий.
Я больше не хочу тепла,
Чем ты хранишь в своей ладони.

Ни горьких слов, ни нежных слов
Я говорить чужим не буду.
И тот не знает про любовь,
Кто расточал ее повсюду.

И ненависть тому чужда,
Кто пил ее из каждой лужи,
Как конь, сорвавший удила,
Или невольник неуклюжий.

Но если я приду домой,
Как зверь, ушедший от погони,
Без слов — в молчаньи — головой
Я припаду к твоей ладони.

И если есть бесслёзный плач,
Ты всё поймешь в минуту встречи,
Смотря на согнутые плечи,
Где знак поставил мне палач.

ЗИМОЙ В БАРАКЕ АТП

Сосед случайный, я уйду
 Из горизонта твоего.
 Верь, в наступающем году
 Не обойдут нас никого.
 Придет и наш конец страданий.
 В каком раю или аду? —
 О том не думаю заранее.

Я думаю о том, сосед,
 Что не вернуть нам этих лет,
 И каждый год идет бесследно,
 И не узнаем никогда,
 Как много в жизни нашей бедной
 Было сердечного труда
 И кладов мысли заповедной
 Под маской холода и льда.

И думаю о том, сосед,
 Что эти строки холодны,
 Как зов неузнанного брата:
 На языке чужой страны
 Чужая горесть и утрата.
 Но тянет нас по временам
 Дать волю сердцу — выход снам.

Зимой в бараке АТП
 Случайно встреченный в толпе
 Товарищ лагерной недоли! —
 Есть на земле и рай и ад, —
 Об этом годы говорят,
 В тоске прожитые и боли,
 И слово «д р у г» и слово «б р а т»,
 И нас враги не побороли.

Так пусть же хоть из этих слов
 К тебе прорвется дальний зов
 На память дружбы безымянной, —
 Как в ночь полярных холодов
 Доходит с южных берегов
 Привет по радио неожиданный.

ДОРОГА В КАРГОПОЛЬ

Вор смотрел немигающим взглядом
 На худые пожитки мои,
 А убийца, зевая, лег рядом
 Толковать о продажной любви.

Дождь сочился сквозь крышу сарая,
Где легли голова к голове, —
И всю ночь пролежал до утра я
В лихорадке на мокрой листве.

Снились мне поезда и свобода,
Средиземный простор голубой.
На рассвете стоял я у входа
В белый дом, где мы жили с тобой.

Но рука моя долго медлила
Постучать у закрытой двери,
Точно вражья свинцовая сила
Уцепилась за полы мои.

Выдь навстречу, пока еще время.
Помоги, оттяни за порог!
Видишь, плечи согнуло мне бремя,
Ноги в ранах от русских дорог.

Исходил я широко Рассею,
Но последний тяжел переход.
И открыть я дверей — не успею.
На рассвете бригада идет.

«П о д ы м а й с я»! — За хриплой командой
Подымайся и стройся в ряды.
Пайка хлеба и миска с баландой
И — поход до вечерней звезды.

О романе Дудинцева «Не хлебом единым»

Иди спокойно

в Новую Неделю
и покажи, чем ты живешь на деле,
и день твой будет

будущим оправдан!
(«Семь дней недели». С. Кирсанов).

«— Ты путаешь. Базис — это отношения между людьми по поводу вещей, а не самые вещи, — однажды не очень смело сказала ему Надя...

Леонид Иванович перечитал ту страницу, где было сказано о базисе, и повторил:

— Я произвожу вещи, по поводу которых люди будут вступать в отношения. Были бы вещи, а уж кому вступать по поводу их... в отношения, — он засмеялся, — за этим дело не станет!»

Так беседуют супруги Дроздовы в романе В. Дудинцева «Не хлебом единым». Весь роман, в основном, и соткан из отношений, которые возникли по поводу вещей, собственно, одной вещи: машины для центробежной отливки канализационных труб при безжелобной заливке металла. Вся разница с толкованием «Краткого курса» состоит в том, что отношения по поводу этой вещи создались задолго до ее появления на свет. Да и появляется она в значительной степени в результате отношений, создавшихся по поводу ее идеи.

Центральный персонаж романа, Д. А. Лопаткин, был когда-то слесарем, потом окончил вуз и сделался учителем физики в средней школе при сибирском заводе в Музге. Однажды ему пришла в голову счастливая идея новой машины. Лопаткин делает соответствующую заявку и пытается «протолкнуть» свое изобретение. Его вызывают в центр. Лопаткин бросает школу, едет, но... только для того, чтобы испытать свое первое разочарование: очень скоро ему объявляют, что средств для постройки его машины нет. Лопаткин едет обратно в Музгу, но в школу не возвращается. Он поселяется в хибарке у рабочего Саянова, крепко поверившего в талант Лопаткина, в достоинство и полезность его машины. Саянов не отличается здоровьем, мало вырабатывает на заводе и поддерживает себя и семью собственным маленьким хозяйством: коровой и картофельным полем. Лопаткин помогает в домашнем хозяйстве и упорно продолжает работать над своим проектом, пишет во все учреждения, вплоть до министерств, но отовсюду получает ответ, что машина его «сложна и громоздка». Его все крутом считают «чудаком», и только Саянов, да влюбленная в него учительница, достающая ему «по благу»

листы ватманской бумаги, слепо верят в будущность изобретения и изобретателя.

Вскоре выясняется основная причина прошлых и будущих неудач Лопаткина. Оказывается, что «окопавшийся» в одном из центральных научных учреждений профессор Авдиев сам проектирует машину того же назначения, что и изобретение Лопаткина. Однако, засевшие в «научной крепости» ученые, любят «вежливо ломать хребты» изобретателям. Они заботятся о создании для себя полного «алиби» в делах провала машин своих конкурентов. Их поведение зависит в значительной мере от характера изобретателя: чем он настойчивей и неутомимей, тем бдительнее нужно не упускать его из вида и, с другой стороны, тем искусней создавать впечатление, что они, ученые, всё сделали для того, чтобы изобретение было беспристрастно обследовано и оценено.

Поэтому постройка авдиевской машины поручена именно тому заводу, в поселке которого проживает Лопаткин; этим предупреждается всякая возможность содействия Лопаткину со стороны директора завода, Л. И. Дроздова. Наверху хорошо знают Дроздова, знают его принцип, что: «не надо, даже невольно, становиться на пути авторитетных людей».

Дроздов — личность незаурядная. В нем много «силы продвижения» и силы «толкания»; он энергичен и распорядителен, работает по двадцать часов в сутки. При всем том, работа у него неразрывно связана с его служебным «восхождением». В эпоху и после освобождения крестьян из таких выходили те мужички (настоящие кулаки), которые не довольствовались доходом со своей братии, а пускали «по миру» и самого барина и бесцеремонно вселялись на правах хозяина в барскую усадьбу. «Материальная заинтересованность», в сущности, принята официальной советской мыслью, как нечто положительное. Но вот как с заинтересованностью «карьерной»? Увы! Эта заинтересованность, как правило, связана не только с «приобретением» чего-то, но и с «уничтожением» конкурентов, с двоедушностью, с уступчивостью порокам «вышестоящих», с равнодушием к ущербу для общества и государства. Всем этим Дроздов был грешен сознательно, настолько, что для «коммунизма» считал себя непригодным: «В коммунизм мне, конечно, дороги нет. Я весь оброс, на мне чешуя, ракушки. Но как строитель коммунизма я приемлем, я на — высоте». Как представляет себе коммунизм Дроздов, трудно вообразить, но, видимо, и в его представлении коммунизм мало похож на советский «социализм» и на всё то, чем этот социализм обещает быть.

Молоденькая учительница Надя была когда-то втайне влюблена в своего коллегу Лопаткина, ставшего потом изобретателем роковой машины, но «устыдилась» этой любви к «чудаку». Ей показалось, что своего «сибирского» героя она обрела в Дроздове, и она сделалась его женой. Это был брак по своеобразному расчету, не материальному, конечно, ибо Надя — бессеребrenница. Дело шло о том, чтобы не продешевить себя в смысле личной ценности будущего супруга, — и как почти всякий брак по расчету, оказался ошибкой и этот. Надя сначала «испугалась» жуткой для нее логики Дроздова, а потом наступило и полное разочарование. Новая встреча с Лопаткиным раскрыла перед Надей какой-то новый его образ, вновь ее покоривший, — и уже навсегда.

Несломленная настойчивость Лопаткина беспокоила, между тем, его врага и конкурента Авдиева. Непосредственная поддержка на заводе была предупреждена, но отчаянный изобретатель мог «обойти» не только завод, но и научное учреждение: он неутомимо писал всем, всем... Надо было его отвлечь от поисков новых путей. Лопаткина снова вызывают в областной центр, разрабатывают его проект в инструкторском отделе, направляют в Москву, но с тем, чтобы его там снова — и поосновательней — похоронить. Соответственно «подобранная» комис-

сия ученых проваливает проект Лопаткина. Однако он не уезжает из Москвы. Поселившись в комнате еще большего неудачника, чем он сам, старого профессора Бусько, Лопаткин продолжает совершенствовать свой проект и жалуется, жалуется... по всем инстанциям и без конца. «Он приучил себя записывать мысли, и к концу каждой недели составлял из своих записок одно или два письма с ядовитыми намеками на некоторых особ, «превративших аппарат государственного учреждения в бюрократическую крепость» или с разоблачением круговой поруки **монополистов**, уничтожающих живую мысль, рожденную в народе».

Между тем, машина Авдиева с треском на практике провалилась и принесла миллионные убытки, «не оставив, правда, ни одного пятнышка на репутации маститого ученого». Но это не означало, что «теплая компания» склонна сложить оружие: нашлись из «своих», из «покорных» — двое изобретателей, — Максютенко и Урюпин, которые, украв частично идею Лопаткина и дополнив ее идеями зарубежных ученых, лихорадочно готовят новый проект. Наблюдателем и руководителем этой изобретательской группы назначен... Дроздов. Есть однако опасение, что неистовый Лопаткин где-то пробьет себе дорогу и протолкнет свою машину раньше, чем будут готовы со своим проектом Максютенко и Урюпин. Надо его снова отвлечь, завлечь, а тем временем постресить машину Максютенко-Урюпина. Лопаткина внезапно вновь вызывают на комиссию. Проект его неожиданно одобрен, ему дают конструкторов, назначают жалование... Что за чудо? «Горит где-то лес, говорит пессимист Бусько, не могу только понять, где». Место пожара скоро выясняется: в министерстве торжественно демонстрируются только что привезенные трубы, сделанные машиной Максютенко-Урюпина. Правда, трубы легко бьются, вес их превышает установленную норму, но это всё пустяки! Машина есть, «так зачем же нам вторая машина?» Группа Лопаткина расформирована, он снова без средств, в ветхой комнатке ветхого дома, у профессора Бусько. Но здесь нельзя не отвлечься от главной темы романа, чтобы обратиться наконец к личной жизни Лопаткина, которая у него всё-таки, в незначительной степени, была.

Когда-то, в Музге, у него завязался роман с ученицей 10-го класса, Жанной Ганичевой. Потом Жанна уехала учиться в Москву, и роман стал «истощаться». Лопаткин попрежнему любил ее, но уделял этой любви только крохи времени и внимания: он не должен был отвлекаться от своей главной цели — машины. А Жанна — не герой! Для неё Дима хорош и так, без героизма и изобретательства. Именно без всего этого он только и хорош! Пусть будет как все, пусть вернется в школу, и все заживут тихо и счастливо. Ей не нужен муж-неудачник, муж-чудак. Может быть, когда-нибудь он и добьется своего, но когда это будет? А может быть, и никогда не будет.

В Москве Лопаткин несколько раз тайком наблюдал Жанну на улице. Однажды, в момент, когда успех улыбался ему, повидимому, всерьез, Лопаткин решился встретиться с Жанной открыто. Встреча была и радостна, и горька для обеих сторон. Лопаткин уверял, что он победил, но худое лицо его, нездоровый блеск в глазах говорили о другом. Жанне хотелось верить, но она боялась поверить. Расстались ни на чем.

В Москву приехала с мужем Надя Дроздова. Дроздова перевели из Музги в Министерство. Но Надя не была ему уже женой. Разрыв стал окончательным. Здесь Надя отыскала Лопаткина, была в его отсутствие у него в комнатке, поняла нужду и убожество его жизни с Бусько. Она продала свое дорогое манто и послала Лопаткину деньги «от неизвестного», а потом явилась и сама. Лопаткин

не устоял однажды перед пожаром ее чувств, но помнил и Жанну; не знал, что делать, но, в сущности, мало был занят и той и другой. Надя терпеливо ждала любви, а пока сделалась ему другом и помощницей. В этой роли ей пришлось стать роковой причиной еще большего несчастья Лопаткина.

Когда машина Максютенко похоронила все шансы лопаткинского проекта, где-то за кулисами вмешался в дело некто инженер Галицкий, ясно видевший достоинства и превосходство лопаткинской машины. По его рекомендации, военное министерство предложило Лопаткину сделать проект машины для отливки тел вращения особых форм. Работа была строго секретной, а Лопаткин, в благодарность за дружескую помощь, имел неосторожность заявить Надю, как соавтора. Об этом пронюхали, кому было надо, явился донос, последовал суд и... осуждение! Лопаткина сослали на 8 лет в концлагерь за разглашение военной тайны. Легко ведь было доказать, что Надя, по своей квалификации, не могла быть соавтором проекта, а, следовательно, Лопаткин посвятил в государственную тайну «постороннее» лицо.

Дальше? Дальше фильм начинает вдруг крутиться в сторону «счастливого конца». Лопаткин оправдан и возвращен, машина его работает и выбрасывает трубы, как «папиросы из набивалки», враги его посрамлены, изобретение их принесло огромные убытки, карьера многих дает трещины. Признаться, тут доверие к фактам романа начинает сильно колебаться. Для такой перемены судеб нужна была бы перемена чего-то весьма существенного в самом аппарате управления. Врачи-«отравители» были оправданы только после смерти Сталина, а весь роман В. Дудинцева разворачивается в сталинские времена: 1947—1951, — эти даты точно указаны автором. В этом месте многим, может быть, захотелось бы сказать, что Дудинцев не знает до конца советского аппарата, что он «забыл» эпоху Сталина, что он никогда не был под судом (и не дай ему Бог!)... Но лучше сказать совсем другое. Господи! Кто не мечтал о несбыточном? Какой бедняк не мечтал найти клад? Какому отвергнутому влюбленному не снилось, что его «предмет» бросается ему на шею? Но ещё сильнее, ещё упорнее владеют человеком мечты о восстановленной справедливости! «Вдруг» всё меняется, «вдруг» является добрый *Deus ex machina*, «вдруг» обиженная добродетель торжествует, а торжествовавшее зло несет заслуженное наказание. В этом аспекте мечта Дудинцева довольно скромна, хотя и не менее несбыточна в советских условиях, чем самая безудержная фантазия самых безудержных фантазеров. Но так, несомненно, и понята последняя часть романа, без чего необъяснима была бы реакция на него советских читателей, с одной стороны, и советской «благонадежной» критики — с другой.

Но прежде чем обратиться к тому эффекту, который был произведен романом Дудинцева, нельзя не задержаться несколько на иной стороне событий в последней части романа: на сердечных делах Лопаткина и их развязке. Какие-то совершенно бархатные тона находит автор для обрисовки Жанны и Нади, их чувств и переживаний. Тут он, может быть, сильнее всего, как художник. Жанна знает, что она в свое время «изменила» Лопаткину — не поверила в его силу: «Ты мстить мне пришел? — говорит она теперь, — что же ты не мстишь?» Не герой по природе, Жанна вырастает вдруг в своих страданиях, в своей утрате, которую сама предредила в прошлом. И, вырастая в страдании, растет духом: Жанна отстраняется, уходит, оставляя Лопаткина той, которая сумела не только безгранично верить в любимого, но и терпеливо ждать, когда, наконец, он останется ей нераздельно. И Надя дождалась.

А что же сам Лопаткин? У него была, конечно, одна только настоящая любовь: Жанна. Но в водовороте «отношений», создавшихся у него с людьми по пово-

ду вещей», эта любовь перемололась: «И вдруг в мире наступила тишина. Он миновал грохочущие пороги, и теперь ему надлежало, сняв шапку, креститься на тихую текучую воду...»

«Война была окончена, и он победил!.. Но и ему была нанесена рана. Вот любопытно! Девушка осталась та же, а любовь ветром выдуло из головы...»

С Лопаткиным осталась Надя. Но к Наде у него, в основном, неисчерпаемое чувство благодарности, одобренное, конечно, признанием ее женской привлекательности и всеми рефлексам нежной интимности их отношений. Но зовет Лопаткин Надю всё же не столько «в любовь», сколько в поход для дальнейших завоеваний: «Так ты не устала?.. Если я тебе скажу «пойдем дальше»...

Надя пойдет за ним, конечно, куда угодно, но... каков будет теперь этот путь? Настала ли новая эра, в которой не будет больше Авдиевых, Максютенко, Урюпиных? Или победа Лопаткина — лишь эпизод, лишь временный кризис злого начала? Спрячутся на время, как от летней грозы, «устроители собственных карьер и карьерок», а потом снова начнут вылезать из нор, незаметно пробиваться к ключевым позициям? Косвенный ответ на этот вопрос автором дан: уцелел Дроздов! Без пяти минут двенадцать, в канун Нового Года, он назначил комиссию для расследования «противозаконной практики Максютенко и Урюпина», да, тех самых, которых он еще совсем недавно патронировал. И остался чист! Мало того, он уже засматривается на опустевшие кресла замов. Он, может быть, не только не проиграл, но еще кое-что и выиграет.

Утолив свою тоску по справедливым решениям, автор, видимо, несколько отрезвел. Верный инстинкт художника напомнил ему, что **последних** решений в жизни не бывает. Этого не терпит жизненная прагматика, даже дублированная хорошей порцией фантазии. Поэтому уцелел Дроздов, а Лопаткин «вдруг опять увидел перед собою уходящую вдаль дорогу, которой, наверно, не было конца». Этому, в конце концов, не противоречит и гегелевско-марксистская диалектика, если в нее по-настоящему поверить, если ей искренно довериться: снятие противоречий должно всегда происходить на высшем, новом уровне, а где ж этот уровень в советской действительности? Даже довольствуясь хотя бы одной только видимостью высшего уровня, Дудинцеву пришлось бы дотянуть действие своего романа, скажем, до XX съезда! Почему же он этого не сделал?

Этих «почему» много в орбите романа «Не хлебом единым». На них, может быть, дан и некий общий, для всех случаев, нечто означающий ответ: потому что Дудинцев хотел написать свой роман на высшем уровне. В разных случаях по-разному воздействовало это требование писателя к себе самому. Мы даже не беремся утверждать, насколько ему это удалось или не удалось, но тенденция видна совершенно отчетливо.

Дудинцева утрекали за то, что несколько его героев-одиночек воображали себя на «втором этаже», недоступном для обитателей этажа «первого», в котором бегают и копошится бездарная масса, неспособная ничего «открывать» и довольная тем, что может пользоваться «уже открытым». Мы бы сказали, что Дудинцев и весь роман свой стремится поднять на «второй этаж», и может быть, даже слишком «повысил» уровень своих действующих лиц. Было бы неправильно ставить ему это в упрек: Дудинцев «поднимал» своих действующих лиц, но он их не «подкрашивал», не клал на них «позолоты», не «лакировал». Его задача была совсем иной.

Когда на первом обсуждении романа в Москве — до того, как посьпались на него упреки откуда-то «сверху» — говорили, что Дудинцев продолжает «традицию классиков», и в том числе Гоголя, это была правда. Только эта близость к клас-

сической традиции выразилась вовсе не в том, что автор показывал «маленького» человека (кого, собственно?), а в том, что Дудинцев искал и раскрывал человеческое-общечеловеческое в своих героях. В этом и заключалось «поднятие» их и всего романа на «второй этаж», на высший уровень. В силу этой своей задачи, Дудинцев не мог пользоваться ни шаблоном «лакировки», ни шаблоном «обличения». Отсюда в романе много странностей, которые, в большинстве случаев, вовсе не раскрыты советской критикой. Советские критики как бы предпочитают не «давить» на эти «орешки», а пользоваться лишь их внешним видом: очевидно, содержание «орешков» вызывает такие опасения, которые заставляют критиков Дудинцева «уж лучше их не трогать». Большие скандалы не по нутру и не по силам «цензорам» внешних благоприличий. Несмотря на все проклятия, которые посылаются по адресу формализма, «преданные вождям и партии» советские критики — всё-таки формалисты, хотя уже не по своим эстетическим вкусам, а ради удобства. Попробуй, скрести оружие с Дмитрием Алексеевичем Лопаткиным по вопросу о том, что такое настоящий партиец — и неприятностей не оберешься! Победить его в этом споре нельзя, — даже и спорить-то как-то не совсем удобно, — а согласиться, — значит, не только потерять душевное (и материальное) равновесие, но и вызвать неудовольствие «авторитетных» людей. Послушайте, например, даже не самого Лопаткина, а его друга и единомышленника инженера Галицкого: «По-настоящему партийный человек не терпит никакой неправды!» Ведь это... это живому человеку только в насмешку можно сказать: тридцать девять с половиной лет партийцы только и делают, что «терпят» неправду. Но ведь оспаривать такое мнение, согласитесь, как-то... неудобно, потому что партийцы второй своей обязанностью тридцать девять с половиной лет считали неизменное отрицание того, что они «терпят» неправду. Поэтому-то «странности» в романе Дудинцева не «подняты», не «замечены» критикой, а заметить их вовсе не трудно.

Не странно ли, в самом деле, уже то, что для повествования из жизни коммунистов в социалистическом государстве заглавием взята неоконченная цитата из Евангелия? Не уместнее ли было взять ее хотя бы из Ленина? Разве нельзя было назвать роман, например, «По заветам Ильича»? Неужели у Ленина нельзя надергать десяток цитат, которые полностью оправдали бы всю активность Лопаткина, направленную, в конце концов, на пользу народа?

Дудинцев просто знает, что вся марксистская литература непоправимо дискредитирована жизнью и опошлена носителями власти. Если даже в ней и есть что-то ценное, оно столько раз, без всякой разборчивости, было подставляемо для оправдания неправды, что практически сравнялось со всем, что есть в системе самого худшего. Дудинцев (или Лопаткин) понимает, что восстановить, вернее, наново создать действительный моральный авторитет партии можно лишь включением партийности в сверхпартийные, высокочеловеческие ценности. Пусть для Лопаткина Христос — не Бог, пусть для него никогда и не было исторического Христа, но «Не хлебом единым будет жив человек» — это для Лопаткина — правда, это для него то, чем «оправдан будет день человека», чем оправдан будет человек, как «антизверь».

«Я не могу принять, пишет В. Кочетов в «Литературной газете» от 7. 1. 1957 г., я не могу принять сегодня книгу о страданиях одиночки-изобретателя, мизантропа...» Но ведь мизантроп — это пессимист, а Лопаткин — это самый безумный оптимист, если он верит, что партийцы могут стать такими, какими они, по его мнению, должны быть... Здесь с особенной осторожностью нужно не смешивать Лопаткина с автором романа, ибо мы, в сущности, не знаем, такой ли Ду-

динцев оптимист, как его герой. Мы еще меньше об этом знаем после того приема, который оказала партийная критика роману «Не хлебом единым». Вообще говоря, смешивать писателя с персонажем его произведений, предприятие легкомысленное, а порой может стать и неблагоприятным. Мы знаем только, что Лопаткиным поставлен здесь вопрос капитальной важности, затронута истина, к которой, как кажется, не осмелился прикоснуться ни один марксист... кроме некоторого намека со стороны самого Маркса, когда он сказал, что атеизм должен преодолеть... свою негативность. Давно уже сказано, что ничего нельзя устранить по-настоящему, не превзойдя, не преодолев его. Если марксизм хочет устранить христианство, он должен преодолеть христианство. А, между тем, марксизм отодвинул христианство властной рукой в сторону, но где же преодоление? Одной единственной истины из Евангелия не в состоянии включить в себя партийный марксизм (или марксистская партия!). Перед ней одной остановился он в злобной беспомощности. А сколько есть ещё евангельских истин? И все они, явно или тайно, признаются людьми за человеечно-высшие истины. Смущение и злоба партийцев таковы, что они не осмеливаются даже прямо поставить вопрос: «Почему роману дано такое заглавие?!» Только на носителя идеи-вопроса Лопаткина посыпались самые уничижительные эпитеты: мизантроп, эгоист, пессимист, одиночка, посыпались заушения... Остерегитесь, товарищи! Кого хотите сделать вы из Лопаткина? Он ведь не обличает в аше нечестие, ваше — настоящих партийцев. Он только утверждает, что настоящий партиец «не хлебом единым будет жив», и сам показал тому пример.

Страшен тут для партийцев не самый «пример» Лопаткина, а страшен как раз малый, и всё-таки непосильный, объем этого примера. Для всякого верующего или не верующего, если он только захочет несколько выикнуть в евангельский смысл, станет совершенно ясно, что «не хлебом единым» Лопаткина всё же меньше и уже, чем «не хлебом единым» евангельское. Из всего Евангелия взята только одна истина, да и та уменьшена и сужена. Сколь малое требование предъявлено Лопаткиным партии, да и то посыпалось на него рычание со всех сторон. Не могут вместить! Не могут вместить, ибо смысл рычания расшифровать не трудно. Вот что толкует нам Б. Платонов в «Литературной газете» от 24 ноября 1956 года: «... Аскетизм героичен, когда он необходим в борьбе за высокую социальную цель, кстати, преследующую именно расцвет потребностей народа и полное их удовлетворение. Аскетизм уродлив, когда он не вызван необходимостью этой борьбы. Догматическая поэтизация аскетизма в литературе — да и не только в литературе — дает, как правило, очень существенные осечки».

Так получилось и в романе «Не хлебом единым».

Но где же у Дудинцева «догматическая поэтизация аскетизма»? Не потому ли аскетом живет Лопаткин, что ему это «необходимо в борьбе за высокую цель»... преследующую именно удовлетворение потребностей народа? В чем же тут дело? Что за недоразумение? Зачем партийной критике упрекать Дудинцева в том, в чем он совсем не грешен? Дело, все же, совсем простое: название романа являет партийное сознание, хотя партийное перо ничего об этом и не написало. Не написало, ибо не умело написать без ущерба для себя, а не умея написать, старается «пырнуть» автора в мягкое место. Там ведь, в этой «поповщине», откуда взято название романа, — там родина аскетизма: пырнем аскетизмом! Название романа являет и туманит... не столько, впрочем, чтобы критик романа докатился до обвинения Дудинцева или Лопаткина в «поповщине». Что Лопаткин хочет жить «не единым хлебом» вовсе не из религиозных побуждений, ясно и для партийной критики, но ведь тем-то и хуже. Отбросить, спорочить цитату из Евангелия, а с нею и весь

роман, как «поповщину», было бы гораздо легче для партийной критики, чем оттолкнуть ее, как проблему преодоления несовершенства партийной идеологии и практики, как преодоление марксизмом высоких христианских истин. Поэтому партийная критика предпочитает «не понимать» настоящего смысла лопаткинской проблемы и предпочитает «пырять» пером вокруг да около...

Удары, нанесенные партии Лопаткиным, системе страшны. И страшны они не столько «безумством» «одиночки-изобретателя», сколько неумелостью партийной критики, не сумевшей пропустить роман без реплики. Именно непрекращающиеся реплики партийной критики укрепляют позицию Лопаткина и подкапывают твердьню партии. Самая неуместность этих выпадов красноречиво свидетельствует о том, что партия бессильна перед проблемой Лопаткина: партия неспособна к развитию, партия неспособна к прогрессу, к преодолению «враждебной» идеологии, к преодолению своей неподвижности, а, следовательно, и отсталости.

Роман Дудинцева надо было оставить без реплики, даже несмотря на весь шум, который он произвел в советском обществе и, в особенности, в среде советской студенческой молодежи. Ведь этот-то именно шум, этот «ажитаж» и сбил с толку партийную критику: вспомним, что до «ажитажа» роман был принят довольно благосклонно. Есть критики, которые своей поспешностью, своей горячей готовностью наскоро замазывать неприятные трещины, портят до конца слегка испорченное дело. Своей стремительностью они привлекают к трещинам внимание тех, кто ее иначе, может быть, и не заметил бы. Нечто такое сотворила в своей рецензии о романе Н. Крюčkова («Известия» от 2.12.1956 г.): «Тревогу за творческую судьбу писателя внушает возникший вокруг романа нездоровый ажитаж». Какие «нежные» выражения стала подбирать партийная печать для обозначения своего неудовольствия! Сколько в них человеческих чувств! Тут тревога за судьбу писателя, тут беспокойство о здоровье ажитажников, но основная забота партийной критики, конечно, о том, чтобы отвлечь внимание от основной идеи Лопаткина, неугасимо искрящейся в трех словах заглавия романа. «На обсуждении в Доме литераторов, продолжает Крюčkова, роман расхваливали за «злободневность», за «остроту темы» и умалчивали о значительных идейно-художественных просчетах автора». Итак, значит, «острота темы» и «злободневность», при том, не имеющие непосредственной связи с идейно-художественной стороной романа (ибо о просчетах в ней «умалчивали»), — вот что возбудило «ажитажников». Но в чем же эта «злободневность»? Крюčkова поясняет: «В возмущенном воображении писателя фигуры бюрократов и карьеристов разрослись до исполинских размеров, заслонив от него светлый и дружный мир советской действительности...» Так вот чем думал поразить свсих слушателей бедный Дудинцев: «бюрократами» и «карьеристами»! Если бы еще речь шла о заграничных читателях Дудинцева, такой расчет мог бы в какой-то степени оправдаться: там есть еще «одиночки-изобретатели», представляющие себе советскую действительность, как «светлый и дружный мир». Но чем тут можно поразить советских людей, знающих по горькому опыту о «бюрократах и карьеристах», по всей вероятности, больше самого автора романа. Наконец, если кто-то «просмотрел» эти явления в жизни, к его услугам советские газеты! Там, не в романах, а в корреспонденциях о самой реальной и неподкрашенной (и не подчерненной) жизни, пирамидами громоздятся изображения, ничем не уступающие «исполинским размерам» фигур в романе «Не хлебом единым». Так было до, так продолжается и после появления романа. Вот один из недавних примеров на страницах «Литературной газеты» от 24. 1. 1957 г., в корреспонденции Ф. Бучнева под заглавием «Эту машину ждут на полях»: «Я не буду раскрывать одну из пяти папок, которая могла бы

поведать о той волоките и волокитчиках, что мешали рождению саялки... Я лишь скажу одно: чтобы изготовить четыре образца новой саялки, с 1949 по 1954 год потребовалось шесть правительственных решений...» «Каждый считал своим долгом высказать и сомнение. А как посмотрят на это в министерстве сельского хозяйства? Какую позицию займет на этот раз заммин тов. Кучумов? Не кто иной, а тов. Кучумов, два года назад вычеркнул из плана государственных испытаний новую машину. От него и сейчас (разрядка наша. — Б. Т.) зависит: «двинуть» новую машину или «задвинуть»!.. Вот вам и фабула романа Дудинцева; и притом, одна из множества подобных, рассеянных по страницам советских газет! И это «раскрытие», это «разоблачение» явилось злободневным возбудителем интереса к роману? Эта избитая тема могла кого-то поразить своей «остротой»? Да еще и студенческую молодежь?

Бывает, конечно, незрелая молодежь, и не в смысле возрастной «недозрелости» индивидов, ее составляющих: бывают поколения «незрелой» и поколения «зрелой» молодежи, как общественное явление. Так, в конце XVIII века русская образованная молодежь была в массе своей незрелой, а в первой четверти XIX — она подарила истории целую плеяду декабристов; это не были «выросшие» петиметры Екатерининского царствования, это была новая молодежь Александровского царствования. Зрелость молодежи имеет своеобразный смысл: в молодежи «зрелость» — это отвращение к рутине и мечанству, непримиримость к несправде, устремленность к высшим, недоступным еще, «непреодоленным» ценностям. Зрелость в молодежи, — это обнаружение не «заклеванной» еще жизненной обыденностью свежести и острой жажды справедливости. И вот если молодежь предыдущих советских поколений была еще «недозрелой», поколение молодежи наших дней созрело! «Острой злободневностью» пороков системы эту молодежь можно «накалить», но не «ажииотировать». «Ажиотаж» наступает тогда, когда перед ней начинает мерцать идеал лучшего и высшего, когда намечаются пути к нему. «Ажиотаж» вызвала не пошлость бюрократизма, показанная в романе Дудинцева, а смысл нового и высшего, заключенный в названии романа и брошенный Лопаткиным в тексте романа омечавившемуся обществу. Невозможно отделять заглавие романа от его содержания!

Если, действительно, в Доме литераторов произносились те самые похвалы роману, о которых говорит Крючкова, то какое обрисовывается трогательное единение между всхвалителями и поносителями! И те и другие усердно стремятся «отвратить» слушателей от действительной «остроты» проблемы Лопаткина. Однако, как слышно, все слушатели не вместились в зале, и много их толпилось на улице, у окон здания. Тут-то, конечно, и были главные «ажииотажники», по-своему воспринявшие и по-своему реагировавшие на тему романа. Если бы было иначе, можно было ограничиться одними похвалами, и не было бы надобности в «заушениях»: именно на «ажииотаже» и лопнула партийная выдержка.

Отсюда вся эта шумиха «невыпазд». Критики особенно настаивают, например, на том, что Лопаткин — «одиночка», что он не хотел работать в коллективе, по-этому де он и терпел неудачи. Но, спрашивается, в какой же коллектив должен был сунуться Лопаткин со своим изобретением? В коллектив своих коллег-учителей, которые в механике ничего не понимают? В коллектив рабочих комбината, которым не позволили бы, конечно, отвлекаться от их прямых обязанностей? В коллектив ученых? Но ведь туда именно и обратился Лопаткин, и этот именно коллектив приложил все старания, чтобы «утопить» изобретение и изобретателя.

Иные критики переводят прицел на самого автора и упрекают его в том, что в его романе вообще нет коллектива. Но мало ли чего нет в романе Дудинцева!

В нем нет, например, и самого Сталина, тогда как все действия «исходят в сталинские времена, когда без имени Сталина, как говорится, «не начинали дня». Ни сталинских цитат, ни сталинских портретов и бюстов, ни писем к Сталину, ни ответов Сталина! И — потрясающая рассеянность! — «Слона в кунсткамере» прозвал не только его «посетитель», но и все, кто расспрашивали его о впечатлениях. Никто не спросил: а видел ли ты его? Что же тут? Ретроспективно-преображающая сила решений XX съезда? Упразднили, мол, культ личности, так чтоб его и в прошлом не было! Сделать бывшее — небывшим? Едва ли это так! Не робость ли тут, скорее всего, — опасение поднять вопрос, на который сейчас же найдется ответ в массах: так оно было, так и осталось, хоть с культом, хоть без культа! И куда девать корреспонденцию в газетах за 1954, 55, 56, 57 годы, когда нужно будет доказывать, что всё было, это все в прошлом, изжито и похоронено? А ведь как бы всё тогда благополучно обошлось! Но никто не дерзнул, как никто не дерзнул спросить: почему «Не хлебом единым»?

Есть и еще одно обстоятельство, которое стесняет недовольных романом партийных критиков: Лопаткин — коммунист. Но какой коммунист? Если Дроздов сознает, что он не дорос до коммунизма и никогда не дорастет, то Лопаткин отчетливо ощущает, что он перерос ходячее представление о коммунизме. Коммунизма Лопаткину «не хватает», а он ему «нужен»: «не для того, чтобы получать, а чтобы я мог беспрепятственно отдавать». И эти слова Лопаткина сразу отсылают нас к заглавию романа. Только мы чувствуем здесь дух христианства, а Лопаткин чувствует дух «настоящего» коммунизма. Любопытно сравнить и здесь Лопаткина с Дроздовым. Дроздов, когда дело идет о высших ценностях и чувствах, вспоминает именно про христианство, а не про коммунизм. «Или ты хочешь, — говорит он жене, — чтобы я по-христиански?.. Нет. Пусть это делает какой-нибудь рыцарь... Дон Карлос». А Лопаткину христианство не нужно. Он считает коммунизм самой большой силой, неисчерпаемой силой: для коммунизма нет ничего невозможного, вплоть до «Не хлебом единым». И вот такой коммунист не возбуждает в партийной критике ничего, кроме деланного презрения и язвительности.

Коммунизм Лопаткина, это, правда, — ревизионизм, и ревизионизм более радикальный, чем всё, что было сделано до сих пор в этой области. Но ревизионизм этот — не ревизионизм ограничения, а ревизионизм расширения. И потому он так же тяжел современной партийности, как горный воздух человеку с пороком сердца.

Мы не можем вместе с Лопаткиным верить в такую безграничную мощь коммунизма. Но верим, что Лопаткину нужна именно такая мощь. Мы верим также, что когда лопаткины убедятся в несовместимости такой мощи с коммунизмом, в несовместимости коммунизма с «Не хлебом единым», — они неизбежно изберут «Не хлебом единым», хотя бы и ценой отказа от коммунизма. Многие так уже и сделали, многие делают это и сейчас. В противном случае, ажиотаж, поднявшийся вокруг романа Дудинцева, не был бы охарактеризован партийной критикой, как «нездоровый».

В пути находящиеся

(О творчестве Бориса Зайцева)

«Лучше неба нет ничего на свете», — говорит в пьесе «Усадьба Ланиных» старик Ланин. Более точного эпиграфа ко всему творчеству Бориса Зайцева не подберешь. Над болью и несовершенством жизни видит он вечный, никогда не меркнущий свет. Прохладой, примиренностью веет от каждой страницы, даже когда повествует о бурях. Бури где-то на поверхности, а в глубине — тишина невозмутимая, предвечная.

Основа творчества Бориса Зайцева религиозная. Жизнь — некое бремя, которое надо нести. За всеми его героями огромная тень Креста. Ведь «не себе одному принадлежит человек». Но священно не только горе, священно и счастье, вероятно от того, что вся жизнь благословенна, что сострадание — родная сестра сорадования.

Борис Зайцев никогда не писал стихов. Но в каждом его произведении стихи поэтически-музыкальной отдано одно из главных мест. Не так важно действие и даже характеры, как та голубая поэтическая дымка, которая всё окутывает, настроенность, музыкальное звучание. Это с одной стороны. А с другой — пристальное внимание к путям души человеческой, к ее преобразению или полному помутиению. Жизнь для Зайцева — задание, которое надо выполнить. И писателя неизменно занимает вопрос, как отдельные люди это свое «задание» выполняют. Ведь все они для него «странники», пустившиеся в таинственное «путешествие», ведомые Кем-то знающим: так надо! И покорность этому «так надо» — через все книги, все превращения. «Человек должен вынести свое горе» — за этими словами выстраданное, стройное мирозерцание автора. Только смиренно приемлющие то, что им посылается, постигают правду.

Любимые герои Зайцева, — странники, изгнанники, люди легкие, корни пустившие только в небесное, а на земле — чудачки, бродяги, неудачники, свою неудачу приемлющие. Этим людям не по себе с умельцами, удачливыми, теми, кто повсюду устраивается комфортабельно, по-хозяйски.

Две страны — Россия и Италия полонили раз и навсегда. И вот всё творчество окутано сиреневым дымом холмов итальянских, да полевым ветерком смиренной русской земли. «Весенний день бледно-зеленых тонов» — это как бы фон всего творчества Зайцева. В нём есть вечная юность души, для которой всё чудесно. И природу он чувствует остро, особенно в ее весеннем отлетающем облике. Но повышенное чувство жизни не мешает примиренному приятию смерти: «Где Господь укажет, там и ляжем».

Возьмем наудачу один из ранних рассказов «Изгнание». Жена героя Анета

постепенно становится чужой своему мужу, потенциальному страннику и созерцателю, именно в Европе, сплошь заселенной такими Анетами. Он уходит от нее как-то стихийно, даже против своей воли. В этом рассказе дано пробуждение скитальца и, быть может, художника в душе, еще себя не знающей. Бесцельные прогулки, неожиданная радость жизни только от того, что пахнуло весной, что где-то есть прекрасные невиданные страны. Понимание, что налаженная, благоустроенная жизнь для странника — клетка.

Герой «Изгнания» — типичный русский интеллигент дореволюционной эпохи. Он ищет ценностей, над жизнью стоящих. Он бессеребряник. За такими странниками, как некий фон, Евангелие, двухтысячелетняя мудрость церкви.

Одной из самых замечательных повестей Зайцева о «путниках» является «Голубая звезда». Главный ее герой Христофоров всем своим обликом уже говорит об «удалении от мира, полумонашеском состоянии». Это «полумонашеское состояние» Зайцевских «путников» характерно. Но укрыться за крепкими стенами им всё же не суждено. Монастырь — мир. В Христофорове есть что-то детское: Он по-евангельски нищ. О будущем не думает. Считает, что всё само собой выйдет. В Христофорове безблачность, у него свое «звездное» хозяйство и никогда не будет гнезда. Его роман с Машурой заранее обречен на неудачу. Как истинная женщина, Машура хочет земного устроения. А Христофоров только созерцатель. Он чувствует «сладость жизни» повсюду. Машура знает, что он «чистый». Но соединя они свои жизни, счастья бы не было именно потому, что он слишком много любит. И сам Христофоров это понимает. В жизни ему предначлена только роль утешителя. Есть в этой его особенности нечто монашеское, сближающее его с о. Мельхиседеком из «Дома в Пасси». Как знать, может быть, и о. Мельхиседек начал свою жизнь в роли Христофорова? И, быть может, он является только окончательным развитием этого типа людей?

Христофоров открыт всем и, вместе с тем, «есть в нем что-то свое, в глубине, чего он никому не расскажет». Что же это такое? «Святое-святых» художника, которому остро необходимо одиночество, или «святые-святых» монаха? Автор нам этого не говорит. Многие в Христофорове сближает его с Алёшей Карамазовым, монахом в миру. Даже имя не случайно дано одно и то же. Для обоих главный устой жизни — „saneta povertade“: «Воля к богатству есть воля к тяжести... Истинно свободен лишь беззаботный, лишенный связей дух». Это основное положение Христофорова. Только у Алёши Карамазова страстная наследственность. А Христофоров — гармоничен, уравновешен.

Но если Христофоров и монах в миру, то всё же сознает, что «вполне за св. Франциском он идти не может» — слишком любит земное. Ни где не сказано, что Христофоров — поэт, писатель, художник, но это всё время чувствуется. Вся его жизнь «под покровом голубоватой мечтательности», а не подвита, делания, труда сурового. И самое характерное для Христофорова, как и для всякого художника — одиночество.

Христофоров не принимает любви Машуры только потому, что сознает: к жизни, к житейскому, ко всему, что нужно женщине, не способен. Его любовь слишком надземна. Женщина — «голубая звезда». И вообще его отношение к женщине скорее братское, чем страстное. Вот почему Машура говорит Христофорову: «Я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Вега!.. Ну, это ваш поэтический экстаз, что ли... Это сон какой-то, фантазия и, может быть, очень искренняя, но это... это не то, что в жизни называется любовью». И ответ Христофорова: «Неизвестно, не есть ли еще это настоящая жизнь, а то, в

чем прозябают люди, сообща ведущие хозяйство, — то, может быть, неправда?» — для Машуры всё же неубедителен.

Есть в Христофорове и тайнобидец. Он остро чувствует конец эпохи, когда «довольно одного дыхания, чтобы, как стая листьев, разлетелись все во тьму».

Христофоров, Маркел из «Золотого узора» и генерал Вишневский из «Дома в Пасси» три наиболее характерных для Зайцева героя. Но Христофоров — герой первой четверти XX века. Он чистый сердцем созерцатель, а не сознательный борец за правду, каким на последних страницах «Золотого узора» становится прошедший через все муки Маркел. Они дополняют друг друга, но не сливаются.

Маркел в конце романа твердо идет по земле, знает куда и зачем. Христофорова же несет стихия, хоть и светлая. Он полон «призраков обольстительных и кочующих». А Маркел уже знает, что только в церкви «вечность и тишина».

Христофоров против богатства, но и «рабский подневольный труд» отвергает. А настоящий мснх на него идет. Христофоров слишком воздушен, чтобы быть учителем жизни.

В 1927 г., через шесть лет после написания «Голубой звезды», Зайцев снова возвращается к Христофорову. В «Странном путешествии» он описывает смерть того, кто предвидит конец эпохи. Перед нами иные времена. От прежней Москвы не осталось уже ничего, разлетелась, истаяла. Но отставной педагог Христофоров всё тот же. В обществе мошенников и спекулянтов, совершающий свое последнее «странное путешествие», он всё еще, до последней минуты, наслаждается прелестью мира, благославляет лунную ночь, избу, тишину, дышит «пустынным воздухом», без которого нет жизни поэту. «Все очарования прошлого ушли, но они были, были»... За это «были» и благославляется жизнь, как благославлялась когда-то дальним духовным предком Христофорова, поэтом Жуковским:

Не говори с тоской: «Их нет».

Но с благодарностью: «Были!»

Здесь та же неутоленная земная любовь, давшая и высокую радость, и муку. Люди такого типа в революции становятся «редкостью», а на небе у них «хозяйство большое», и от здешней жизни хочется «отдохнуть». И «отдых» приходит в пустынном поле, на пути, как и полагается бездомному. Но, умирая, Христофоров заслони́л другого — созерцатель поднялся до подвига.

С героями «Золотого узора» — Наташей, Маркелом сначала мы еще в мире легко струящейся жизни. Настоящий «золотой узор» на дорогах Наташи. И всё бездумно — даже греховное. Первое напоминание о «важном» — литургия на четвертой неделе Великого поста, где она поет «Верую» и впервые задумывается, верит ли сама? И тут же является мысль о брошенном ею сыне.

Начало войны является концом беспечно-бестревожной жизни Наташи. И приговор ее прошлому в словах ее мужа Маркела: «Ты такая легкая, всё вот... летишь, и тебе всё равно, людей-то ты... Ну, ты людей по легкости своей не замечашь... Муж ли, сын ли...»

Вся барская жизнь первых лет войны «пуста», «праздна». Никто кровно в совершающейся трагедии не заинтересован. Откуда и расплата за воркованье.

Второй шаг к осознанию своей неправоты у Наташи на кладбище у госпиталя. Она внезапно ощущает всех «на краю бездонной бездны». Примирение ее с Маркелом — это конец юности, бездумной легкости.

Еще один этап жизни Наташи. После реквизиции оружия и его возвращения,

выходя из избы, она чувствует — «чуть морозный воздух так казался вкусен, так бессмертно небо».

В Наташе привлекательно то, что она вольная, к материальному не привязанная, пользующаяся жизнью, любящая мир, но не земные блага. Такой легче потом переключиться на высшее. Но тут, в этой книге, ее преображение не дано. Это — книга молодости, а не тяжелого подъема в гору. Свою героиню Зайцев только подводит к чувству недовольства собою и жажде очищения.

Мудрее всех в этом романе Маркел. И он единственный верующий. Страду революции он принимает так: «Упражняю в этом... волю... Ну, и покорность», — любимое слово писателя. И еще одна глубокая мысль, вынесенная Маркелом из революции: «Теперь люди разделяются... Того... Время разделения людей. Люди... к людям. Звери... к зверям. И это значит... испытание для человека. Теперь не спрячешься уже: какой ты есть... таким себя и выкажешь. Теперь на чистоту. Предъявляй, что имеешь. Время... тайных орденов братских. Чтобы друг дружку узнавать... по знаку... креста.» Эта любимейшая мысль Зайцева. Людей он узнает «по знаку креста». Одни могут преобразиться, другие нет. Великое «разделение».

И еще одно завоевание революции для тех, кто остался человеком: сильнее — товарищи, меньше — любовники. Маркел самый крепкий из героев Зайцева из светских людей. Он знает, как быть. Он тоже странник по жизни, учащийся преодолению себя, но в его судьбе нет резких зигзагов. Его путь от начала ясный. Несчастья не меняют, а только укрепляют. Это другая категория странников-праведников, а не кающихся.

Арест сына Андриюши он воспринимает, как свою вину: «мы не доглядели, мы». Стоик Георгиевский, Кассандра этого романа, погибнет, как «поднявший меч», Маркел уцелеет, как принявший волю Божию. Красива смерть Георгиевского — образ старого неверующего, но всё же прекрасного мира: он сам себя лишает жизни, как Петроний. Ему не вынести безобразия настоящего. А Маркел несет свой крест — «Сим победиши!» И какой символ: Маркел взваливает на свои плечи крест для молилы сына. Поддержка для него церковь — «единое устойчивое в трясине революции».

Еще характернее бред Маркела: «падает и разрушается великая сосна христианства. Нужно поддержать и вновь собрать».

Выздоровев, Маркел стал для Наташи «старшим». И понял: «Россия несет кару искупления». А о прошедшем жалеть не надо: «Столько грешного и недостойного в нем». Маркел и не смотрит назад, в это грешное прошлое, а вперед, в страшное очищающее будущее. И в этом он наш учитель: «Важнейшее для нас есть общий знак-креста, наученности, самоуглубления. Пусть будем в меньшинстве, гонимые и мало видные. Быть может, мы сильнее как раз тогда, когда мы подземельней». Эти слова обращены к нам, русским людям «в рассеянии сушим». Маркел — герой новой наступающей эпохи.

Путь героини рассказа «Вечерний час», Веры, иной. Сначала она является в облике разбитой жизнью женщины. За нею эгоистическое прошлое модной оперной певицы, жившей лишь дурманом поклонения. И вот, на глазах читателя, она постепенно меняется. Через страдания и обиду приходит к покорности, отрешенности. Из нуждающейся в утешении становится сама утешительницей. И чужое страдание ощущает своим. Эта жалость несет ей новую жизнь, непохожую на прежнюю, и великий покой. «Человек сильно, сильно меняется», говорит о себе Вера, и это ее перерождение, выход из себя, и есть дорогая Зайцеву тема. Человек занимает его по-настоящему только тогда, когда он начинает в себе

сомневаться и искать. Перестрадавший лучше понимает другого, как будто бы та клетка, в которой пребывало раньше его «я», распахнулась. Вот почему Вера, слушая признания измученной приятельницы Александры Николаевны, грустно думает: «Надо всё пережить, измучиться и полуразбитой выйти снова». Любимые Зайцевские герои всегда понимают, что «Бог дал нам страдания для неизвестных целей». Поэтому они и несут окружающим тишину, утешение. Но для этого надо научиться видеть другого. Достигается это не сразу и для большинства только путем страдания. Вот почему Зайцев и оправдывает страдание, почти благословляет его, как, впрочем, благословляет и настоящую радость.

В рассказах Зайцева часто не случается ничего особенного. Внешне всё течет ровно. Лишь внутри что-то растет, отмирает. Так Вера, после краткого видения своего сына на пляже, добровольно, ради его счастья, про себя от него отказывается. Отказывается и от славы. Выступая на благотворительном концерте, признает себя отставной певицей и ищет не личного успеха, а помощи другим, убивает свою гордость. Но, отказавшись от слишком болезненно-личного, Вера вдруг чувствует себя обогащенной: «Вышло странно, оказалось у меня есть какое-то слово, и я могу обратиться с ним к этим людям и сказать его могу лишь в пении». Это и была ее «вечерняя песнь, песнь прощания и напутствия». И она напомнила о конце: «Так истает и уйдет в конце концов вся жизнь». Но сильнее всего выступает полнота смирения Веры в ее готовности внутренне принять долю старушки, тоже бывшей певицы, которая теперь подаянием зарабатывает хлеб для своего мужа и для себя, а также в ее безмолвном согласии на то, чтобы «сын ее забыл». Но за отречением приходит и неожиданная награда: «Я ощущаю даже радость жизни — она всё больше заключается для меня в клочке синего неба, в фиалке, глазах влюбленной девушки, в белой пене моря, в смехе ребенка».

В образе Веры дано полное просветление души путем отречения, так же как и в образе Христофорова перед смертью. Это наиболее законченные типы странников у Зайцева. Их «путешествие» изображено полностью, тогда как обычно, в других рассказах, намечено только его начало.

На Веру похож Казмин из рассказа «Путники». Сначала в его душе тоже озлобление и обида. Потом, через жалость к умирающему чужому человеку, через сочувствие к случайно им встреченной в вагоне Елене: «Мне кажется, я вас знаю... Я видел вас в облике разных женщин, которые страдали», — он идет к прощению и примирению. Страдание тоже дало Казмину ключ к каждой страдающей душе, как и Вере.

Интересным контрастом неподвижному провинциальному быту города, где протекает смерть Ахмакова, являются эти три человека: Ахмаков, Казмин, Елена. Они одни в движении. И все трое связаны таинственным братством «путников» — помощью друг другу. И когда на лице умершего Ахмакова легла печать мира и нездешнего величия, странники расходятся, сделав то, что им было предназначено. Но расходятся, приобретя какой-то новый опыт, окрепнув.

Любит Зайцев и калеки убогих, как когда-то в «Войне и мире» княжна Марья любила своих «Божьих людей». Это в Зайцеве исконно русское, народное. Вера в правосудие Божие у Зайцева нерушима. Под ногами у него всегда твердь. Отсюда и тлубокий оптимизм его писаний. Пока материалисты волнуются о своем житейском, а мертвые спят, любимые герои Зайцева «идут». Подлинная жизнь — всегда движение, а не стояние. И только в движении возможно просветление. Христианство для Зайцева, как и для Христофорова, — «аристократическая религия».

То, что было дорого Зайцеву в его ранних рассказах, осталось близко и те-

перь. В одной из последних его книг «Древо жизни» интересно проследить смягчение непреклонного Геннадия Андреевича. К старости в нем открывается снисходительность, благоволение к людям, становится понятнее «глубокое благообразие церкви». В длинной череде меняющихся героев Зайцева — он не последний. В начале книги суров, нетерпим, высокомерен, ничего, кроме своей работы, в мире не видит. К концу жизни смягчается: защитил истязаемого мальчика Сеньку, увидел и пожалел его мать. Понял: «жить трудно!» И Бог как-то незаметно входит в его душу. К внукам относится с большим пониманием, чем когда-то к детям. Дети, в свое время, его боялись, внуки не боятся, любят, — им он больше «своего» не навязывает. Прощание его с жизнью, с дореволюционным прошлым, передано глубоко лирически. Пришел с последним визитом уезжающий за границу гость. С ним тоже уходит осколок прошлого. А «в окне уже летел снег тихими крупными хлопьями, — тихо всё укрывал».

Геннадий Андреевич делается поборником смирения из духа противоречия революции. Противление, насилие — это в его характере, но вот только теперь — претивление добром. Смерть к Геннадию Андреевичу приходит после возмутительного коммунистического суда над ним, но она радостная, смягчающая. И перед концом кается перед женой: «Я тяжелый, трудный человек». Жалеет, что ничего ей не дал, а теперь поздно. Жил только для себя, свсими книгами, занятиями. «Суд» и была та милость Божия ему, которая преобразила его.

При описании его кончины интересна еще одна подробность, подводящая нас вплотную к другой теме Зайцева — его отталкиванию от всего западного. Кумиром Геннадия Андреевича при жизни был Петр Великий, — символ Запада, земного попечения, бунта против церкви. И вот теперь, за несколько дней до кончины, глядя на маску Петра, висевшую всегда в кабинете, Геннадий Андреевич неожиданно приказывает: «А теперь вот — пусть уберут». Преклонение кончено. Приходит к противоположному: «Евангелие... Это всё-с. Больше ничего нет, в этой книжечке всё-с... Это вот будет существовать и вечно будет светить». И дочь его Анна видит в изумлении, какой большой путь пройден отцом от прежних кумиров к этим словам.

Для Зайцева Запад — это прежде всего «вечные заботы о желудке». Музыкальное, лирическое исчезает, когда он говорит о «хозяевах жизни», а такими преимущественно и являются в его рассказах европейцы. При этом, ему совершенно безразлично, иностранцы ли они по крови, или европеизированные русские. Там, где нет движения, где человек застыл и крепко погружен в материальное, писателю остается только холодно констатировать. Всё сухо, трезво-деловито в рассказах об этих людях, и, кажется, что они написаны другим человеком. Те, кто всю жизнь хотят только «многого для себя», проходят в его повестях и рассказах, как чужеродные тени.

Описывая жизнь в Европе, Зайцев, с одной стороны, показывает нам, с каким презрением смотрят европейцы на неосновательных русских. Но и времена русского преклонения перед Западом безвозвратно прошли. «Власть, деньги, наслаждения определяют здешнюю жизнь с черствостью, которой не знаем мы». ... «Здесь абсолютно все знают, чего хотят — хотят существиного и среднего», — русской безмерности претящего. Слова суровые. Под ними мог бы подписаться и Достоевский, несмотря на всё различие духовного склада обоих писателей. И дальше: «Потому мы тут в загоне и всегда побежденные. Потому, с другой стороны, нам дышать тут не легко. Чтобы быть принятым гением здешней жизни, надо с молодых лет назначить себе размер ренты, которую хочешь получить к

старости: и на этом построить бытие». Зайцев не всегда только музыкален и мягок. Есть в нем и беспощадная зоркость, когда надо.

Вот перед нами три европеизированные русские женщины: Анета из «Изгнания», умеющая во всякой среде быть дома; Людмила из «Дома в Пасси», в которой есть что-то иностранное, сухое, с ее презрительным высокомерием к нищим русским; антропософка Марина из «Древа жизни», с ее истеричностью и лживостью прежде всего самой с собой: история с усыновлением. И как тонко тут же показана разница между настоящим милосердием девочки Тани, зажигающей в день «Всех Святых» свечечку на могиле одинокого русского — и мариниными «указаниями из высших духовных сфер». Первое — живое, теплое, простое. Второе — всё исполнено гордыни: мне знаки. И все от ума, театра.

Таков и шофер Лев из «Дома в Пасси». Всё это люди крепко на земле стоящие, в чужом мире легко и охотно растворяющиеся. Они входят как бы инородным телом в русский хаотически-неосновательный, но полный вечного очарования, быт. Говоря о Людмиле, автор как бы мимоходом отмечает ее «холодноватые» глаза; или — толковость и расчетливую предусмотрительность шофера Льва. Эти люди в России — русские, во Франции — французы, в Америке — американцы, т. е. ничьи. За удачными аферами, домовитостью, обеспеченностью скрывается небытие. Лучше всего оно выступает в маленькой парижской гугие Женевьеве, которая твердо знает, что «лицо не имеет значения». «И проходила или не проходила Женевьева, следа не оставалось, как от тени». Страшные и символические слова! Ей всё и все безразличны. Она, как Блоковская «Клеопатра»:

И не жива, и не мертва.

Никого не помнит по имени, и ее никто по имени не знает. Есть в ней что-то призрачное. Вероятно, поэтому ей так нравятся «безликие манекены», и она «совсем перестала думать». В ее мире существуют только «бедра», да «сберегательная касса».

С Матвеем Мартыновичем из повести «Анна» мы снова возвращаемся в Россию времен революционных. Матвей Мартынович честный латыш, очень обеспокоенный тем, «чтобы свинкам было жить удобно». Он типичен для наивного среднего европейца, который считает, что раз «с царскими был, и с советскими проживешь». Роковое и страшное в слове «ре-во-люция» для него закрыто, как закрыто для всякого, живущего лишь материальным. Быт его преуспевающего дома передан с беспощадной зоркостью: в маленькой кроватке «спал законный, от честного брака Мартыничик». Матвей Мартынович всегда доволен собою и окружающим. «В центре мира стоял он сам, хороший латыш». «С великим благодушием резал он собственноручно тех самых боровов, за весом и здоровьем которых следил при жизни их с такой любовью. Он и резал с любовью». Еще какой-то шат, и благодушный Матвей Мартынович превратится в добродетельного героя застенка. Но автор его до этого не доводит. В нем всегда, сквозь хозяйскую расчетливость, пробивается человеческое. Это показано главным образом через внешнее: «знакомая медвежатная шерстистость». Вот почему он так «легко сливается со всем царством сонно-живым, покоящемся в Матери-Природе».

Много страшнее его жена Марта. Про нее автор кратко говорит: «Марта тоже иногда резала свиней и тоже удачно». Как символичны тут эти свиньи! И чем-то библейским веет от них. В бестрепетной Марте есть устрашающее, почти бесовское. Из таких латышек, в революцию, выходили несомневающиеся чекистки. Близость Марты к палачам особенно ясна из слов автора: «Жидилстые, очень крепкие руки Марты и ее губы вызывали легкую как бы тошноту. Марта была

чиста телом, Анне же казалось, что от нее пахнет мясом». Это самый inferнальный образ, вызванный Зайцевым к жизни вместе с Ольгой Ивановной из «Греха» и Никодимовым из «Голубой звезды». Их можно причислить к неколеблущимся. Для Марты, как и для Ольги Ивановны, в мире существуют только деньги, да для Марты ещё гордость матки своим детенышем. Обе они холодные, твердокаменные. Для многих грешников, мужчин и женщин, есть у автора и жалость, и оправдание. Но для этих двух героинь, для Никодимова, для всех тех, для кого деньги — «самое первое», снисхождения нет. Вот как он характеризует Ольгу Ивановну: «Когда одни оставались и разговор заходил, всегда почти на деньги съезжали, как кто зарабатывает, да сколько». И еще она любит в газетах «уголовную хронику». В любовнике распалает дурное. Сам герой повести «Грех», от лица которого весь рассказ ведется, принадлежит к иному племени, чем Ольга Ивановна. Это слабый человек, но не преступник, хоть преступление и совершает. Близость готовящегося преступления, — наваждение над его душой, передано изумительно: «Помню, еду я, и все мне кажется, что за нашим поездом другой летит и в другом кто-то едет. Как мы на станции остановимся, нас догонят, войдет он в мое купе... И, вдруг, мне тогда всё стало представляться серым, точно на весь Божий мир тень кем-то брошена, несмотря, что солнце светит чрезвычайно ярко».

Проблема греха и преступления занимает Зайцева редко — это не его стихия, но тут нарастание зла, его власть над человеческой душой и трудность освобождения от него, даны превосходно. И как сказано про само преступление: «Но уж мне рук разжать нельзя было».

Но всё же и в этом жестком рассказе есть близкое автору, ради чего, вероятно, рассказ и написан был: смирение грешной, но еще живой души перед карой. И как он в прошлом своем чего-то хорошего и трогательного искал, и как, проходя по Москве с партией арестантов, Страстному монастырю поклонился. И разрешающим аккордом звучат слова, сказанные герою его бывшим учителем: «Впрочем путей нашей жизни никто не знает». В этом рассказе показано не только как грех овладевает, но и как он умирает в душе.

Революционеры тоже симпатиями автора не пользуются. Таков Кухов из «Золотого узора». Это всё завистники, места себе в жизни не нашедшие. Вот кто «новое искусство» создает!

С Анной, по имени которой названа повесть, и с Капой из «Дома в Пасси» мы уже входим в иную духовную атмосферу. Они обе сродни друг другу. В их любовных историях отлично передана всепоглощающая земная страсть, столь несвойственная другим героям Зайцева. В Анне и Капе есть что-то трагическое. Любовь для них «страшная вещь». Ее двойник — ревность. Анну хорошо характеризуют слова о том, что «под землей уж он мне не изменит». И она, и Капа любят для себя. Потому так ужасно и складываются их жизни. Первую свою ночь под кровом Аркадия Ивановича Анна ощущает не как свадебную, как погребальную: «Хоронят нас». Но всё же Анна не из тех, что «режут», как ее родственница Марта. Она предпочитает: «лучше сама помру». Вот почему в роковые годы революции она не палач, а жертва. Вот почему она как-то смутно, но уже начинает понимать, что хотя Аркадий Иванович и погребен в Серебряном с мужем ее приятельницы Немешаевой, но «это не они. Где они?»

И всё же мир Марты, Матвея Мартыновича, даже Анны — новый страшный мир, от которого еще далеки люди прошлого: Аркадий Иванович, веселье Немешаевы. В трагической повести об Анне от обычного Зайцева остались только описания природы, да тип Аркадия Ивановича. Здесь только он еще хочет что-то

в своей жизни исправить. «А то вот прошла жизнь и столько зря наделано, натрепано». Грешил он легко и много, но «не иссякал в нем лишь источник благоволения». И за это его все любили. Он — из тех привлекательных людей, которым охотно всё прощаешь. Для него характерно, что из всего Евангелия он только помнит слова: «Не судите, да не судимы будете», как бы сознавая и себя небезупречным. И еще любит он прекрасное, пусть в данном случае в его скромном облике: песне. В образе Аркадия Ивановича есть что-то легкое, недавящее. Его невеста Анна хорошо про себя знает: «мы — другие».

В этой повести только природа напоминает о небесном: «Белый снег, нынче родившийся, принес с высот заоблачных такую свежесть, такое бесплотное и как бы отрешенное благоухание, будто иной прохладный (любимейший эпитет Зайцева) и несколько грустный в нетленности свей мир сошел на землю».

Неудачница Капа — родная сестра Анны. Характернее всего для нее уныние, тяготение к смерти. Вот «летейские коридоры метро» — ее ежедневный путь на службу. В самом злободневном — веяние потустороннего. Она открыто признается, что: «Я даже люблю смерть больше, чем жизнь». Погибает она от неудачной любви к Анатолию Ивановичу, от неверия, неблагодарности, одиночества. Безнадежность — причина самоубийства. В дневнике она пишет: «Вот нынче какой славный юбилей! Моего спасения неизвестно для чего». Вместо благодарности — горькая усмешка. Для нее в мире всё бессмысленность, хаос, страдание. Замечательный священник, о. Мельхиседек, выведенный автором в этом романе, определяет Капу, как дух противоречия. Душа ее тяжело больна, выжжена. И смерть — соблазн. Разумная иудейка, Дора Львовна, искренне недоумевает, почему нехристиане с жизнью борются и её приемлют, а христианка отвергает.

Если Капа напоминает Анну, то ее избранник, Анатолий Иванович, смутно похож на Аркадия Ивановича. Он такой же жизнелюбец, но уже без всякого стремления что-то в своей жизни исправить. Да и обстановка, этот «выщелоченный Париж», никак не напоминает русскую деревню. Аркадий Иванович мог еще как-то достойно доживать свой век в вымирающей русской усадьбе. Анатолию же Ивановичу в Париже остается только роль *gigolo*. Всё в нем отравлено ложью, но лжет он всё-таки, как ребенок, и сам своему обману верит. Есть в нем и подкупающая наивная вера в то, что именно для спасения таких, как он, и жили святые, и что им непременно будет прощено. Это мужчины-Магдалины.

Совершенно особняком среди обитателей «Дома в Пасси» стоят генерал Вишневский и «летательный» священник, о. Мельхиседек. Генерал — это воин-рыцарь. Современность кажется ему похожей на войну по своей напряженности, и он знает, что, как во всякой войне, «важнее всего духовная стойкость». Жизнь русской эмиграции для него — «отступление». В отступлении же самое страшное — разложиться. И мечта его — поддержать падающих духом младших товарищей. Генерал никак не святой. Он человек гордый, волевой. Смирение ему чуждо. Он «всё помнит». «И не всё прощает тем, кто Россию распял». Замечательно тут то, что он не помнит обид, ему лично нанесенных. Все его мысли только о родине. И будучи нищим, чувствует себя барнином и судьей. Никакого непротивления, никакой слащавости. Характерно его отношение к Западу: «Сытые лица за кассой, красные щеки, раскормленные жены, эти су, су... аперитивы, автомобильчики, вся, знаете, эта воскресная пошлятина, меццанство... Я в России не так чувствовал... Уродство же с трудом выношу и чем дальше, тем больше». Знает он и свси границы, но, каюсь, от них не отказывается. Есть в этом генерале многое, что роднит его с Маркелом. Оба осознают путь, по которому надо идти, оба делают настоящее дело. Мечтательность, напряженное эстетическое изжива-

ние каждой минуты остались с Христофоровым в иной эпохе. Герси наших дней — не созерцатели, а деятели.

С «летательным» иереем о. Мельхиседеком мы уже в стане русских праведников. О. Мельхиседек — лицо вымышленное и собирательное. Но недаром посетил Зайцев Афон и Валаам. Их сияние и на отце Мельхиседеке. И цель его та же — служение. Светской жизни он «залить не собирается», но «когда к нам приходят люди истерзанные этой жизнью... мы стараемся утешить». О. Мельхиседек всем сочувствует, ни к кому не привязан. Это и есть монашество. Оно всегда привлекало автора. И, посетив Афон и Валаам, он написал о них. Замечательно в этих очерках гармоническое сочетание видений природы с передачей внутренней «светоносной» атмосферы монастырей. Словами: «светло, особенно, чуть не райская тишина» вводит он читателя-сопаломника в этот мир — «облик более высокой, чистой и духовной жизни». Здесь люди знают, зачем они живут, ощущают себя «нужными». В этих местах не покидает чувство, что всё «в порядке», и остается ощущение благословенности. Валаам для писателя облик Родины очищенной и преображенной. И на Валааме, и на Афоне паломник чувствует себя особенно во власти Божией. Монахи уже прошли ступень самоисправления. На горе Афон земное кончается, начинается вечное. Давно ушедшие святые подвижники — современники. Но, понимая, что быть монахом это «дар», в своих рассказах и романах Зайцев вывел нам только одного «нашедшего» — о. Мельхиседека. Вероятно, его, как писателя, всё же больше интересует сам процесс «путешествия».

Но кроме этих романов, повестей и рассказов есть еще у Зайцева книга, где он, светский писатель, становится летописцем. Это житие Святого Сергия Радонежского. Зайцев, как никто, понимает, что в наши дни особенно важно и нужно вспомнить русских святых, живших в такую же смутную эпоху, как и мы, и бывших утешением современников. И вот он знакомит с житием Преподобного Сергия широкие массы русских людей, «служит» своим даром.

Легко объяснимо, почему из всех русских святых избрал Зайцев именно Св. Сергия. Его всегда влекло к тишайшему, скромному, прохладному. Только читая это житие хорошо видишь, откуда у Зайцева такая тайная любовь ко всем странникам, чинной жизни противящимся. «Прохладная атмосфера» духа Св. Сергия — родная Зайцеву.

Написан Св. Сергий с ветхозаветной простотой языка, но и с глубоким умилением. И умиление заражает читателя. Только такими словами можно повествовать о чудесном. Ведь то, что мы называем «чудесным», — совершенно «естественно» для мира высшего, «чудесно» же лишь для нас, живущих в буднях и считающих, что кроме будней ничего нет. Зайцев указывает еще особенно на то, что Св. Сергий — плотник, огородник, пекарь, водонос, портной, но никак не художник «писатель». Не потому ли и избрал Зайцев Св. Сергия вместо Св. Франциска Ассизского, что он ему, писателю-созерцателю, противоположен?

Говоря о Св. Сергии, он отмечает его «серьезность», гармоничность, полное отсутствие бунтарства, даже во имя Божие. Нравится ему и то, что Св. Сергий «вне экстаза». Но всё же, в Св. Сергии и много родственного автору: скромность, простота, ясность. И особенно дорого, что «Сергий победил — просто и тихо, без насилия, как и всё делал в жизни». И важно то, что «вот именно утешить Сергий мог». Трагическое совершенно чуждо Св. Сергию, как оно чуждо и его певцу. Ведь иначе как песнопением и прославлением эту книгу, воистину «благоуханную стружку» к ногам Преподобного, не назовешь.

С особенным чувством повествует он о его кончине: «Святой почти уже за

пределами. Настолько просветлен, пронизан духом, еще живой преображен, что уже выше человека». Читая эти строки, мы снова прикасаемся к главной теме писателя: преобразению человека на путях скитания и страдания.

На одном конце этого пути Св. Сергий, на другом — Марта, Ольга Ивановна, Никодимов, Женевьева. А между ними целый ряд мужчин и женщин, вымышленных и действительно живших. Среди последних особое место занимает книга о Жуковском.

Три биографии русских писателей написаны Зайцевым: «Тургенев» (1949 г.), «Жуковский» (1951 г.), и «Чехов» (1955 г.). Из них самый чужой автору — Тургенев, самый родной — Жуковский. Есть во всем облике Жуковского черты особенно дорогие Зайцеву. Само появление на свет Жуковского — «знак мира» для семьи его приютившей. «Храм — первое пристанище души его». Даже его ложное положение — преимущество: «удаляло от кичливости, высокомерия, барства». Черты смирения и скромности проходят через всю жизнь Жуковского. И дальше всё в его жизни складывается так, чтобы каждое событие шло для развития возвышенного и, вместе с тем, чтобы ничто слишком плотскими цепями не привязывало к земному. Излюбленная тема странничества резко проявляется в жизни поэта. И лейтмотив его первых стихов — высшее побеждает всегда — тот же, что и у его биографа. Всё благословенно. В этих словах уже преодоление смерти. Сама эпоха, когда «дружба была священна», дорога Зайцеву. И сколько поэзии и понимания внесено Зайцевым в определение Маше Протасовой: «русский скромный цветок, кашка полей российских». Тут невольно напрашивается сравнение с Полиной Виардо. Две любви двух русских писателей, и какая между ними пропасть! В Маше Протасовой сквозит Беатриче. Отсюда связь Жуковского с Данте. Зайцев тоже связан крепкими узами с итальянским поэтом. Любовь для обоих — светлая путеводительница странников. Маша Протасова ведет Жуковского к Богу через любовь. Формальной религии Жуковский не любил, но через Машу, «во всём детски матери покорную, открывается ему тайное сердце религии — религия сердца». Обмен кольцами Маше и Жуковского — обручение «на новое возвышенно-прекрасное, но в земном плане безнадёжное». Жуковский, потеряв Машу, делается «путником», дома не имеющим, самый дорогой образ человека для Зайцева. В жизни Жуковского проявилась и другая автору дорогая идея: «животворность» горя. Примирение, принятие жизни со всеми горестями ее для Жуковского, как и для Зайцева — тема основная. Высота изживания скорби у Жуковского особенная, ни с кем несравнимая. «Жуковский любил называть странствие наше ночной дорогой, где расставлены фонари, освещающие путь — память о прожитом и есть память о светлых этих участках близ фонарей».

Отвращение Зайцева ко всяческой рисовке, фразе, внешнему блеску проявляется особенно ярко, когда он характеризует отношение Жуковского к крепостному праву. Жуковский «Аннибаловых клятв» не давал, а своих четырех крепостных на свободу отпустил». Зайцеву близко только цельное, негромкое. И это — эпоха Маяковского, базара, рекламы!

Для него жизнь и литература неразделимы. Между ними должна быть гармония. Никаких скачков, взлетов, падений. Ровный тишайший свет. Он когда-то привлек Зайцева к образу Св. Сергия. Теперь, в иной области, куда более смиренной, он тоже находит «своего героя». И пишет о нем с проникательной любовью. Сочувствие не ослепляет: «лазурность Жуковского есть одновременно и разряженность». Религиозное отношение к жизни требует серьезности. И путь литературы должен быть тоже религиозным: «Поэзия религии небесной сестра земная». Это верно для Жуковского, но это верно и для его биографа. У них одна

программа: «Литература должна питать». Русская литература часто была устремлена к воплощению земных страстей, занята жизнью дольней. Зайцев порывает с этой традицией. Лучшее в нем — напоминание о небесном, некое «во имя». И никто теперь так, как Зайцев, не понимает явление Беатриче в жизни поэта. Вот почему никто так о любви Жуковского и Маши Протасовой написать не мог. И вывод Жуковского после смерти Маши: «Жизнь не для счастья», — тот же, что и у любимых героев Зайцева.

Биография Жуковского написана Зайцевым отчасти как «житие». Вопросы религии, духа, совершенствования — на первом месте. Грубо-житейское, страстное отброшено. Порою кажется, что многое словно в монастыре написано. Для Жуковского искусство — не единый смысл бытия, есть высшее — религия. «Наипаче ищите Царствия Божия», — давний великий зов, пронсящийся над русской литературой с Гоголя, в одном Жуковском нашедший завершение гармоническое. И в его биографе тоже, скажем мы.

Литература в изгнании

Книга профессора Г. П. Струве «Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы» (1956 год, 414 стр.) была выпущена в Нью-Йорке издательством имени Чехова уже «под занавес», в ряду самых последних публикаций этого — к несчастью — ликвидированного книжного предприятия, закрытие которого наносит тяжкий удар русской культуре в эмиграции. *) Однако такую книгу, дающую отчетливый набросок сложной истории не только русского художественного слова вне России, но и общей судьбы русской культуры за рубежом, следовало бы выпустить, может быть, первым томом в серии «чеховских изданий». Такая книга необходима эмиграции прежде всего для «самоосознания», для понимания уже пройденных ею путей, для возобновления «на экране памяти» хотя бы некоторых этапов ее прошлого, дел и свершений хотя бы некоторых из ее представителей, — в первую очередь тех, кто и «в прекрасном далеке» от России убежденно сохранял и развивал основу национального бытия — живую художественную речь, творческое русское слово. Надо откровенно сказать, что то умирание «отечественной культуры» в русской эмиграции, свидетелями которого мы все сейчас являемся, не в последней степени объясняется, наряду с иными самоочевидными причинами, полной или частичной утратой перспективы, забвением или незнанием героической борьбы и многих значительных побед русских эмигрантов на «культурном фронте». После второй мировой войны в эмиграции утвердился непоколебимый «примат политики над культурой». Явление это понятное, законное, необходимое. Но такие труды, как книга Г. П. Струве, напоминают с большой силой, что культурная работа русской эмиграции, в частности, вольная ее, свободолюбивая в основном и всегда ищущая литература, крупнейший фактор в сложнейшем микрокосмосе, называемом российской антикоммунистической эмиграцией. Об этом полезно знать и не эмигрантам. Ныне косвенное признание ценности эмигрантского культурного делания можно обнаружить даже в самом Советском Союзе. Как ни оговаривай в двусмысленных предисловиях «патриотическое настроение» Бунина, Бунин писал в эмиграции и был, по определению, на этот раз верному, советских энциклопедий, «заклятым врагом» большевизма. Переиздание его произведений в нынешней России есть не только «признание» его ослепительного таланта, но

*) В Париже прекратило работу и закрыло книжный магазин издательство «Возрождение», обязанное своим долголетним существованием меценатству А. О. Гукасова. Сохраняется лишь однсименный журнал.

также и обнаружение перед российским читателем русской культуры в изгнании. Если в советских академических изданиях начинают цитировать подчас с тридцатилетним спозданием, иногда стыдливо опуская год издания, отдельные научные работы русских эмигрантов, — это есть тоже признание эмигрантского культурного делания, ибо цитируют не «согласителей» из эмиграции, а таких серьезных авторов, как покойный Н. Т. Беляев, А. Н. Грабар, покойный А. А. Кизеветтер.

Само собой разумеется, что тема русской литературы в изгнании не есть лишь проблема «изящной литературы» и не может быть темой «чистой эстетики», то есть только оценок качества или формального анализа. Не имела права эта тема превратиться и в околофилософское рассуждение о действительных и мнимых «добродетелях» и «пороках» того или иного литературного направления. В основе разворачивания такой большой темы, особенно если это производится впервые, должна лежать историческая реальность во всей ее идейной сложности. К счастью для темы и для читателей, ею занялся крупный и, кажется, единственный сейчас эмигрантский специалист по истории новейшей русской литературы, Глеб Петрович Струве. (Кроме него пишет на эти темы по-английски М. Л. Слоним). Иногда читатели неосновательно путают задачи критики и историко-литературного исследования. Струве — мастер обоих жанров. В своей работе он, как современник и участник описываемого им явления, произвел сознательное и последовательное соединение обих начал: повествование историка литературы и характеристики взыскательного критика. Осуществление этого замысла чрезвычайно повысило удельный вес книги: этот замысел придал ей местами спорность, но в то же время сделал ее резко индивидуальной, животрепещущей, лишил возможной академической сухости. Неудивительно, что книга задела мнстих, ибо обнаружила их самих в неожиданном, для них же, аспекте. Из предисловия видно, что автор оказался перед немалыми затруднениями, — в первую очередь из-за неполноты эмигрантских изданий в западно-европейских и американских книгохранилищах. Русский Исторический Архив в Праге, располагавший наиболее систематическим собранием «эмигрантики», недоступен. Автору, по-видимому, пришлось уже в процессе работы менять отчасти пропорцию частей книги: создается впечатление, едва ли ошибочное, что первые главы написаны более детально, чем дальнейшие. При рассмотрении структуры книги возникает сомнение, стило ли вообще столь бегло касаться послевоенного периода эмигрантской литературы: здесь всё еще в брожении, все неясно, никакой кристаллизации еще нет. Более того, есть основания думать, что эмигрантская литература потенциально гораздо мощнее, чем принято считать: и если наши журналы, газеты и издательства поведут, наконец, правильную литературную политику, то есть политику конструктивную, ориентированную «на завтра», если будет проявлена воля к поощрению литературного творчества, эмигрантская литература обогатится рядом неожиданностей, устраняющих излишний пессимизм прогнозов.

Во всяком случае, Струве весьма осторожно ставил себе цели, когда создавал книгу: «подвести какие-то предварительные итоги», составить «приблизительный инвентарь зарубежной русской литературы» до 1939 года. Знаток советской литературы, автор серьезной книги на английском языке о ее судьбах, Струве с полным правом подчеркивает, что «зарубежная русская литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы», и выдвигает эту теорию «единого потока», как некое основоположное утверждение в своей идейной концепции. Этот тезис, оправданный всем текстом книги, нельзя не привет-

ствовать. Русская зарубежная литература, конечно, не только по языку русская, не только вспоминает о России, но и обращена к ней, являясь и созданием русской культуры и сама одновременно создавая эту русскую культуру, хотя бы и вне исторического месторазвития последней. И если для ряда советских авторов, из-за их творческой связанности «актуальностью», из-за условности тем и развития последних, уже начался «серый день забвения», эмигрантская литература находится на пороге своего «открытия» российским читателем. И не надо быть провидцем, чтобы предсказать грядущее торжество на родине произведений таких писателей, как Алданов, Зайцев, Зуров, Ремизов, Сириин-Набоков, Шмелев и иные, у которых, к счастью, мало злободневности, но зато столь много того, что определяется внешне неясным, но внутренне точным понятием «художественной подлинности».

Нет смысла, конечно, останавливаться на перечислении глав книги и их содержания: надо горячо рекомендовать книгу пристальному вниманию всех кругов русских читателей. Важнее сделать конкретные замечания о некоторых сторонах книги, о некоторых пропусках в ней, а равно и о чисто критических суждениях автора, ряд которых и нов и смел.

Первое не столько добавление, сколько припоминание относится к перечню обзоров русской зарубежной литературы. Если не изменяет память, такой обзор в весьма сжатой форме был сделан А. Л. Вемом на чешском языке, кажется, для нового издания (перед войной) Массариковской Научной Энциклопедии, а может быть, и для иной публикации. Кроме того, подобные обзоры бывали в различных изданиях, посвященных прекрасному празднику — Дню Русской Культуры, который так обидно забыт в послевоенные годы.

В однодневных, выходявших повсеместно, изданиях, посвященных этому дню Русской Культуры, бывали и не раз и не два статьи о зарубежной литературе. Помнится, что нечто в этом духе можно найти в пражском журнале «Знамя России», органе Трудовой Крестьянской партии, в половине тридцатых годов выпускавшей специальные номера ко Дню Культуры. Подобные очень сжатые сводки о современной русской литературе печатались ежегодно, кажется, с 1934 года по 1939 в «Вестнике Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии». В них никогда не было полноты, но, вероятно, они представляют собой некоторый интерес, как отголосок современности, и для большей точности «инвентаря зарубежной литературы» их следовало бы упомянуть в примечании. В важной вводной главе — «Исход на Запад» — списки эмигрировавших писателей оказываются численно богаче, чем перечень библиографа Владиславлева, цифру которого — 38 человек — принял П. Н. Милюков в «Очерках по истории русской культуры», том II, часть I, Париж, 1931 г. стр. 393. Жаль, что Струве не упомянул о подсчете Владиславлева, сведения о котором, благодаря Милюкову, довольно распространены. Тем не менее, и список Струве мог бы быть пополнен, если бы не условность понятия «известные писатели». К сожалению, Струве не остановился вовсе на упоминаниях в советской печати об эмигрантской литературе, а иногда даже бывали целые статьи (кажется в тридцатом году писал Д. Горбов, называя Бунину и других писателей старшего поколения — «мертвой красотой»). Из некоторых рецензий на книгу видно, что список литераторов, почему-то не упомянутых Струве, довольно длинен. Но если это, в значительной мере, плод беглого описания теперешнего положения литературного зарубежья, то всё же есть пропуски в изложении более раннего периода. В оправдание автора они относятся — главным образом — к эмигрантской периферии, в частности — к Прибалтике.

Здесь надо подчеркнуть роль П. М. Пильского, умаленную в книге Струве (стр. 183). Пильский до революции сотрудничал не только в «Биржевых Ведомостях», которые к тому же в литературном отношении были неплохи, но и в «толстых журналах» («Современном мире» и др.). Была у него и книга критических статей и хорошее критическое имя. В Эстонии он несколько лет сотрудничал в ежедневной газете «Последние Известия» Р. С. Ляхницкого, где принимали участие М. П. Арцыбашев, А. С. Изгоев, Борис Лазаревский, В. Н. Сперанский и другие крупные имена. Там он и опубликовал фельетонный роман «Тайна и кровь» под псевдонимом А. Хрущев. Говорили, что фельетоны эти были написаны на пари в течение семи дней. Позднее роман был издан отдельной книгой в Риге. Затем Пильский перешел на короткое время в «Нашу газету» выходящую в Таллине при участии проф. М. С. Курчинского и Л. М. Пумпянского и под редакцией П. М. Шутякова, бывшего редактора петербургской «Газеты-Копейка», а оттуда — в «Сегодня». Влияние Пильского в Прибалтике было велико и плодотворно. Огненные речи его пробуждали даже «литературно глухонемых». Его неизменная доброжелательность к зарубежным авторам — даже к гимназистам, то есть сверхначинающим — вовсе не была результатом «неразборчивости», как кажется Струве, но пониманием трудного положения литераторов за рубежом, когда отрицательный отзыв влиятельного «Сегодня» мог бы оказаться роковым. Пильский владел огромным запасом слов, и оттенки его суждений были отлично видны его постоянным читателям. Нередко бывал он и ядовитым полемистом «с открытым забралом». Страстно преданный русскому искусству, русскому театру, русской литературе Пильский умел их защищать. В Прибалтике, постепенно охватываемой в тридцатые годы малодержавными шовинизмами, Пильский всегда был глашатаем русской культуры, виртуозно умея находить такие оттенки выражений, которые передавали и суть дела и в то же время не затрагивали местных амбиций. Не надо забывать, что в ту эпоху «Сегодня» играло в Прибалтике крупную роль связного органа, читаемого во всех прибалтийских государствах и в Польше не одними русскими. Пильский часто писал под псевдонимами (П. Стогов, Петроний, А. Хрущев, Р. Вельский и др.), но его можно было безошибочно узнать по стилю, по игре эпитетами. Его девизом было: «Все жанры хороши, кроме скучного». Отчасти это было результатом отчетливого понимания русской читательской среды в Прибалтике: она была осколком российской провинции, которую надо было неизменно будоражить и привлекать ярким словом. Пильский появлялся не только в «Числах», — в «Современных Записках» была напечатана его статья о Лескове. Тяжелая болезнь спасла его от ареста, когда Прибалтика стала советской. После него остались многочисленные статьи, некоторые из них собраны в книги. Продуктивность его была изумляющей: редкий день ему не приходилось писать целый «подвал» для газеты. Пильский остался в памяти колоритнейшей фигурой, действительно, верным рыцарем русской литературы, часто по истине вдохновенным критиком балета и театра. Иронический по складу ума, он ценил всякое творческое усилие в области искусства и любил скорее поощрять, чем обескураживать, — в контраст с обычаями «эмигрантских столиц».

Есть споры, следовало ли Г. П. Струве в его книге посвящать внимание «второсортному» и «случайному» в эмигрантской литературе, не выигрешнее ли было бы ограничиться «литературной элитой». Спор этот — неоснователен. Струве в своих характеристиках неизменно дает «классификацию авторов», иногда весьма индивидуальную. Но стремление его составить «инвентарь» зарубежной словесности на русском языке нельзя не приветствовать: методологически и по сути

дела без него не обойтись в «историческом обзоре». Именно поэтому рецензент позволяет себе останавливаться на фактах и именах, которые ничего не говорят большинству читателей «Граней», а в некоторых случаях, вероятно, и самому Г. П. Струве, но напомнить о которых следует хотя бы только в расчете на будущих историков и для полноты общей картины.

Продолжая разговор о Прибалтике, следует указать, что там одновременно выходило немало кратковременно существовавших журналов, — как раз из их недр вышла ныне популярная писательница и публицистка Ирина Сабурова, вовсе отсутствующая в книге Струве. В двадцатые годы в Эстонии заметную роль играл Г. И. Тарасов, отличный театральный критик, знаток истории русского масонства сотрудник ряда прибалтийских изданий, сам поэт и прозаик, журналист и ценитель литературы, который работал и в старейшей тогда зарубежной литературно-общественной организации — Литературном Кружке в Таллине, читая там о поэзии и даже о советских авторах, последнее считалось неслыханной смелостью, и который неизменно поощрял молодежь, — так, по его настоянию, был напечатан в упоминавшемся выше «Последних Известиях» большой отчет о «литературном крещении» Ю. П. Иваска в том же кружке с выдержками из ивасковского «Слова о Гоголе». Тарасов вернулся в Россию, где в начале тридцатых годов вышла его интересная книга о кукольном театре. Следовало бы упомянуть о существовании в Нарве тогда самой старейшей зарубежной газеты — «Старый Нарвский Листок», — основанной еще в девятностые годы прошлого столетия. Из недр этого преславнейшего органа печати (с «раешником» и с передовыми статьями в духе Чехонте — «Мы не раз предупреждали Францию...») вышел небезынтереснейший прозаик, не вполне нашедший свой жанр, по существу бытовик, но любивший писать в «лирическом ключе», что ему не было всегда к лицу, Василий Акимович Никифоров-Волгин: о его книге рассказов «Земля-Именинница» стоило бы упомянуть, тем более, что сам автор считал себя (не вполне, впрочем, по праву) «духовным учеником» Б. К. Зайцева. Он был арестован советскими органами в 1940 году. Забыт беллетрист Владимир Гуштик, тоже имевший сборник рассказов: он поклонялся Куприну. Не назван Андрей Задонский, выпустивший в Риге роман и, кажется, несколько сборников новелл. Нет почему-то имени Павла Иртеля, хотя именно он превратил таллинскую «Новь» из газетной однодневки в журнал. Не назван поэт Борис Нарциссов, пишущий и сейчас в «Гранях» и в «Новом Русском Слове». Нет имени и второй юрьевской знаменитости, Сергея Маслова, — впрочем, трудно указать, насколько много и где именно он печатал свои интересные стихи. К сожалению, ни слова не сказано о поэзии печерянина Бориса Константиновича Семенова, члена пражского Скита, — в ней было нечто своеобразное. Забыты очень способный, разножанровый Ярослав Воинов (Таллин, а затем Южная Америка), популярный «очеркист» — главным образом — «Петербургского мира» — Юрий Галич, выпустивший в Риге несколько книг, несомненно талантливый фельетонист «Сегодня», Лев Максим (псевдоним), фельетонист-стихотворец Лери (псевдоним). Не находим имени А. А. Владовского, написавшего и издавшего в Таллине исторический роман о Вавилоне с рисунками самого автора, по профессии архитектора. Нет имени таллинской поэтессы — Меты Роос, заслуживающей упоминания хотя бы уже потому, что, будучи эстонкой и живя в независимой Эстонии, она всё же писала по-русски. Нет упоминания и о публицисте В. А. Пейле, кажется, единственном эстонском евразийце, ученике П. Н. Савицкого, издававшем в конце тридцатых годов на русском языке не то журнал, не то сборники проевразийских статей. Список таких обойденных «прибалтийцев» мог бы быть удлинен, и он не исчер-

пывающ, ибо составляется по памяти, — целью его является только напоминание, что в Прибалтике литературная жизнь — в широком смысле понятия — была много своеобразнее, чем это представлялось со стороны. Между прочим, в Риге самой не было всегда гегемонии «Сегодня». Там много лет работало мощное издательство «Саламандра», то самое, которое издавало иллюстрированный журнал «Перезвоны», а в них сотрудничали и Б. К. Зайцев и И. С. Шмелев и ряд других крупных писателей (то самое, которое издало первые книги Леонида Зурова, «Кадет», «Отчина»), и которое имело большую ежедневную газету «Слово», с неплохо поставленным литературным отделом. Редактировал газету Н. Бережанский, а секретарем некоторое время до своего отъезда во Францию состоял Зуров.

Следует для «будущего историка» указать, что упоминаемая Струве таллинская «Новь» была первым за рубежом всецело молодежным изданием (до того в отдельных газетах стали появляться «страницы молодежи»). Инициатива издания принадлежала С. М. Шиллингу, секретарю русского национального меньшинства в Эстонии. Осенью 1928 года газета вышла ко Дню Русской Культуры, отмечаемому в Таллине обычно в октябре, и неожиданно имела громадный моральный успех и разошлась без остатка, дав даже прибыль. Любоспытно, что в этих публикациях «Нови» 1928, 1929 и 1930 годов было немало начинающих авторов, позднее получивших некоторую известность в области русской культуры за рубежом и в России: философ С. А. Левицкий; историк и ныне международный специалист по русским радиопередачам В. С. Франк; критик и поэт Ю. П. Иваск; критик Г. Д. Хохлов, попавший под псевдонимом «Ал. Новика» даже в критический отдел «Современных Записок», а по возвращении в Россию сотрудничавший в «Литературной газете», пока его не смела «ежовщина»; биолог и зоолог К. И. Гаврилов, ныне профессорствующий в Аргентине, и многие другие и здесь и на родине, вплоть до известного всей новейшей эмиграции, общественного деятеля в Германии, Ф. Т. Лебедева. Опыт издания «Нови» вдохновил молодых рижан (Николая Истомина, А. Иллюкевича, Г. Матвеева и других) на еще более смелую попытку — выпуск еженедельной молодежной газеты: «Наша газета». Но, как и следовало ожидать, дело это оказалось энтузиастам не под силу, — издание очень скоро было прекращено. Тем не менее, эпизод с появлением «Нашей газеты» очень характерен, потому что он обнаружил стремление у молодежи к созданию «органов печати» несколько иного профиля, чем существующие, и к выявлению новых культурных сил, нового поколения зарубежья.

Второе «литературное местораземитие», о котором рецензент может сделать фактические уточнения и дополнения, это — Прага.

Следует уточнить, что здешний Скит был создан не А. Л. Бемом, как думает Струве (стр. 67), а Александром Туринцевым и Сергеем Рафальским. Именно они впервые пригласили туда А. Л. Бема, переехавшего в Прагу из Варшавы, где он был связан с «Таверной поэтов», пригласили для прочтения курса по поэтике. Естественно, что очень быстро Бем стал руководителем, пестуном и душой этого литературного объединения, с довольно быстро менявшимся составом членов, ибо основу их составляли русские студенты. Позднее Бем пытался сделаться «литературным идеологом» Скита, но добиться этого не смог: единства мнений в Ските никогда не было. Самые младшие «скитники», как, например, всегда острый в дискуссии Владимир Мансветов, несомненно очень тонкий, одаренный Евгений Гессен и другие менее известные, явно ушли или — точнее — уходили из-под влияния Бема.

Для полноты картины стоит указать, что ряд лет существовал в Праге другой, гораздо менее квалифицированный кружок — «Далиборка», руководившийся Ко-

жевниковым, — там читывал свои рассказы А. А. Воеводин, начавший писать еще в студенческих журналах первых лет русской эмиграции, во время войны арестованный Гестапо за помощь чешским подпольщикам и, по-видимому, погибший в концлагере Терезин. Стоит также добавить, что в Праге была особенно благоприятной общая атмосфера для интересующихся литературой. Русский Свободный Университет, во главе со своим ректором, профессором М. М. Новиковым, и Союз русских писателей и журналистов, во главе с С. И. Варшавским, постоянно устраивали самые разнобразные литературные лекции, дискуссии и вечера чтений произведений отдельными авторами, и заслуженными и молодыми, местными и приезжими (из последних запомнились чтения Бунина, Сирина-Набокова, М. С. Осоргина). В Русском Свободном Университете велись из года в год различные, открытые для всех желающих, семинары по истории и теории литературы, где немало внимания отдавалось современным писателям. Свою долю оживления вносили высоко котиrowавшиеся среди молодых авторов «литературные чаи» в редакции «Воли России», обычно совпадавшие с приездами из Парижа М. Л. Слонима, хорошо умевшего поднимать «творческие настроения» среди пражан, — его и ценили и любили, уважая его литературную смелость, большую заинтересованность в судьбе русского художественного слова и широкую, совершенно внеличную, постановку проблем. Устраивали литературные собрания и библиотека Земгора, Русский Очаг графини С. В. Паниной. Были и закрытые литературные кружки (у историка Б. Н. Евремова, у В. Ф. Булгакова, последнего секретаря Л. Н. Толстого, и у других).

В виде пражского курьеза надо упомянуть роман «Тундра» (об эмигрантской Праге), написанный профессором Е. А. Ляцким и опубликованный в издательстве «Пламя», чехословацком прототипе американского Чеховского издательства, главным руководителем которого сам Ляцкий и являлся. В журнале на русском языке, выпускавшемся Чехословацким Министерством Иностранных дел, «Центральная Европа», помещалось немало переводов с чешского на русский язык, делавшихся русскими литераторами, — например, Вячеславом Лебедевым: эту интересную область, вообще слабо представленную в эмиграции, стоило бы осветить подробнее.

К сожалению, не названа талантливая книга очерков М. Л. Слонима «По золотой тропе. Чехословацкие впечатления», написанная с большой меткостью в описаниях, живо и верно передающая черты и аромат ныне уже ставшей легендарной эпохи расцвета молодой славянской республики. Не упомянута также интересная книга того же Слонима, посвященная характеристике ряда советских авторов — «Портреты советских писателей», — между тем, книга эта, написанная, конечно, с полной идейной независимостью, характерна не только для позиций самого критика, но и для настроений некоторых кругов эмиграции в тридцатые годы. Во время немецкой оккупации книга продавалась «из-под полы» за баснословные деньги, и ее с увлечением читали интеллигентные беженцы с востока.

О пропусках и неточностях при описании иных «литературных месторазвитий» уже упоминалось в различных рецензиях на книгу Струве. Однако, кое о чем необходимо сказать также здесь. Сам автор оговорил вынужденную неточность в характеристике зарубежных дальневосточников. Напрасно не названо популярное имя Марианны Колосовой, дух стихов которой соответствовал их подчеркнuto декламационной форме. У Арсения Несмелова не обнаружено самое основное «влияние» или сродство: связь его любопытного со многих точек зрения творчества с ранним Николаем Тихоновым. Во всяком случае, например, в вели-

колетной «Балладе о черном бароне» Несмелова звучала некая переключка с тихоновским столь удачным «остранением» русского балладного жанра, смело наполненного Тихоновым героикой и современностью, — именно поэтому ранний Тихонов останется наиболее интересной главой в творческой биографии этого ныне шестидесятилетнего писателя, постепенно теряющего в блеске за счет трудолюбия и скучной «законопослушности».

Удивительно, что пропущен лучший зарубежный «мастер очерка и репортажа», автор нескольких талантливых книг, сотрудник «Последних новостей» в Париже и ныне «Нового Русского Слова» в Нью-Йорке, Андрей Седых (Я. Цвибак). Не сказано о М. П. Арцыбашеве, что им велась публицистические «Записки писателя», вышедшие и отдельно, и неустанно «будившие патриотическую тревогу» у русских в Польше и Прибалтике. Ничего в подробностях не рассказано о том периоде, когда некоторые литераторы пытались работать в «немецкой печати на русском языке», — печальная глава, но ее нельзя выкинуть, как «слово из песни», тем более, что в ней принимали участие и способные люди, как берлинец Вл. Деспотулли, получивший от собственных сотрудников его «Нового слова» злую кличку «Гестапулли», или барон А. В. Меллер-Закомельский (Р. Мельский), издававший в Праге в конце войны журнал с названием достаточно бесцеремонным — «Новые вехи», — к счастью для участников этого идейно омерзительного предприятия, основной тираж, по-видимому, был уничтожен советскими органами в мае 1945 года. Этот «скверный анекдот» в истории зарубежной журналистики, в который Мельским были вовлечены некоторые крупные имена, показал в то же время стойкость отдельных представителей русской интеллигенции, категорически отвергших, как, например, евразиец П. Н. Савицкий, сотрудничество, что само по себе являлось актом немалой смелости.

Если пропуск всей этой грустной страницы в «историческом обзоре» можно понять, как признание эпизода случайным для русской культуры за рубежом, и можно отчасти объяснить нежеланием задевать здравствующих лиц, ее заполнявших, нельзя обойти молчанием забвение Струве «Социалистического Вестника», издания, имеющего и крупное международное значение и, конечно, уже занявшего определенное место в истории русского социализма. Это — промах, тем более огорчительный, что В. А. Александрова ведет там уже десятки лет отдел заметок о советской литературе, давно превратившихся в своеобразную и интереснейшую летопись о зигзагах «литполитики» и судьбах русского художественного слова в СССР. Хотя «Социалистический Вестник» никогда не интересовался эмигрантской литературой, будучи изданием, обращенным к проблемам России и международного социалистического движения, он является органом эмигрантской публицистики, которая, как специально оговаривал Струве в предисловии, тоже входит в предмет его описания. Здесь позволительно высказать одно наблюдение: социал-демократические идеи не получили, кажется, никакого отражения в зарубежной художественной литературе, хотя едва ли не все иные «идеологии» и политические течения находили в какой-то мере созвучных себе авторов, — от монархистов до национал-большевиков и анархистов. Нашли их, вопреки сомнению Струве (стр. 48), и евразийцы. Можно категорически утверждать, что знаменитая поэма «Конница» Алексея Эйслера, вещающая о фантастическом походе на Европу «племен России», среди которых принимают участие «маньчжурские бешеные полки», с развивающимися «жёлтыми драконами», — о походе, кончающимся в Париже, есть прямое преломление, конечно, вольное по форме, некоторых аспектов евразийских взглядов, которые, можно засвидетельствовать, в какой-то мере занимали одно время поэта. Напротив, в немнее знаменитой «Поэме времен-

ных лет» Вячеслава Лебедева, опубликованной вместе с «Конницей» в 1928 году в «Воле России», выражено идейное отталкивание от евразийских теорий. «Перед Европой — на колени», «здесь каждый камень мостовой умней российских библиотек» — в таких сентенциях, во всей устремленности поэмы, в взыскании поэтом времени, когда и Россия, как бы вернувшаяся во время врангелевской эвакуации в Константинополь свою эмблему обособленности от Европы — «так Византии возвращен двуглавый герб Палеологов», станет, наконец, просто Европой: — «И зазвучит с антенных лир, среди полдей, над грядами укропа: — Покой и мир. Дано: Тамбов. Июль. Европа» — выражено то крайнее западничество, которое рождалось в азарте страстнейших дискуссий «вокруг евразийства». Вероятно, следовало бы хронологически пересмотреть и поэзию Марины Цветаевой, которая всегда ощущала двойную ипостась России, была близка ко многим ведущим евразийцам, посещала евразийские семинары, ее муж — Сергей Эфрон был одно время евразийцем, как и литературный друг ее, князь Д. П. Святополк-Мирский и, конечно, такие ее строчки, как призыв к поэту, «словсискателю, словесному хахалю», «слухануть разок», «как ахал в ночь паловецкий стан» свидетельствуют, по крайней мере, о душевном родстве с тем, что составляло эмоциональную базу евразийства. Наконец, было бы, кажется, справедливым записать на счет евразийства и «Версты»: не следует их объявлять «евразийским органом», однако, в них, как мимоходом (стр. 75) справедливо отмечает и сам Струве, был «евразийский душок», и гораздо более того — определенное евразийское сущение ряда литературных, культурных и исторических фактов.

Переходя от фактических дополнений или припоминаний к критическим оценкам Г. П. Струве творчества отдельных авторов, необходимо оговорить, что здесь, прежде всего, надо указать главнейшие несогласия, заранее подчеркивая их субъективность. И не потому, чтобы спорить с автором, выполнившим свой замысел с убежденностью в своей правоте, но с целью просто подвергнуть обсуждению отдельные спорные утверждения, попытаться «выровнять» некоторые не совсем справедливые оценки. Пожалуй, в этих критических характеристиках Струве с наибольшей ясностью сказалось то обстоятельство, что Г. П. Струве не только историк литературы, не только критик (те авторы, на произведениях которых откликнулся в свое время критик, рассмотрены, естественно, более основательно, чем остальные), но и сам поэт. Очерки зарубежной поэзии, кажется, удались Струве часто лучше, чем — в общем — характеристика прозы.

Остается впечатление, что иногда в вопросах прозы Струве как-то остается под властью уже сформулированных оценок, — например, явно под давлением высказываний Ф. А. Степуна допускается несомненное преувеличение в самом внимании к художественно бледным рассказам Георгия Пескова; непропорционально большое место отведено Юрию Фельзену, вероятно, только от того, что им столь много занималась в свое время критика. С другой стороны, трудно отделаться от впечатления о недооценке, несмотря на наличие похвал, творчества Бориса Зайцева и М. А. Алданова, — по-видимому, вопрос здесь только в некоторой отчужденности критика от Зайцевского «метода вчувствования» (удачное определение Струве) и от блеска всепонимающей иронии Алданова. Это вовсе не упрек, это — выяснение, почему именно страницы Струве об этих больших писателях кажутся неполными, не совсем удовлетворяют читателя. Самые интересные замечания Струве достались, конечно, Сирину-Набокову, проза и поэзия которого привлекают много лет внимание критика, здесь множество ценных наблюдений, острых определений, убедительных объяснений. Удачны очерки о Бунине, о Ремизове, о Гайто Газданове, хотя странно, что Струве по «арифметическому прин-

ципу» пытается отрицать влияние Пруста на ткань и метод Газдановской прозы, — не существенны, конечно, размеры книг, но критик прав, что рассказы Газданова как-то удачнее, можно сказать, многосмысленнее, чем романы.

Очень резко отозвался Струве о недавно скончавшемся И. Д. Сургучеве, назвав его «внутренне вульгарным», — это, в какой-то мере, справедливо в отношении его публицистики, действительно, весьма низкой пробы. Но, кажется, следовало бы воздать должное его мастерству новеллиста, тем более, что Струве сам не отрицает «несомненной талантливости» писателя, который ему напоминает Куприна: едва ли справедливое сравнение, ибо Куприн почти всегда серьезен, даже оптимизм его не легок, он как-то суров внутренне, смягчаясь только в рассказах о животных и детях; литературную технику Куприн едва ли осознавал, — писал, как играли актеры старой школы, «нутром», но Сургучев кажется светлым, у него много откровенной радости, ирония его добра, а во внешней безудержности повествования, в нажимах на «педаль», в увлечении анекдотом немало затаенного и в большинстве случаев оправданного расчета новеллиста, отлично понимающего особенности и своего жанра и эффект, производимый на читателя. Он любил быт, однако, и психология его героев дана обычно хорошо, хотя нередко второстепенные персонажи оказывались живее и острее, чем центральные фигуры.

Холоднее, нежели можно было бы ожидать, охарактеризовано творчество В. Темиряева (Юрия Анненкова), которое еще ожидает своей оценки, соразмерной таланту автора.

Но всего неожиданнее оказалось недостаточное внимание прозе Леонида Зурова, одного из самых своеобразных, качественных и как-то внутренне цельных писателей зарубежья. По традиции Зуров объявлен «верным учеником» Бунина, по недоразумению поселен в Эстонии (вместо Латвии). Характеристика его книг свелась к противопоставлению (вполне правильному, впрочем) центральной темы Зурова — России — «кругу эмигрантских тем» иных молодых тогда зарубежных прозаиков. При этом употреблен несколько странный способ оценки «от противного», — «как и Бунин Зуров остался чужд Достоевскому, к которому, пожалуй, больше всего в русской литературе тянулись молодые писатели» и т. д. Вероятно, будет правильным уточнение, что с Буниным прозу Зурова роднит только две вещи. Первое — это напряженное внимание и слух к языку, понимание качества слова, чувство слова, — эта черта у Зурова исключительно сильна, с первых его еще неокрепших рассказов и до его недавно напечатанного в «Новом журнале» пленительного отрывка — «Гуси-лебеди», которые по словесной полновесности стоят едва ли не на уровне Пришвина, настоящего чародея русского слова. И второе: отношение Зурова к внешнему миру, который, как и у Бунина, есть вечно живой космос, а не просто некий фон для героя-эгоцентрика. Все прочее у Зурова на Бунина не походит. Бунин необычайно субъективен. Зуров вне персонализации со своими героями, более того, он несомненно художник большого дара объективного изображения. Его влечет та таинственная соборность, которая составляет силу и прелесть необъятного русского поля, исторического древнего пути России, та первозданная суровость, почти инстинктивная слитность с природой, которая присуща русскому человеку. Отсюда острейшее внимание писателя к стихийным явлениям человеческой психологии, порождаемым от века любовью, соприкосновением со смертью, ненавистью, подвигом, войной, революцией. «Всё живет в тайном, округлом движении» — это один из мотивов, составляющих ось Зуровской прозы. Отсюда его эмоция, отсюда и построение его удивительных периодов, описаний, сливающихся с некоей песенной стихией, отзы-

вающих ладом древнего «Слова о погибели русской земли», с русской летописью, а живой, сильный, выразительный народный говор в его произведениях перекликается с тонкостью ассоциаций, которыми особенно полна великолепная его книга «Поле». Необыкновенна «Отчина» — о Псково-Печерском монастыре, — книга, без сомнения, единственная в своем роде во всей русской художественной словесности. На фоне ее, «Древнего пути», «Поля», конечно, меркнет «Кадет», где только еще намечался почерк Зурова и где еще сбивчив его ныне столь собственный ритм прозы. Зуров, конечно, единственное в своем роде явление в зарубежной литературе и, по глубокому убеждению рецензента, он — одно из ее оправданий, ибо он нашел себя, как писатель, без утраты русских корней. Вероятно, именно за это его столь любил Бунин. Стсит прибавить, что Зуров, может быть, ближе всех зарубежных прозаиков наметил подход к теме о гибельности отрыва для молодого сознания от России. Эта тема не прозвучала пока что понастоящему ни у кого из зарубежных прозаиков, хотя она так или иначе затрагивалась многими, в том числе в замечательном и очень человечном «Подвиге» В. Сирина-Набокова, слегка у Газданова, у Нины Берберовой. Старшему поколению писателей такая тема естественно осталась чужда.

Как уже говорилось выше, Г. П. Струве дал чрезвычайно интересный обзор зарубежной поэзии. Многое здесь и ново и почти все исключительно занимательно и конкретно, «вещественно». При отсутствии под рукой подавляющего количества из зарубежных стихов сводка Струве особенно ценна. Получается — в целом — картина, рисующая зарубежную поэзию, как область динамическую, большого разнообразия поэтических направленностей, крупных и ярких явлений.

В частности, очень хорошо показан Николай Оцуп, оценка поэзии которого в будущем будет, вероятно, много выше, чем в современности. Замечательно и очень верно охарактеризован «красочный и звенящий мир» Антонина Ладинского, к несчастью для русской поэзии вернувшегося после войны в Россию и с тех пор не печатавшего больше своих стихов, что и неудивительно, если вспомнить его строфы, могущие быть эпиграфом ко всему его творчеству, неоромантическому по духу:

«... Только земля, земное,
Черная дорогая мать,
Нас учила любить голубое
И за небесное умирать».

Этому «небесному», «голубому» и служила муза Ладинского, являющаяся по сути «антитезисом» романтизму Лермонтова, что тонко отметил Струве.

Произведено смелое нападение Струве на творчество Бориса Поплавского, — и эта честность назвать вещи своими именами («а король-то гол») вызывает уважение: действительно, в «легенде» о Поплавском его личность перевесила сомнительные достоинства и его стихов и всяческой прозы.

Анализ Струве творчества Георгия Иванова тоже необычаен: по существу, это — стремление показать «потерю самого себя» поэтом в его «поздний период». Но, несмотря на ряд метких и беспощадных наблюдений, основное остается непоколебимым: поэзия Георгия Иванова, вопреки всему будто бы случайному, будто бы намеренному, будто бы ненужному, есть подлинность, пока что неукладывающаяся в рамки критического «Прокрустова ложа». Стихи Георгия Иванова — поэтическая реальность, которая не преувеличена, не раздута и которая едва ли полностью осознается самим поэтом. Может быть, поэзия Георгия Иванова

вызывает подчас негодование, иногда отталкивание, но это всегда удивительная поэзия, какое содержание в ней не было бы.

К сожалению, нет возможности подробно отозваться на эту столь богатую оттенками определений, любозытнейшую по формулировкам и ценную по внутреннему пониманию материала часть книги Г. П. Струве. Отлично даны «профили» Давида Кнута, Георгия Раевского, Юрия Терапиано, Вл. Смоленского. Верные слова найдены для общего определения поэзии Игоря Чиннова. Очень колоритен «портрет» Вл. Коровина-Пиотровского. Хорошо, что отмечен, наконец, Николай Туроверов. Жаль, что слишком мало сказано о стихах Георгия Адамовича. Струве необыкновенно обильно цитирует его критические статьи, так что облик Адамовича-критика значительно более ясен читателю, чем черты его поэзии, поражающей именно всё же простотой, наперекор «декларациям» и самого Адамовича и комментариям Струве.

Справедливо и сильно обрисована Струве судьба старшего поколения поэтов, и характеристики творчества Марины Цветаевой, Зинаиды Гипшиус, Владислава Ходасевича принадлежат к бесспорнейшим страницам этой действительно переполненной содержанием и мыслями книги. Отдельно стоит подчеркнуть чрезвычайно интересные главы о журналах, о сменовеховстве, об евразийцах, о критических спорах, о всей этой напряженной идейной жизни русского зарубежья, полной поисков, надежд, разочарований, раздумий, переоценок ценностей, — всего того, что и составило идейное разнообразие и динамику мысли, характерные для русской литературы в изгнании.

Надо особенно подчеркнуть, как органическую черту книги, большой объективизм Г. П. Струве в описании литературных событий. Автор приложил немало усилий, чтобы как можно шире охватить огромный материал, относящийся к теме, и как можно точнее его классифицировать, излагая важнейшее. Авторские усилия увенчались созданием труда бесспорной ценности и исключительной важности.

Все те замечания рецензента, которые были сделаны выше, служат в первую очередь задаче пополнения «инвентаря» этого «исторического обзора». Расхождения в оценках отдельных авторов, конечно, неизбежны. Вероятно, возможна также иная группировка материала, нежели та, которая произведена Струве. В чисто техническом отношении крайне досадно отсутствие «нормального указателя», что уже повело, даже в рецензиях, к ряду недоразумений, ибо Струве говорит об отдельных деятелях (например, о Е. Д. Кусковой, которая, кстати, неосновательно присчитана (стр. 224) к сотрудникам «Утверждений») в разных местах и по разному поводу, — это нередко ослабляет общее впечатление от его характеристик и подчас вызывает необоснованные предположения в намеренной усеченности данных об отдельных авторах. Впрочем, равномерности в сведениях у Струве нет, — по-видимому, в этом сказалось отчасти также его отношение к роли того или иного лица в развитии зарубежной литературы.

Общая картина, нарисованная Г. П. Струве, вызывает сильное и несомненно положительное впечатление демонстраций тех творческих усилий, которые создали русскую литературу в изгнании. Нельзя забывать, что это была беднейшая — в материальном отношении — словесность современности, литература без социальной базы и часто почти без читателей (такой же она остается и теперь). По подсчету М. С. Осоргина, в тридцатых годах эмигрантские книги продавались, в среднем, в количестве трехсот экземпляров, — и это при наличии тогда около миллиона русских за рубежом, считая и русские меньшинства. Тем не менее, тогда торжествовал не принцип «рентабельности», но воля к творчеству, воля

к выявлению вольного голоса свободных русских людей. Итоги, подведенные Г. П. Струве, вполне и безоговорочно оправдывают и этих часто фанатичных служителей русского слова и тех, кто помогал их столь разнокачественным произведениям воплощаться в тома, томтики, в газетные листы. Когда-нибудь будущий историк отзовется об этих усилиях с признанием, а, может быть, найдет и немалую долю оправдания самому бытию российской эмиграции в факте создания ищущей, полной творческого увлечения поэзии и прозы, свободолобивой публицистики и традиции назависимой мысли, ибо волею судьбы русская литература в изгнании говорила о том, о чем должны были безмолвствовать в самой России. Для этого будущего историка и для нынешнего русского читателя книга Г. П. Струве окажется уверенным проводником по русской зарубежной литературе, занимательным собеседником, подчас вызывающим на спор, но всегда будящим мысль и интерес к русской культуре вообще, уважение к ее временному зарубежному ответвлению в частности.

«Марксистская теория театра»

Никакой цельной и глубокой новой теории театра, как и искусства вообще, коммунизму, несмотря на его отчаянные усилия, создать не удалось по той простой причине, что нет ничего более противоречивого и несовместимого, чем «диалектический материализм» и «исторический материализм» с творческим процессом, лежащим в основе основ всякого искусства.

Все многолетние воинственные попытки уложить искусство, не существующее вне духовности, отрыва от земли, интуиции, религиозности, этики, идеализма, в шаблоны марксистского метода, отрицающего всё то, без чего творческий акт немислим, сводящего всё духовное в человеке к отражению материальных процессов, происходящих в мире внешнем, производственном и физическом, — не могли привести и не привели к чему-нибудь положительному. Весь марксистский метод, эта страшная смесь гегелевской диалектики, фейербаховского материализма, теорий Маркса-Энгельса-Ленина, присущее этому методу помешательство на экономике, всинствующее отрицание духовности и личности — не имело никаких точек соприкосновения с искусством, в основе которого лежит духовный акт, творчество личности.

Сводя весь исторический процесс к тому, что движущими силами его оказывались исключительно экономические и материальные отношения, превращая экономику в пародию на неумолимый Рок, который водит нитями послушных ему марионеток — исторических личностей, фетишизируя законы материального и сводя всё к «формам движения материи», — диалектический материализм оказался направленным против всего человеческого, духовного, религиозного, этического и морального.

Все этические общечеловеческие ценности, без которых не существует искусства, марксистский метод пытался превратить в нечто весьма относительное, не вечное и непреложное, а подчиненное законам развития «экономического базиса» и политике «господствующего класса». Понятия Зла и Добра потеряли свою объективную этическую ценность. Милосердие и великодушие к поверженному врагу стали караться смертной казнью, а предание сыном отца и матери в руки палачей стало добродетелью, героизмом, который увенчивается памятником (Павлик Морозов).

Но, положив в основу своего метода философию бесконечного движения, ви-

доизменяемости и всеобщей относительности*), большевизм канонизирует ряд высказываний Маркса, Энгельса и Ленина, превращая их в «вечные ценности», в пародию на священное и неприкосновенное «вероучение», и сам «марксистский метод» превращается вскоре в мертвую и неподвижную догму, в священные заповеди, не подлежащие ни развитию, ни критической их оценке. За малейшую критику этой догмы, или ничтожнейшее отступление от нее — члены партии подвергаются репрессиям, ссылкам и тюрьмам. Всякое отступничество, всякая ересь среди «марксистов» карается с большей жестокостью, чем в средневековье.

Встав против всех религий, пытаясь уничтожить на просторах громадной страны все проявления религиозного чувства, большевизм на «очищенном» месте создает свою языческую пародию на религию. Весь Олимп большевистских богов сведен к двум жестоким и беспощадным божествам: Социалистическому Труд и Классовой Борьбе.

Но даже в своем фанатизме «марксизм» никогда не был последователен. В конце концов, весь его «священный и неприкосновенный» метод диалектического материализма оказывается только политическим орудием большевистской партии, часто меняющимся, в зависимости от тактики этой партии. В марксистской теории хоть и отведено идеологии второстепенное место, на практике же, — «борьбе на идеологическом фронте» большевизм отдавал и отдает больше сил и ярости, чем борьбе в области «экономического базиса»; отрицая ведущую роль личности, он создал самый нестерпимый по низкопоклонству культ личности Сталина и культы «героев», когда последние понадобились для спасения большевизма в годы Второй мировой войны; утверждая марксизм, как единственный метод построения «царства свободы», большевизм с помощью этого метода оказался способным породить одно только беспримерное в истории рабство; обещая с помощью марксизма построить бесклассовое общество, он породил новые классы в советском обществе, отгороженные более прочными стенами, чем в старой России.

Но при всей своей противоречивости, научной и философской несостоятельности, «марксистский метод», не будучи в состоянии создать нового искусства, оказался в силе разрушить и уничтожить то искусство, которое оставалось в стране, как наследие прошлого.



Несчастье всех советских марксистских «искусствоведов» заключалось в том, что ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не оставили им ничего по вопросам коммунистической эстетики. Горсточка случайно оброненных Марксом и Энгельсом строк о литературе и искусстве, наряду с таким дредноутом идеалистической теории искусства, как «Эстетика» Гегеля, кажутся щепками на поверхности океана.

Высказывания Маркса об искусстве являются весьма противоречивыми. Так, в «Введении к критике политической экономии», К. Маркс говорит о «неравном отношении развития материального производства к художественному», что «относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не стоят ни в каком соответствии с общим развитием общества, а, следовательно, также и с развитием матери-

*) «Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения...» (Фридрих Энгельс) «Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса», стр. 638.

альной основы последнего» (разбивка моя. — Н. Г.), из чего следует понять, что искусство не связано с «экономическим базисом».

В другом месте тот же Маркс говорит о полной зависимости искусства от современного ему уровня производства: «Возможен ли Ахиллес с порохом и свинцом? Или вообще «Иллиада» наряду с печатным станком и типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания и песни и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии вместе с печатным рычагом?.. Разве был бы возможен тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого искусства, при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа...»

Эти противоречия Маркса, и не единственные в его высказываниях об искусстве, доставляли много хлопот советским искусствоведам. Одно из двух: либо искусство является отражением экономики и шагает в ногу с производством, и тогда к нему применимы все законы «исторического материализма»; либо оно независимо, не совпадает — тогда марксизм к нему неприменим, а если неприменим — то тотчас же образуется опаснейшая брешь в материалистическом понимании всякой идеологии.

Советские марксисты разрешили опасное противоречие своего «апостола» весьма просто: они взяли его утверждения о примате производства и бытия над «сознанием», а остальное — выбросили вон.

Еще неопределеннее становилась точка зрения Маркса на искусство, когда ставился такой простой и естественный вопрос материализму: согласимся с вами, что Софокл, Гомер, Аристофан, Эсхил, Эврипид, Параклет и Фидий отражали только состояние производственных сил рабовладельческого общества и немыслимы в век телеграфа и железных дорог. Но почему же для нас, людей эпохи капитализма и индустриальной техники, не имеющих больше ничего общего с этой древней и исчезнувшей системой производства и бытия — все гении рабовладельческой античности и их произведения остаются не только живыми, способными потрясать души как пролетариев, так и утонченных буржуазных интеллигентов, но и служат до сих пор непревзойденными шедеврами искусства?

Об этот опаснейший вопрос споткнулся и Маркс. Допустив единственно истинный ответ на этот вопрос, что произведения искусства, как и всякие творения духа, способны переживать свои эпохи и принадлежать к вечным ценностям, Маркс мог бы очутиться перед фактом полного провала своего «диалектического материализма» и «исторического материализма».

Поэтому тот ответ, который дает Маркс на столь опасный вопрос, является шедевром наивности во всех трудах этого сатанински мудрого экономиста. Маркс заявляет: «Трудность заключается не в том, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недостижимого образца», после чего Маркс решает разрешить эту загадку по-детски просто: греки — это наше детство, а человеку свойственно восторгаться своим детством: «И почему детство человеческого общества там, где оно развивалось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?»)»

Конечно, счастье Маркса, что ему не довелось жить среди советских марксистов, иначе его бы прочно «проработали» за «протаскивание идеалистических

*) К. Маркс. «Введение к критике политической экономии».

теорий вечных ценностей» с его обмолвкой о «вечных прелестях».

Не обладая никакими прочными и глубокими высказываниями «классиков марксизма» об искусстве театра, советским партийным «театроведам» не оставалось ничего иного, кроме механического перенесения на театр законов, открытых Марксом в области экономики и классовой борьбы.

Марксистское искусствоведение утверждало, что театр, как и всякое искусство, есть только идеологическая «надстройка» над «экономическим базисом» и находится в неразрывной зависимости от последнего.

«Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание... Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производственными силами и производственными отношениями.*)

Театр, как и любая форма «общественного сознания», отражает и выражает идеологию того или иного класса, а последняя определяется «общественными отношениями производства». Театр — не только зеркало идеологии класса, он и орудие классовой борьбы, с его помощью класс защищает свои интересы.**)

*) К. Маркс «К критике политической экономии». Там же Маркс пишет, что «всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения и, следовательно, исчезает вместе с действительным господством над этими силами природы... Следовательно, такое общественное развитие, которое исключает всякое мифологическое отношение к природе, которое требует от художников, независимо от мифологии, фантазии, — не могло бы ни в коем случае образовать почву для греческого искусства...»

Против этого марксова положения о том, что уровень техники «производственных отношений» формирует мифологию, фантазию художника и искусство — можно было бы привести тысячу примеров опровержения: от мифа об Икаре и Дедале до эпосов и сказок всех народов, где фантазия, не завися от уровня «базиса», на тысячелетия опережая его, создает самодавляющее фантастическое бытие.

**) «Театр — сценическое искусство — есть форма сознания, и без выяснения того, как оно и чье сознание выражает театр в специфической форме сценических образов — неизбежен скат в болото идеалистического формализма». (С. Подольский «За ленинский этап театроведения» в журнале «Советский театр» № 4, 1932, стр. 25).

«Во все времена искусство было одной из идеологических общественных надстроек, игравшей активную роль в борьбе классов. Им пользовались господствующие классы для построения общества согласно своим интересам; прибегали к нему, как к орудию борьбы, и классы, противопоставленные историческим развитием классу господствующему». (А. Луначарский «Социалистический реализм» в журнале «Советский театр» № 2-3 за 1933 г. стр. 3).

Даже театры и мастера сцены, проповедующие театр, как «чистое искусство», искусство ради искусства, аполитичное и абстрактное, и те являются тоже выразителями определенных классовых интересов:

Исходя из положения Маркса о том, что «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», марксистская теория театра ставит задачей советского театра не созерцать, не грезить о действительности, не создавать своего «инобытия», но и не только, как экрану, отображать ее, а своим творчеством ее изменять. Театр должен стать особой формой «общественного созидания».¹⁾

Театр должен диалектически отображать «диалектическую действительность» и ее активно изменять. По словам Ленина, первый и основной элемент диалектики — «объективность рассмотрения (не примеры, не отступления, а вещь сама в себе) — определение понятия самого из себя (с а м а вещь в ее отношениях и в ее различии должна быть рассматриваема)».

Но в дальнейшем этот «самый объективный из объективнейших» методов диалектического материализма начинает применяться с пристрастием и тенденциозностью: «Диалектический смысл времени есть революция, и поэтому мы должны воспитать людей, научить их как можно лучше понимать революцию. Это цель всякого нашего театрального спектакля, — комедии и драмы»²⁾ Эта «объективность» оказывается узкой партийщиной, ибо «мы хотим театр сделать о р у д и е м борьбы и строительства пролетариата. Театр должен быть подлинным судом, он должен доказать добро и зло по-новому, по-пролетарски».³⁾

И не удивительно, что весь этот «лучший из лучших методов» стремится превратить театр только в орудие политической борьбы большевистской партии, ибо «марксизм требует от искусства прежде всего классовой целеустремленности, партийности, подчинения искусства, в том числе и драматургии и театра, как наиболее воздействующей части искусства, задачам политической борьбы, задачам борьбы за социализм».⁴⁾



Подходя к специфическим особенностям сценического искусства, марксист-

¹⁾ Марксисты, предвидя замечание, что изменение мира путем воздействия на него, — присуще искусству с древности, стараются пояснить особенности своего понимания изменения мира: «Изменяя мир, мы не выдумываем новый субъективный мир... Искусство и театр изменяют действительность, направляя и изменяя соответствующим образом мысли и чувства людей, к которым оно обращается... изменения этой действительности в ее росте, подготовке, развитии ее завтрашнего дня. В этом смысле художник дает классовую оценку, выносит им приговор...» Задачи театра: «творческое осмысление присходящих процессов на основе диалектического метода». (А. Афиногенов «О творческом методе пролетарского театра» в журнале «Советский театр» № 2-3 за 1931 г. стр. 3)

²⁾ А. Луначарский, «Мысли о диалектическом материализме в области театра», в журнале «Советский театр» № 4 за 1931 г. стр. 4.

³⁾ там же.

⁴⁾ «Советский театр», №№ 2—3 за 1933 г. стр. 2.

«Так называемое «искусство для искусства» — искусство, бегущее от жизни, чрезвычайно далекое от действительных жизненных проблем, даже выражающее презрение к ним, искусство, активно или пассивно, сознательно или бессознательно, отмежевывающееся от социальных сил, — все-таки является социальной силой, которая иногда очень прозрачно и определенно служит определенным интересам». (А. Луначарский, там же.)

ские теоретики театра пытаются прикрепить к явлениям этого вида творчества терминологию диалектического материализма и исторического материализма.

Центральная проблема искусства театра — создание человеческого образа в драматургии и на сцене, — предстает в терминологии марксизма в таком виде: прежде всего, объявляется порочным, свойственный старому буржуазному театру, показ героя «в отрыве или противопоставлении к социальной жизни», показ личной стороны жизни героев, «типических обстоятельств жизни отдельной личности, притом преимущественно в ее частных и индивидуальных интересах»¹⁾. Психология человека, его переживания не должны быть оторваны от классовой борьбы, «психология должна выявляться в классовой практике и классовой практикой проверяться». Марксистский метод исходит из примата общественного над индивидуальным. Он не противопоставляет личность массе, и история для него «творится через людей, — людей, разделенных на классы, но и объединенных по классам»²⁾ Только политика в силах объяснить «движущие пружины и соотношения социальной и личной жизни».

Хотя марксистский метод и объявляется большевиками единственным в мире, при помощи которого в художественном образе на сцене можно достигнуть идеального «единства единичного и общего, индивидуального и классового» (при поправке на примат классового), в искусстве его интересует не человек как личность, а «человек — животное общественное». Его интересуют в человеке исключительно только те стороны, «в которых проявляется борец, участник коллектива. Его интересует поэтому прежде всего стойкость характера, твердость и инициативность поведения героя в общественной жизни, в классовой борьбе»³⁾

Высшей целью советского театрального искусства является, таким образом, — «изображение типических обстоятельств классовой борьбы, социалистического переустройства мира, дела «чести, доблести и геройства» рабочего класса»⁴⁾, а в отдельном человеке на сцене — показ его «общественной практики», раскрытие в его действиях изменения общественных отношений, которые складываются из действий и взаимоотношений людей.

Такой метод диалектического материализма в искусстве объявляется единственным, вскрывающим «действительную сущность человеческих взаимоотношений», только он в силах раскрыть в искусстве истину и правду, ибо «только пролетариат заинтересован в правде. Буржуазия пытается скрыть или извратить правду»⁵⁾ Поэтому, если мастера театра стремятся понять действительность и создать великие произведения сценического искусства, наполненные правдой и

¹⁾ В. Кирпотин, «Проблема образа» в сборнике его статей «Проза, драматургия, театр», Гослитиздат, 1935 г. 246 стр., стр. 203.

²⁾ Там же, стр. 205.

³⁾ В. Кирпотин, «Проза, драматургия, театр» стр. 205.

⁴⁾ Там же, стр. 203.

⁵⁾ Там же, «Литература и строительство социализма», стр. 197.

истиной, они должны отдать себя целиком в распоряжение «диктатуры пролетариата» и беспрекословно выполнять решения большевистской партии.¹⁾

Исходным пунктом творческого процесса в театре является «объективная реальность» в том классовом аспекте, который установлен марксизмом.

Отношение творящего (драматурга, режиссера, актера, художника) к этой «объективной действительности» должно быть не созерцательным и пассивным, а активным. Художник познает мир по схемам марксизма, отображает его, внося свое отношение к действительности (под чем подразумевается, конечно, не субъективное и личное его отношение, а «классовое отношение»), воздействует на сознание зрителей и изменяет это сознание, участвуя, таким образом, в изменении той самой действительности, от которой он отправился в начале своего творчества.

Не интуиция, наитие, вдохновение и прочие опасные идеалистические затеи буржуазии, а «сознание играет ведущую роль в творчестве». Но и это сознание мало поможет, если творящий не подчинит всё свое творчество «интересам социализма и практике социалистического строительства».



Ничего нового, революционного и существенного «метод диалектического материализма» не вносит ни в психологию творчества (эту область вообще марксисты обходят, как зачумленный карантин), ни во внутреннюю, ни во внешнюю технику актерского мастерства. Марксисты ограничиваются несложным процессом случайного приклеивания ярлычков терминологии диалектического материализма к тем или иным этапам создания роли и спектакля. Но от механического приклеивания категорий диалектики («единства противоречий», «снятия отрицания», «перехода количества в качество», «перерыва постепенности») еще не создается новая теория сценического искусства.

«Спектакль образуется в результате целой системы образов, находящихся во взаимодействии, находящихся в единстве и находящихся непосредственно в движении и развитии»... «Актер, устанавливая и раскрывая взаимодействие²⁾ субъекта (конкретная личность, конкретный человек) с процессом общественных отношений, строит образ в результате классовой оценки субъективных целей действующего лица. Образ будет построен не догматически, не статически, а, конечно, диалектически — все время будет раскрываться изменение субъективных це-

¹⁾ «Только связь с революционной борьбой рабочего класса, только диктатура пролетариата открывает перед художником возможность понять и изобразить в искусстве в с е богатство человеческой истории». (В. Кирпотин, «Проза, драматургия, театр» стр. 198).

«Только сознательное стремление писателя (и вообще любого художника. — Н. Г.) принять участие в классовой борьбе пролетариата против буржуазии, за установление диктатуры пролетариата, за строительство социализма, дает возможность ему раскрыть всю правду о действительности». (Там же, стр. 184).

Иными словами, все не советские и не правоверно-большевистские художники в мире обречены на полное бесплодие и не в силах создать подлинных произведений искусства.

²⁾ А так как по утверждению Плеханова «все активные классы бывают реалистическими», то изображение действительности мастером советского театра должно быть ограничено реализмом, чтобы не подрывать репутации «победившего класса».

лей, ибо субъект не стоит всё время на одном месте. Ведь в результате изменяющихся процессов общественных отношений изменяется и субъект, и вот раскрытие изменений взаимодействия субъекта по отношению объекта и является задачей актера».¹⁾

Это воинственное утверждение «объективности» и «правды» человеческих взаимоотношений на сцене, подкрепляемое бесконечными ссылками на одни и те же цитаты из Ленина — показ «всей совокупности отношений», раскрытия «без исключения всех идей и всех различных тенденций», и слов Маркса о верности передачи «типичных характеров в типичных обстоятельствах», уживается в марксистском методе с проповедью абсолютной антиобъективности, узко партийной тенденциозности и чисто чекистского пристрастия к трактовке явлений, человеческих образов, характеров и чувств.

Эта неизменно присущая всему большевизму двуличность, двубортность его постулатов, грубые противоречия в его теории и грубый раскол между теорией и практикой, между словами и делами, присущее ему всегда: «по форме правильно, а по существу — издевательство» — может быть обнаружена и в марксистской теории театра. Вся относительность, хамелеонообразность марксистских «истин» и «законов», меняющихся в полной зависимости от тактических вывертов и зигзагов «генеральной линии» партии, — особенно легко установить на том, как марксисты подходят к разрешению проблемы характера на сцене, раскрытия человеческих переживаний и проблемы «зла» и «добра». Здесь уже нет и в помине пресловутой «объективности». Здесь царит только диктатура и классовое пристрастие.

«С точки зрения одного класса — это зло, а с точки зрения другого класса — это добро. С нашей точки зрения «злой» пролетарий, который, расстреливая, проводит железной рукой свою классовую линию — величайшее добро. Надо с точки зрения нашего революционного творчества показать классовую относительность понятий. Еще больше такой показ становится диалектичным, когда мы показываем превращение этих понятий во времени... Если вы будете читать Ленина и Сталина, — то увидите: то, что было большим благом и правильным для одного периода нашей революции, становится злом для другого. Если ты не вооружился, застрял на прежнем месте, то становишься уже вредным — в этом корень диалектики добра и зла».²⁾

Этот полусатанинский маккиавелизм, к которому соскальзывает весь марксистский метод, оправдание любых средств для достижения целей, поставленных партией, это страшное, отдающее «Бесами» Достоевского, извращение всего этического, можно проиллюстрировать цитатой из высказываний правоверного партийца-драматурга Всеволода Вишневского. Так, критикуя великую этическую формулу Станиславского и Художественного театра: «ищи в злом — доброго», Вишневский говорил: «Правильный путь, марксистская расшифровка этой формулы такова: покажи во враге доброе, но так, чтобы я, столкнувшись с этим врагом, не был им очарован. Предупреди меня, что он может быть божественным, и по этой божественности бей в лоб. Покажи это доброе в классовом враге так, чтобы не дрогнула ни рука, ни мысль. Вот разговор в темной кочегарке меж-

1) М. Соколовский «Трам на переломе», в журнале «Советский театр» №№ 2—3 за 1931 г., стр. 18.

2) А. Луначарский, «Узловые моменты реконструкции театра», в журнале «Советский театр» №№ 2—3 за 1931 г., стр. 10.

ду кочегарами. Это было в 1918 году. Обсуждается вопрос — каких офицеров и как убить. Один говорит: «Он добрый, его не надо трогать». Но другой отвечает: «Именно потому, что он добрый, имеет влияние на команду и может привлечь на свою сторону ряд несознательных новобранцев, его надо сбросить в воду». Это правильный подход! Матрос сумел нащупать тут правильный путь, и часто именно этого не умеют еще некоторые наши драматурги.¹⁾

Вся эта смесь марксистской схоластики с человеконенавистничеством — грубо и насильно внедрялась в советский театр, как единственный «творческий метод». Марксистская терминология становилась обязательной для статей о театральном искусстве, для речей на театральные диспуты и внутри театра. Все актеры и работники театра силком понуждались к изучению «диамата» и «истмата», а от режиссеров требовалась «перестройка» работы с актером по этому великому методу.

И не мудрено, что «в области искусства извращения, связанные с лозунгом диалектико-материалистического творческого метода, доходили до того, что актерам, например, рекомендовали изучение диалектических категорий в замен изучения актерской техники». ²⁾ Или как свидетельствует В. Э. Мейерхольд, «повелось теперь так, что выступает какой-нибудь товарищ и говорит: «Вот видите, он ножку к столу привинчивает не диалектически», а какой-нибудь режиссер, который тоже читал умные книжки, приходит, хлопает актера по плечу и говорит: «Ты механист, ты совершенно не диалектически строишь образы». ³⁾



Не случайным является то, что марксизм в России, за все десятилетия советской власти, за чадом и воплями всех свих дискуссий о театре, в результате непрерывного штурма искусства сцены «воинствующими материалистами», оказался неспособным создать теорию творческого процесса, внутреннюю технику актера, твердо основанных на «диалектико-материалистическом методе». Отрицая в искусстве раскрытие сложности отдельной человеческой личности и всего индивидуального, марксистский метод был прежде всего а п с и х о л о г и ч е н. Он подменял сложный, глубокий и тончайший метод раскрытия души человека — шаблонами изображения «игры классовых интересов». Воинственно утверждая самым главным в творческом процессе роль сознания, сводя на нет значение интуиции, подсознательного и всего, стоящего по ту сторону материального, он тем самым закрыл для себя возможность проникновения в психологию творчества, в законы творческого акта.

Вместо создания своей коммунистической эстетики, он ограничился подменой эстетических категорий — категориями диалектики о законах развития экономического базиса общества.

Отрицая в искусстве идеи, формы и духовность, независимые от «производственных отношений», не подчиненные законам тления всего материального, переживающие эпохи, их породившие и обладающие не классовой, а общечеловеческой ценностью, отрицая в этом мире наличие этических и духовных явлений, стоящих высоко над классовой борьбой и бессмертных для всего рода людского, марк-

1) Вс. Вишневский, «Передовая цель», в журнале «Советский театр» № 2—3 за 1931 г., стр. 13.

2) В. Кирпотин, «Проза, драматургия, театр», стр. 200.

3) Вс. Мейерхольд, «Метод Мейерхольда», в журнале «Советский театр» № 2—3 за 1931 г., стр. 14.

сизм тем самым отрицал искусство вообще, ибо оно немыслимо без всех этих вечных ценностей, столь ненавидимых материалистами.

Марксистский метод в театре — это, прежде всего, метод отрицания театра как искусства высшей формации, и низведение его до уровня «живых картин», иллюстрирующих те или иные злободневные и вечно меняющиеся политические лозунги определенной партии.

Любовь актера

(О лицедействе в природе и о природе лицедейства)
Психологический этюд.

Из подслушанной беседы:

«— А за мной один актер ухаживает! Преинтересный!.. Говорит, ему всю ночь мси глаза снились».

— Беретись! — отвечает ей подруга, — им ночью и не такие вещи снятся!.. И вообще актерской любви грош цена: кто поверит мужчине, который привык каждый вечер целоваться то с одной, то с другой!

— Так этого актерская профессия требует, ежели его «амплуа» такое!

— Вот именно «профессия»; а профессия ведет к привычке; привычка же — вторая натура! Оттого актер и в жизни комедию ломает!

— Ты просто завидуешь и потому клеветишь!

— Завидую?! Да разве притворная любовь может вызвать зависть?

— Но почему непременно «притворная»?

— Потому что актер! А чего ждать от «актера», научившегося до тонкости надувать других фальшивыми чувствами?»

Недоверчивы к любви «актрис» и многие мужчины: «Ей заморозить нашего брата «раз плюнуть!», думают они про актрис. «Плачет, смеется, в любви клянется», а в общем всё сводит к тому, чтобы завладеть моими скромными сбережениями, а вовсе не моим сердцем! Завладеть, как вампир, и бросить, как падаль! Благодарю покорно за такую любовь!»

Всё это, конечно, может случиться и даже попасть в «уголовную хронику», ввиду чего и женщинам и мужчинам надо помнить, что «береженного и Бог бережет». А между тем...

Между тем, если разглядеть как следует подоплеку «актерской любви» и рискнуть сделать некоторые обобщения, дело может представиться совсем в другом свете.

Разумеется, наглый обман из «меркантильных соображений», злостное лицемерие и сознательное введение в заблуждение ради «низменных целей» — безусловно предосудительны, особенно в столь деликатной области, как любовь.

Однако если отбросить случаи, пригодные для «уголовной хроники», то «актерская любовь», в широком смысле этого выражения, может быть понятна, как нечто... само собою разумеющееся, как нечто вполне нормальное, так сказать,

неизбежное и (страшно вымолвить) тем более похвальное, чем тоньше и совершеннее актерское искусство, поступившее на службу любви.

Начать с того, что любовь между различными полами сводится, при ближайшем знакомстве с ней, «со стороны», к некой иллюзии чисто театрального характера, где как само действие, так и роли подсказываются тем всевластным Суфлером, каким является Природа, опекающая интересы рода. Человеку кажется, что он импровизирует и «несет отсебятину», а оказывается и «отсебятину» подсказывается тем же Суфлером.

В сущности говоря, «любовь есть замаскированный инстинкт или чувство рода; стремящееся к сохранению типа», — таково определение философа Артура Шопенгауэра, в «Метафизике любви». Каждый воображает, что он выбирает возлюбленную для собственного наслаждения, но на деле, утверждает Шопенгауэр, каждый выбирает как раз то, что в соответствии с его телосложением и входит в расчеты рода, таинственная задача которого — сохранить тип в возможной правильности... Тоска любви, которую поэты всех времен старались изобразить в бесчисленных метафорах — не что иное, как вопль гения рода, усматривающего в любящих незаменимое орудие для своей цели».

Влюбленные полагают, что это они нашли друг друга для любовной утехи; а на самом деле их понудил к объятиям младенец, который, в предсуществовании (там — за пределами земного) искал себе достойных на земле родителей!

Так учит, например, Г. Дюпрель в своей объемистой «Философии мистики».

«Что означают эти страстно устремленные взгляды влюбленных, полные преданности и самоотвержения? В них выражается пламенное желание бессмертия!» — догадывается Шопенгауэр и тут же спохватывается: но как же так? «все изнывают под тяжким бременем жизни... всякий напрягает последние силы, чтоб облегчить бесчисленные страдания!» А тут пара влюбленных хлопочет, как бы продлить в потомстве это мучительное бытие! Понятно тогда, откуда эта робость и таинственность встреч у влюбленных: «Они, как предатели, замышляют снова повторить нужду и страдания жизни, не давая им прекратиться».

Что же получается в результате? Восбравшая себя «любовниками» на сцене жизни, мня себя «героями», импровизаторами, вольными дать житейской драме то или иное содержание и направление, мы оказываемся, на поверку, просто жалкими статистами, которым верховный Режиссер, как то в обычае режиссеров захудалого провинциального театра, не удосуживается даже сообщить, в чем заключается пьеса, для которой нас наняли и к чему сводится наша подлинная роль в спектакле непонятной нам трагикомедии.

Это ли не театр в квадрате, с трансцендентной точки зрения? И это ли не актерская любовь, с метафизически осмысляемыми тоской по возлюбленному, ухаживанием за возлюбленной, тайными свиданиями, поцелуями, объятиями и «безумными» клятвами на брачном ложе?

Но оставим метафизику в угоду тем, кому в наш век позитивизма более импонирует ученье экспериментальной психологии. К чему, посмотрим, она сводит сложное понятие «актера»?

Актер — это артист, изображающий посылно существо, так или иначе разнствующее с тем, кто его изображает. Иными словами, актер изображает другое существо, чем он сам (под какое определение подойдет и животное, и мифологическое существо, и кукла, автомат и т. п.). При этом, в своей расчлененной градации, искусство актера складывается из двух различных моментов: 1) из творческого изображения себя другим, вплоть до мысленного пере-

воплощения в него и отождествления с ним, и 2) из наглядного представления этого «другого», посредством использования, наряду с вокальными, и своих высших данных (миимики и пластики).

Если мы посмотрим затем, в чем заключается самое мастерство актера (его техника), мы увидим, что оно состоит в создании роли и ее исполнении, под чем понимается психологически обоснованное воспроизведение (изображение, представление) какого-либо другого человека, чем актер (существующего в действительности, в литературе или выдуманного самим актером), профессионально говоря — представление «маски» задуманной личности или ее подобия.

Каким путем всё это достигается в драматическом искусстве?

Путем вживания или вчувствования в положение того, в кого актер задумал воплотиться.

Без соответствующего таланта и должного мастерства артист покажет лишь способность притворяться другим, а не претворяться в него; между тем «притворяться» значит прикидываться кем-либо, корчить из себя другого, подделываться под кого-то иного, чем ты сам, значит, не более чем казаться внешне чем-то другим, чем ты есть на самом деле! «Претворяться» же значит преобразаться, преобращаться по виду в другого, превращаться в изображаемое лицо и стать, в некоторой степени, им. Владимир Даль приводит (в своем «Толковом словаре»), как пример, железо, претворяющееся в купорос, и гусеницу, претворяющуюся в личинку; и железо и гусеница, в данных метаморфозах, очень далеки от того, чтобы притворяться. Так же далек от этого, в своей задаче, должен быть и настоящий актер.

Занимаясь драматическим искусством, нетрудно заметить, что существенную часть его составляет творческое воображение, обуславливающее отождествление актера с тем или иным персонажем, а не одно лишь подражание его внешним чертам, наблюдаемое не только у людей, но отчасти и у обезьян.

Лишь благодаря возможности отождествления себя с человеком, роль которого актер исполняет, позволительно толковать о перевоплощении, как о сущности драматического искусства.

Я не буду разбирать здесь «систему Станиславского», т. е. его метод выработки психической техники для вызывания в себе творческого самочувствия, при котором на артиста всего легче сходит вдохновение. Многие из замечаний этого основоположника Московского Художественного Театра представляются исключительно ценными и практически полезными для вдумчивого артиста. Однако к раскрытию секрета творческого самочувствия можно прийти и несколькими другим путем, чем указанным Станиславским, а именно тем, коим пришел замечательный актер Илларион Певцов, сильно заикавшийся в жизни и совершенно не заикавшийся на сцене, т. е. тогда, когда он находился в творческом самочувствии, обуславливавшем его незабываемые перевоплощения в «другого».

Это ли не «магия» драматического искусства? Человек заикается самым жестоким образом в своей личной жизни; он же, в жизни персонажа, которого воплощает на сцене, отнюдь не заикается!

В своей подробной биографии Илларион Певцов указывает, что он «как бы с другого конца пришел к той же правде, которая живет в так называемой системе Станиславского, и сообщает, что выходя на сцену «он думал не о том, что он идет играть, а об обстоятельствах жизни того лица, в качестве которого он должен выйти на сцену, и о том,

чего хочет не он, артист Певцов, а воплощаемый им персонаж». Певцовский метод воплощения в действующее лицо дал автору этого метода возможность, после 20 лет игры в провинции, занять видное положение в театре Станиславского, как артиста совершенного, безупречного перевоплощения. Разница между обоими авторами схожих систем драматического искусства лишь та, что Илларион Певцов, благодаря своему методу и таланту, стал великим артистом перевоплощения, Станиславский же остался, в анналах русского театра, лишь прекрасным актером, слава которого по справедливости уступает его же славе, как режиссера.

Какой бы однако ни придерживался «систему» актер и какой бы дорогой ни пришел он к своему открытию, решающее слово в оценке его искусства остается за артистическим Талантом, т. е. за тем иррациональным фактором, без которого убедительность отождествления актера с изображаемым им персонажем остается под вопросом.

Убедительность же эта, обуславливаемая творческим воображением, благодаря которому артист входит мысленно в положение изображаемого им лица и, «став на его место», переживает его чувства, как свои собственные, является подлинным критерием высокого искусства актера.

Ну, а что, спрашивается, характеризует в жизни подлинное чувство любви? Что служит критерием ее силы? Разве не то же самое, что в искусстве актера? То есть, желание войти в положение любимого человека? Стать на его место? Начать смотреть на мир его глазами? «Влезть в его шкуру» и слиться с ним вплоть до возможного отождествления себя с любимым?

Логика учит, что две величины, порознь равные третьей, равны между собой. Но если так, то любовь, связанная со стремлением отождествить себя с другим человеком, и актерское искусство, заключающееся в том же самом, оказываются явлениями одного и того же значения. А потому утверждение, что искренняя любовь чужда театральности и что актер, способный полностью отождествляться с другим человеком, неспособен все же любить никого, кроме себя, абсолютно неверно.

Зная хорошо актерскую психологию, я готов утверждать, что, пожалуй, никто в мире, как только актер или актриса достигшие вершин своего искусства, не способен любить другого, как они, — безразлично, живет ли этот «другой» поблизости в настоящее время или в далеких странах, в давно прошедшие времена.

В глубокой древности жила-была на свете царица, бывшая женой прославленного Гомером Приама и матерью Гектора и Париса, легендарных героев Троянской войны. Враги на глазах ее умертвили и ее мужа, и дочь, и внука, а ее самой обратили в рабство. Гекуба!.. Кого теперь может тронуть участь этой несчастной женщины?.. «Что мне Гекуба и что я Гекубе?» «Какое нам дело до этой Троянской царицы?» Большинство даже не знает толком, кто она такая, эта самая Гекуба, жившая задолго до христианской эры!

«Там босоногая она блуждала,
Грозя огонь залить рекою слез;
Лоскут на голове, где так недавно
Сиял венец; на месте царской мантии
Наброшено, в испуге, покрывало
На плечи, исхудавшие от горя...»

В конце этого монолога о Гекубе, актер произносивший его перед Гамлетом — принцем Датским — не может удержать свои слезы. Ни сам Гамлет, ни Полоний, ни другие из присутствовавших при этом монологе, не роняют ни слезинки. Но сам актер, его произносящий, вошедший в положение Гекубы и тем отождествивший себя с ней, плачет.

«Не диво ли! — размышляет вслед за тем Гамлет —
 «... актер, при тени страсти,
 При вымысле пустом был в состоянии
 Своим мечтам всю душу покорить!

И всё из-за чего? Из-за Гекубы!»

Гамлет может сколько угодно уверять, что он «любил Офелию, как сорок тысяч братьев любить бы не могли!» — мы ему не поверим! Ибо Гамлет, как «существо, не обладающее чувственной силой», как сказал о нем Гёте, не способен отождествить себя, подобно актеру, с несчастной Офелией.

Как я уже заметил, решающим моментом в оценке искусства актера является его талант. А в чём, говоря конкретно, состоит этот «иррациональный фактор» драматического искусства? Другими словами, что нужно актеру для преуспевания в исполняемой роли? Для этого нужно именно то, чего не хватает, по мнению Гете, Гамлету: «чувственной силы», или, по меньшей мере, чувствительности. А что такое «чувствительность», зададим вопрос? Это, по определению Д. Дидро, данному им в «Парадоксе об актере», то состояние души, которое вызывается «подвижностью диафрагмы, живостью воображения, тонкостью нервов, которое делает человека склонным сочувствовать, трепетать, восхищаться, бояться, волноваться, плакать, спешить на помощь, бежать, кричать, преувеличивать, негодовать» и пр.

Конечно, тут у Дидро скорее перечисление результатов или проявлений чувствительности, чем самое ее определение, но для разбираемого нами вопроса это перечисление как нельзя более кстати, т. к. оно одним разом охватывает и душевные черты актера, и душевные черты любящего человека.

Из этого перечисления вытекает, что никому другому так не пристало положение любящего человека, импонирующего своей любовью желанному другу, как заправскому актеру или актрисе, и что в этом положении им вовсе не приходится бояться конкурентов из мира театральных профанов.

Вот вам другой «парадокс об актере», но выступающий уже не на подмостках театра, а на сцене самой жизни.

Третье звено диалектической триады

(Анализ новых путей советской исторической науки)

Не было бы ничего ни искусственного, ни тенденциозного, если бы мы увидели в советской исторической науке своего рода кардиограмму, отображающую в себе все вибрации политической линии правящей партии. Такое сравнение становится особенно убедительным в свете событий, имевших место после смерти Сталина и, особенно, того, что происходило на XX съезде КПСС и непосредственно после него.

Развитие советской исторической науки служит наглядной иллюстрацией тегелевской триады: «тезис» здесь — борьба за марксистскую ортодоксию, закончившаяся коротким триумфом школы М. Н. Покровского, — триумфом, который был продемонстрирован на Съезде историков-марксистов и еще больше во время юбилея Покровского. «Антитезисом» затем было падение Покровского, и разгром его «школы». Вступлением к этому послужила борьба за «партийность», возвещенная письмом Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция».

«Партийность» советской исторической науки выразилась в отрицании школы Покровского, *d'implicite* в отказе от марксистской доктринальной ортодоксии; не марксистской доктрины в целом, а от марксистского ортодоксализма, впоследствии это нашло свое выражение в пропагандной формуле «творческого марксизма». Раскрывалось же это постепенно, шаг за шагом.

Началось с отказа от абстрактно-социологических схем, убивавших подлинно историческое творчество, и обращения к конкретным фактам. За этим последовала реставрация исторического прошлого, которая привела потом — ещё до войны, но особенно во время войны — к культуре «народных героев» и «исторических подвигов». А закончилось это откровенной фальсификацией истории, идущей по двум направлениям: по линии великороссийского национализма и по линии прославления лично Сталина.

Великороссийский национализм нашел свое выражение, помимо всего прочего, в оправдании завоевательной политики царского правительства, направленной на покорение и ассимиляцию нерусских народностей. А прославление Сталина привело к полному искажению фактов, относящихся к истории партии и всего советского периода, особенно, истории войны.

Сталинский патриотический «антитезис», граничивший не только с ликвидацией марксистского ортодоксализма, но и вообще с отказом от марксистского метода, дошел до своей кульминации в борьбе против «буржуазного космополитизма» и в дискуссии о формуле «меньшего зла».

А кульминацией сталинского автократизма было выступление Сталина по вопросам языкознания, когда он продиктовал советским ученым, что и как они должны думать по известному вопросу. Величайшей иронией при этом явилось то, что сам Сталин назвал им же созданный режим в науке «аракчеевским режимом», призывая советских ученых к «свободному обмену мнений».

Должно было пройти около двух лет после смерти диктатора для того, чтобы началось «отрицание отрицания», отказ от установленного им курса в исторической науке. Это составило третье звено в диалектической триаде — звено «сн тезиса», если пользоваться гегелевской терминологией.

Критика сталинского курса в советской исторической науке находится в полном соответствии с отказом от «культа личности», который определил собой партийную политику сразу же после смерти Сталина, получив свое окончательное выражение в известной речи Н. Хрущева на закрытом собрании XX съезда КПСС.

На съезде с критикой сталинского курса исторической науки выступила А. Панкратова, являющаяся сейчас главным редактором журнала «Вопросы истории» и признанным вождем «на фронте исторической науки». Но отдельные критические замечания по этому же предмету имелись и в речи на съезде А. Микояна. А еще до съезда, с осени 1955 года, новое направление намечилось и в «Вопросах истории», раскрываясь и углубляясь постепенно, — так же, как это происходило и с развенчанием Сталина в партийно-пропагандной литературе, — с каждым последующим номером.

Отказ от сталинского курса в исторической науке и соответствующее этому новое её направление до XX съезда включительно, выразились в таких главных пунктах: 1) отношение к научной традиции как отечественной, так и зарубежной (к так называемой «буржуазной науке»); 2) отношение к внешнему миру и его культуре; 3) подход к русскому историческому прошлому и великорусскому национализму; 4) оценка внешней политики дореволюционного российского правительства и, в особенности, его завоевательно-колониаторской политики в отношении нерусских народностей; 5) устранение искажений партийной истории, допущенных в угоду Сталину и под влиянием его «культа»; 6) реставрация «марксистско-ленинского» подхода к истории, включая 7) частичную реставрацию авторитета М. Покровского и его школы.

Уже последнее обстоятельство — возвращение к Покровскому, — пусть еще робкое и с колебаниями, указывает на то, в какую сторону идет новое направление и в чем его настоящее содержание: это — движение, говоря условно, не «вправо», а «влево», не вперед к демократии, а, скорее, назад к партийному доктринализму. На это указывает и то обстоятельство, что главным аргументом в пользу «реформ» и пересмотра старого курса служат не какие-либо иные соображения, а исключительно только решения и интересы партии. Самый принцип партийности несколько не поколеблен. Меняется только его интерпретация.

Цель та же. И путь к цели тот же. Меняются, так сказать, одни только средства передвижения. Это относится ко всей политической линии правящей партии на данном её этапе. Это нужно сказать и об исторической науке, которая всегда была и теперь остается точным отображением партийной линии.

Но обратимся к документам.

1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Из речи А. Микояна на XX съезде КПСС:

«Научная работа в области истории нашей партии и советского общества, пожалуй, самый отсталый участок нашей идеологической работы...»

«В истории Закавказской, бакинской организации были подтасованы факты, одни люди произвольно возвеличивались, а другие вовсе не упоминались...»

«Некоторые сложные и противоречивые события Гражданской войны 1918 - 1920 гг. иные историки объясняют не изменением соотношений классовых сил... а якобы вредительской деятельностью тогдашних партийных руководителей, много лет спустя после описываемых событий неправильно объявленных врагами народа...»

Следует потом упоминание о Коссиоре и об Антонове-Овсенко, причем уже приложение к обоим им наименования «тов.» не оставляет сомнения в их запоздалой реабилитации.

К оценке партийной истории Микоян добавил не менее выразительную оценку советской теоретической работы вообще:

«Большинство наших теоретиков занято повторением и перефразированием на разные лады старых цитат, формул и положений...»

«Это скорее школярство, учебные упражнения, а не наука, ибо наука прежде всего творчество, создание нового, а не повторение старого...»

Святая истина! Примечательно однако то, что подобные истины советским ученым подносят с высоты партийной трибуны, считая их самих неспособными до них додуматься.

Из речи А. Панкратовой:

«Некоторые историки приукрашивают исторические события, упрощают их, освещают однобоко, а, следовательно, неверно... К сожалению, мы не ведем последовательной и решительной борьбы с отступлениями от ленинской оценки исторических событий, с элементами анти-историзма и упрощенчества, с субъективистическим подходом к истории, с модернизацией и конъюнктурностью».

2. РАЗВЕНЧАНИЕ СТАЛИНА

Говоря о «серьезных недостатках» советской исторической науки ни А. Микоян, ни А. Панкратова не назвали еще имени Сталина, хотя его нетрудно было прочесть между строк: Н. Хрущев тогда не произнес еще своей антисталинской речи, и в отношении Сталина в правящих партийных кругах существовали какие-то колебания. Но прошел месяц, и в редакционной статье журнала «Вопросы истории» (1956, № 3) уже поставлены точки над i:

«Культ И. В. Сталина вел к прямому извращению исторической правды» (стр. 4).

Здесь же дана и более или менее сложившаяся уже «формула Сталина», на данном этапе имеющая обязательное значение для всего мирового коммунизма:

«Известно, что И. В. Сталин был видным деятелем русского и международного рабочего движения. Неоспоримы его заслуги в построении социализма в нашей стране, в борьбе с враждебными ленинизму троцкистскими, правооппортунистическими течениями в пропаганде ленинизма и обосновании разработанной ЦК генеральной линии партии... Однако с начала 30-х годов стали всячески преувеличивать значение его практической и теоретической деятельности...»

Сам И. В. Сталин не только не пресекал, но всячески поощрял подобные восхваления своей личности... Каждое слово, сказанное им, объявлялось научным открытием, вершиной марксизма, непререкаемой истиной» (стр. 4)*).

3. ОТНОШЕНИЕ К НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ, РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ

Если вспомнить о том, с какой остротой велась со второй половины сороковых годов борьба против «низкопоклонства перед Западом», против «буржуазного космополитизма» и «пресмыкательства перед буржуазной наукой и культурой», тогда покажется действительно знаменательным тот новый подход к научной традиции, русской и иностранной, который нашел себе практическое выражение в участии советских историков в Римском международном конгрессе, в сентябре 1955 г. Но этот же новый подход может быть засвидетельствован и рядом устных и письменных высказываний на эту тему и в советских изданиях, — высказываний то робких, то довольно уже смелых.

В октябре 1955 г. в Институте истории АН СССР происходило обсуждение I тома «Очерков истории исторической науки в СССР». Материалы к этому опубликованы в 12 номере «Вопросов истории» за тот же год. В материалах встречаются мысли, прежде казавшиеся не то что рискованными, а совершенно невозможными.

«Нельзя смешивать понятия «домарксистский» и «псевдонаучный», сказал, например, Н. Л. Рубинштейн.

«Авторы нигилистически именуют всю буржуазную науку «псевдонаукой», заметил также и К. Л. Селезнев, превращая таким образом в порок и заблуждение то, что совсем недавно еще считалось добродетелью и заслугой.

И председательствовавший на этом собрании Э. Н. Бурдалов подвел такие итоги прениям:

«В «Очерках» нашли отражение общие недостатки развития исторической науки: стремление изолировать русскую историческую науку от западноевропейской, навязчивое подчеркивание её превосходства, нигилистическое отношение к домарксистской науке, сведение её к простому накоплению знаний, стремление изолировать представителей общественной мысли и оторвать их от тогдашней профессиональной науки».

Этой самой теме — отношению к историографическому наследству — посвящена вся редакционная статья «Вопросов истории» № 1, 1956 года: «Об изучении истории исторической науки».

«Авторы первого тома «Очерков истории исторической науки в СССР», написано в той же статье, едва ли поступают правильно, характеризуя весь многовековой период развития исторической науки до возникновения марксизма как «донаучный период» или называя буржуазную историческую науку «псевдонаукой».

Статья предостерегает советских историков против упрощенного подхода к немарксистской науке, указывая на то, что «среди современных буржуазных историков есть немало таких, которые хотя и не стоят на позициях марксизма, но являются серьезными учеными, служат прогрессу науки (который оказы-

*) Сравнить с редакционной статьей «Правды», 28 марта 1956 г.: «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма» и резолюцией пленума ЦК КПСС, от 30 июня 1956 и речью Н. Хрущева, воспроизведенной в газете «Нью Йорк Таймс», 5 июня 1956.

ваются возможным таким образом и без марксизма — К. Ф.) и вносят в нее положительный вклад...»

25, 27 и 28 января 1956 года происходила конференция читателей журнала «Вопросы истории», материалы которой опубликованы в № 2 журнала за этот же год. На этой конференции Э. Н. Бурджалов распространил наметившуюся индугльгенцию в отношении Запада и западной науки даже на Америку:

«Э. Н. Бурджалов, написано в отчете о конференции, указал на необходимость более всесторонне освещать историю всех стран, в частности, историю США. Наряду с реакционными, США имеют и свои прогрессивные традиции. Нужно помнить, что существуют не только американские монополисты, но и американский народ, который боролся за свою независимость и свободу» (стр. 202).

Однако было бы большой ошибкой видеть в этом как будто действительно новом подходе к Западу и западной науке что-то принципиально новое — принципиально новое отношение советской науки к диктатуре правящей партии. Нет, в этом отношении всё остается по-старому, как это видно из выступления того же самого Бурджалова:

«Редакция исходит из указаний партии и старается правильно осуществлять их...» (разрядка моя. — К. Ф.)

«Партия призывает нас к борьбе против начетничества и догматизма, за творческое развитие науки...»

«В нашей стране говорится, что первостепенной задачей советских историков является разоблачение современной реакционной историографии, борьба с фальсификаторами истории, что **советские историки должны высоко держать знамя боевого марксизма** и вместе с тем использовать (подход здесь чисто утилитарный, ничем не отличающийся от отношения к чисто техническим достижениям — выделено мною. — К. Ф.), всё ценное, что есть в трудах современных буржуазных историков» (стр. 212).

Еще определеннее высказалась на той же конференции читателей «Вопросов истории» А. Панкратова:

«Вопросы советской исторической науки — это вопросы нашей коммунистической идеологии...» (стр. 213).

Не менее определенно высказался на конференции и Г. Д. Костомаров, представлявший там Институт истории партии при МК КПСС:

«В тематике журнала должно быть отведено больше места пропаганде ленинизма».

А из другого замечания этого же Костомарова можем убедиться в том, что отмена культа Сталина ничуть не отменяет «культа личности» как такового, а только заменяет культ Сталина культом Ленина, ибо этот культ глубоко коренится в сознании партийцев, подобных «истпартичку» Костомарову.

«Серьезные ошибки имеются в статье Левина «В. И. Ленин в Петербурге в 1905 году», говорил Костомаров на конференции. Но в чем эти ошибки? Оказывается, вот в чем: «Там говорится, что после III партийного съезда Ленин руководил работой большевиков как ответственный редактор газеты «Пролетарий» и как член ЦК. Ленин руководил как вождь нашей партии и вождь революции. В той же статье сообщается, что в 1905 г. существовало какое-то «русское бюро ЦК», осуществлявшее руководство в стране. На самом деле, руководство осуществлял Ленин». (В чем же тогда разница между Лениным и Сталиным? Но Костомаров признал свою речь до речи Хрущева на XX съезде партии! — К. Ф.).

А. Панкратова рекомендовала в своей речи «усилить международные связи журнала, расширить научное сотрудничество советских историков с историками стран народной демократии и прогрессивными учеными капиталистических стран». Но с какой целью? спросим мы. «Журнал призван стать международной трибуной марксистской исторической науки, — как бы отвечает она на наш вопрос. — Наша историческая наука должна смело выходить на международную арену и вступать в бой с буржуазным мировоззрением. Но для того, чтобы лучше выполнять свою передовую роль, мы должны развернуть более решительную борьбу против отступлений от марксизма, против упрощенчества, конъюнктурщины, вульгаризации» (стр. 199).

На той же конференции А. Л. Сидоров, директор Института истории А. Н. СССР, возражал некоторым слишком уже горячим поклонникам «научного наследства»:

«Главный недостаток советской исторической науки не в том, что мы не понимаем значения полученного наследства, а в том, что за последние годы у нас не было марксистской критики буржуазной историографии» (стр. 208).

Но тот же самый мотив был высказан и в редакционной статье «Вопросов истории», 1956, № 1.

«Первостепенной задачей советских историков является разоблачение современной реакционной историографии. Эта борьба должна носить углубленный, научный характер. Советские историки не могут отступать от своих принципов, они должны высоко держать знамя боевого марксизма. Вместе с тем их задача — использовать всё ценное в исследованиях зарубежных буржуазных историков».

4. НАЗАД К ПОКРОВСКОМУ

С каких позиций присходит сейчас пересмотр сталинского курса в советской исторической науке, видно также и из того, что сейчас уже наметилась тенденция к реабилитации М. Н. Покровского и реставрации его школы.

«Наряду с серьезными ошибками в работах Покровского есть ценные элементы, говорил на конференции читателей «Вопросов истории» все тот же Э. Бурджалов, нельзя же в самом деле зачислять Покровского в разряд буржуазных ученых, как это делают некоторые авторы» (стр. 212).

И в цитированной уже редакционной статье «Вопросов истории», 1956, № 1 есть целый пассаж, посвященный Покровскому:

«Первая попытка дать марксистское освещение истории дворянской и буржуазной науки в России была предпринята М. Н. Покровским. В 1923 г. он выпустил книгу «Классовая борьба и русская историческая наука». В 1927—1930 гг. под его редакцией были изданы два тома сборника статей «Русская историческая литература в классовом освещении»... вульгаризаторские ошибки М. Н. Покровского не могли не проявиться и в его историографических работах... Однако нельзя забывать, что наряду с серьезными ошибками в работах М. Н. Покровского содержались и ценные элементы. Чтобы правильно определить место М. Н. Покровского в советской историографии, нужно исследовать его труды, учитывая уровень исторической науки того времени» (стр. 4).

Если вспомнить о «Классовом враге на историческом фронте» — так называлась вторая часть сборника, направленного в свое время против Покровского и, кстати сказать, отрецензированного А. М. Панкратовой, то поворот, как видим, действительно немалый. А в какую сторону, тоже ясно, так как роль Покровского в развитии советской исторической науки прекрасно известна.

5. ОТКАЗ ОТ ВЕЛИКОРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА И ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМУ — ПО ФОРМУЛЕ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА»*)

Самое интересное в речи Панкратовой на XX съезде КПСС было то, что она сказала по вопросу о **национальной политике партии**.

В этом, как и во всем остальном, что происходило на съезде, не было ничего нового и неожиданного. Соответствующие тенденции наметились задолго до съезда. Но на съезде всё это определилось более четко.

В советской пропаганде по линии национальной политики в период, предшествовавший XX съезду, всё более и более стала обозначаться тенденция, которую можно было бы определить как отказ (не всегда, правда, последовательный) от насаждавшегося Сталиным великорусского национализма, в качестве орудия великодержавного централизма, и возвращение к национальному универсализму. Причины этого нового курса вполне понятны: их нужно искать в создании «социалистического лагеря», пребывающего к тому же в динамике.

На съезде эта тенденция чувствовалась во всех выступлениях, а в речи Панкратовой она получила вполне определившуюся уже форму. Между прочим, одно замечание в этой речи, если сопоставить его с решением о создании чего-то вроде особого Центрального Комитета для КП российских районов, возглавляемой Хрущевым особой комиссией для руководства сблокированными в пределах одной только РСФСР — кажется особенно значительным. **Панкратова говорила о необходимости создания учебников и учебных руководств по «отечественной» истории, т. е. другими словами, по русской истории.** До сих пор существуют только учебники и курсы по «истории народов СССР», а, кроме того, по истории отдельных нерусских народов, но нет особых учебников и курсов по истории русского (великорусского) народа: совершенно так же, как существует единая КПСС и, кроме того, КП отдельных национальных республик, но нет особой КП для РСФСР. Выходит, что понятие «русский» субституирует здесь понятие «всесоюзный», и наоборот. Сейчас же, видимо, намечается в этом отношении нечто другое. И это — одно из самых, может быть, важных политических событий последнего времени во внутренней жизни всего социалистического лагеря и, в первую очередь, Советского Союза.

Со свойственной ей крайней осмотрительностью, взвешивая каждое свое слово, **Панкратова требовала пересмотра установившихся в советской исторической науке взглядов на взаимоотношения между прежней Россией и «освобожденными» или «воссоединившимися» с нею нерусскими народами.** Как и во время дискуссии о «меньшем зле», в 1950 году, Панкратова пряталась за диалектикой: «с одной стороны» и «с другой стороны». Но только на этот раз ее эквилибристика между двумя членами этой формулы носила совсем другой характер. Формула, как известно, гласила: присоединение того или другого нерусского народа к России, с одной стороны, означало для него подчинение, т. е. колониальное угнетение русскими чиновниками, военными и купцами, а, с другой стороны, несло ему хозяйственный и культурный прогресс, а, главное, приобщало его к русскому революционному движению, а, значит, несло ему если не непосредственно, то в будущем, — освобождение. В этом смысле присоединение к России, до дискуссии 1950 года, нужно было считать «меньшим злом»; после дискуссии — вообще благом. Теперь же вопрос этот снова запутался, и подход к нему становится еще «более диалектическим», как видно из речи Панкратовой. Прежней «сталинской» прямолинейности здесь больше нет.

*) Видоизмененного, и не случайно, «советского патриотизма».

Панкратова вернулась, таким образом, к той самой «школе Покровского», к которой она принадлежала и против которой потом так долго вела непримиримую борьбу.

Не лишена интереса та присяга на верность коммунизму, которая не раз звучала на съезде, не в одной только речи Панкратовой. Это нечто вроде того, что было на X съезде партии, в марте 1921 года, когда Ленин клялся в том, что нэп не более, как «передышка». Аналогия здесь полная!

«Конечно, мы никогда и ни в чем не можем и не будем сдавать наших идейных позиций, била себя в грудь Панкратова. Товарищ Хрущев (!) подчеркнул, что наше идеологическое оружие должно быть тщательно отточено...

Мы должны помнить, что лидеры империалистического лагеря стремятся усилить и активизировать идеологическую борьбу с марксизмом и коммунизмом... Мы принимаем вызов... Мы будем продолжать усиливать работу с буржуазной идеологией...» (Разрядка моя. — К. Ф.)

Мысли, высказанные Панкратовой на съезде, получили своё развитие в № 3 «Вопросов истории», подготовлявшемся еще до съезда, но вышедшем в свет непосредственно после него. Отдельные же замечания того же характера имели место и на конференции читателей журнала в январе этого года, о которой речь была выше.

С. М. Дубровский, например, сказал тогда:

«До сих пор имеет место культ личности, например, Ивана IV. Ставятся пьесы, в которых он изображается как народный царь...»

Советский патриотизм смешивают с патриотизмом дореволюционного времени» (стр. 205). (Выделено мною — К. Ф.)

А В. С. Покровский по тому же поводу заметил:

«Авторы некоторых статей журнала «Советская археология» в ряде вопросов пошли дальше, превзойдя даже славянофилов».

Действительно, советские историки, следуя сталинскому патристическому курсу, не только «превзошли славянофилов», но перешли все границы возможного, доказывая оригинальность русско-славянской культуры с самых ее истоков, а границы этой культуры, географические и хронологические, расширяя до бесконечности. Много в этом направлении потрудились даже очень солидные ученые, вроде Б. А. Рыбакова, П. Н. Третьякова и даже покойного В. Д. Грекова.

В прежнее время перемена курса повлекла бы за собою их жестокую «проработку», как это не так еще давно случилось с академиком Маррсом и его последователями. Сейчас дело ограничивается пока очень сдержанной критикой и столь же сдержанной, без обычного бичения себя в труд, самокритикой. «Десталинизация» включает высказываемую или не высказываемую, но обязательно подразумеваемую мысль: «Кто из нас без греха?» За «культ Сталина» ответственность в той или другой мере несут решительно все: от Хрущева до Рыбакова! Каждый «грешил» на своем месте...

В № 3 «Вопросов истории» 1956 г., имеются материалы о происшедшем в Институте истории АН СССР обсуждении вопроса о генезисе феодализма в России и о возникновении древнерусского государства. На этом совещании подверглись критике прочно установившиеся уже взгляды об «антском» происхождении древнерусской культуры, с отнесением её начала к самым первым годам христианской эры, о независимости этой культуры от византийских и каких бы то ни было других внешних влияний и, наконец, об отношении к «норманизму». Здесь не место углубляться во все эти вопросы по их существу, но очень важно отметить, что участвовавшие в прениях не только отмечали научную несостоятель-

ность тех или других положений, но и вскрывали их «политически эквивалент», если пользоваться здесь советскими обозначениями.

Б. Ф. Поршнев, например, отметил, по данным отчета, что «вопрос о влиянии Византии на Русь замалчивается в последних работах историков вследствие ложного представления о том, будто бы признание внешних влияний унижает национальное достоинство».

«Б. Ф. Поршнев и Б. А. Рыбаков, сказано в отчете, считают неудачным изложение вопроса о варягах... Этот способ (борьбы с норманизмом), сказал Б. А. Рыбаков, порожден ложно понятой идеей патриотизма. На самом деле истинно патриотическим делом является серьезное, глубокое изучение истории нашей Родины, а не лакировка прошлого или замалчивание общезвестных фактов. Внешнеполитическая история Киевской Руси изображена в явно прикрашенном виде. Получается, что все русские князья хороши, даже если они захватывают чужие территории; если же соседние князья берут русские города, — они плохи» (т. е. готтентотская мораль, повернутая в прошлое! — К. Ф.).

Не лишены интереса замечания и еще одного из «ведущих» советских историков, Н. И. Воронина. Он, как сказано в отчете, отметил то, что «в советской историографии в последнее время появились концепции, порожденные стремлением показать историю русского государства более древней, чем она была в действительности, и увидеть феодальные отношения в начале I тысячелетия (чтобы не уступить первого хода германцам. — К. Ф.). Но эти концепции не подтверждаются фактами» (стр. 205). (Здесь и ниже разрядка моя — К. Ф.)

Неужели советские историки, масштаба Ворогина, Рыбакова, Поршнева и других не видели раньше того, что их «концепции не подтверждаются фактами»? Каждый человек, в том числе и каждый ученый, имеет право на заблуждение, ибо без этого не возможны были бы ни искания, ни прогресс в науке. Но в данном случае мы имеем дело не с заблуждением, а с чем-то значительно худшим: советские историки не заблуждались, а только следовали линии правящей партии! В этом глубочайшая трагедия и безвыходный тупик советской исторической науки...

6. ФОРМУЛА «МЕНЬШЕГО ЗЛА»

В связи с новым направлением партийной национальной политики подвергнута пересмотру и известная формула «меньшего зла», долгое время служившая обязательным критерием для оценки как завоевательной-колониаторской политики царского правительства, так и освободительной борьбы покоренных народов против России. А. Панкратова, не так давно еще защищавшая в дискуссии по вопросу о «меньшем зле» сталинскую линию, в своей речи на XX съезде и здесь сделала поворот, очень осторожный пока и, так сказать, диалектический, — в ожидании, что из всего этого выйдет, как далеко пойдет процесс десталинизации. Такой диалектический подход не раз спасал Панкратову раньше, позволив ей сбалансировать, например, между прославлением и падением М. Покровского, к школе которого она принадлежала в качестве одного из наиболее преданных её одептов. Этот подход поможет ей безболезненно пройти и через все узкие места нового курса. Как всегда, она выступает в роли застрельщика, предоставляя другим, менее ответственным или менее осторожным, следовать дальше по намеченному ею пути.

В № 3 «Вопросов истории» (1956 г.) проблемы, связанные с формулой «меньшего зла», поставлены уже во всем их значении. Причем, главный упор делается

не столько на пересмотр завоевательно-колонизаторской политики царского правительства, сколько на переоценку значения национально-освободительной борьбы покоренных народов. Оба явления между собою связаны, но политическая актуальность второго значительно больше первого.

И здесь начинается с критики прежней линии. А. М. Пикман в статье «О борьбе кавказских горцев с царскими колонизаторами» говорит о том, что:

«Некоторые историки вопреки историческим фактам, вопреки документам изображают борьбу горцев Кавказа как явление реакционное. Начало такому извращению освещению движения горцев положил М. Багиров в статье «К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля».

В высшей степени характерным для исторической методологии и самого Пикмана и всех других советских историков является дальнейшее его замечание по этому вопросу, — замечание в своем роде классическое:

«Оценивая явления того времени, мы должны исходить из интересов революции в Западной Европе и в России», а не из фактов и документов. Это и есть то, что называется «классовым подходом» к науке и её «партийностью»!

Примечательным в статье Пикмана является и то, что он впервые после долгого запрета ссылается на отрицательные, даже враждебные отзывы Маркса и Энгельса о внешней политике царской России; после падения Покровского о них в советской исторической литературе никогда не вспоминали.

В исторических взглядах Пикмана поразительная двойственность, присущая всем советским историкам: с одной стороны они не могут не считаться с фактами, но с другой — над каждым из них довлеет партийная линия. «Утверждения о реакционности движения горцев за независимость под руководством Шамиля противоречат фактам», пишет Пикман, но не это для него главное. «Эти утверждения, продолжает он, выражают великодержавные установки, не способствующие укреплению дружбы между народами» (стр. 84).

Пока партия считала главной опасностью «местный буржуазный национализм», движение Шамиля считали реакционным, независимо не только от каких бы то ни было фактов, но даже и от того, что об этом писали в свое время Маркс и Энгельс. Но когда очередной политической задачей партии, в связи с созданием «социалистического лагеря» и начавшимся уже оформлением «мировой системы социализма», стало «укрепление дружбы между народами», тот же самый Шамиль снова становится героем революционной национально-освободительной борьбы.

Из всех же затруднений, проистекающих из дедуктивного метода, советских историков выводит их «диалектика».

«Прогрессивность последствий присоединения народов Кавказа к России очевидна», обращается редакция «Вопросов истории» (№ 3, 1956. стр. 84) к историкам, из чего видно, что формула «меньшего зла», в целом, остается еще в полной силе. «Однако (диалектика!) было бы неправильным, исходя из этого, характеризовать национальные движения как движения реакционные, как это делали некоторые авторы; каждое такое движение нужно рассматривать конкретно исторически»...

7. ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ В ФОРМУЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Формула национальной политики партии состоит из двух членов: понятия «местного национализма» (с обязательным дополнением «буржуазного») и «великодержавного централизма» (причем «централизм» часто заменяется «шовинизмом»). Предполагается борьба на «два фронта», но взгляд на сравнительное

значение одной и другой опасности меняется: Ленин подчеркивал больше опасность «великодержавного шовинизма»; Сталин делал ударение на «местном национализме» до того, что «великодержавный шовинизм», приняв все черты великороссийского национализма, не только перестал казаться вообще опасностью, но стал даже нормой, отвечающей генеральной линии. После смерти Сталина произошла новая перемена: «местный национализм» отошел на второй план, а на первый выдвинулся «великодержавный шовинизм», в смысле заключающейся в том и другом опасности.

Такая «перестановка слагаемых» отразилась и на исторической науке, как это показала уже речь Панкратовой на съезде партии. Более выпукло эта перемена отражена в № 3 «Вопросов истории» (1956): в статье В. В. Пентковской «Роль В. И. Ленина в образовании СССР» и в критической статье Е. С. Осляковской и А. В. Снегова «За правдивое освещение истории пролетарской революции», посвященной книге А. В. Лихолата «Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917—1922)». (Госполитиздат, 1954 г.).

В. В. Пентковская цитирует слова Ленина: «Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть». (Соч. т. 33, стр. 335) и затем говорит о том, что «Ленин обращал внимание на опасность великодержавного шовинистического извращения идеи объединения, предостерегал против попыток под видом образования СССР провести «автономизацию» республик, против нарушения принципов пролетарского интернационализма и равноправия советских республик. Ленин обращал особое внимание (и здесь нужно видеть ключ к пониманию нового курса национальной политики партии — К. Ф.) на то, что **положительное решение национального вопроса в строительстве Советского союзного государства имеет громадное значение не только для Советской страны, но и для сотен миллионов людей в Азии, которой предстоит выступить на исторической сцене в ближайшем будущем**» (стр. 21).

А. В. Лихолату авторы цитированной выше статьи ставят в вину то, что он всю классовую борьбу на Украине, в период Гражданской войны 1918—1922 гг., свел к одному только местному национализму, не заметив борьбы партии и против великодержавного шовинизма, составлявшего тогда не меньшую опасность:

«Если верить автору, пишут его критики, источником ожесточенной борьбы на Украине за Советскую власть была националистическая контрреволюция. В действительности дело обстояло не так... На Украине, как и во всей стране, шла классовая борьба, принявшая самые острые формы гражданской войны... (Но) Наряду с националистами на Украине действовала русская буржуазно-помещичья контрреволюция, стремившаяся сохранить Украину в составе «единой неделимой России...»

«Автор игнорирует указания В. И. Ленина о борьбе партии на два фронта в национальном вопросе. В конце декабря 1919 г. в письме к рабочим и крестьянам Украины В. И. Ленин отмечал, что «делу революции может нанести величайший вред малейшее проявление великорусского национализма, разъединяющего русских и украинских товарищей»... (Соч. т. 30, стр. 272), (стр. 143).

8. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПАРТИИ

Советская историческая наука, как видим, перестраивается: использование иностранной научной традиции не кажется больше ни проявлением «буржуазного космополитизма», ни свидетельством «низкопоклонства» или «пресмыкательства перед буржуазной культурой»; искажение исторических фактов, в угоду лож-

но понимаемому чувству патриотизма, определенно осуждается; от историков требуют преодоления упрощенного применения законов диалектики к истолкованию исторического прошлого и более бережного обращения с фактами, не допускающими ни прикрасивания их, ни умаления.

Всё это так. Но откуда инициатива нового направления? Какую роль играют здесь «возросшие потребности», на которые так часто ссылаются сейчас официальные документы, в данном случае возросшее чувство научного достоинства советских историков, которые не хотят больше мириться ни с искусственной изоляцией их от мировой науки, ни с навязываемой им насильственной фальсификацией фактов прошлого? И какую роль играет здесь простое послушание, безвольное подчинение очередному зигзагу политической линии всемогущей и всё своим контролем охватывающей правящей партии?

Сегодня свергаются кумиры, которым служили вчера. Но если кумиры свергают не по собственному почину, а по приказу сверху, то нет ли здесь опасности, что завтра свергаемые снова появятся на своих пьедесталах? А если они будут заменены какими-то новыми, то всё же и это будут кумиры, с таким же обязательным им культом, какого требовали для прежних?

Цитированные выше замечания А. Панкратовой, Э. Бурджалова и других, так же как и выдержки из редакционных, «директивных», следовательно, статей такого «ведущего» журнала, как «Вопросы истории», заставляют ответить на последний вопрос утвердительно: новый курс советской исторической науки, это — только ответ на новый поворот партийной линии!

К прежним цитатам, а в данном случае в них нужно видеть «неумолимые факты», можно добавить еще несколько строк из того увещания историкам, которым заканчивается редакционная статья № 3 «Вопросов истории» (1956):

- 1) «Советские историки перестраивают свою работу в свете исторических решений XX съезда КПСС».
- 2) «Наши задачи четко определены XX съездом партии. Необходимо покончить с начетничеством и догматизмом, неуклонно следовать ленинскому учению и ленинскому методу и создать научные работы, проникнутые свежими мыслями, духом творческого горения и пытливого исследования,
- 3) способствуя этим победе коммунизма» (стр. 12).

„Ставка на сильных“

В прошлом, 1956 году, минуло пятьдесят лет со времени издания столыпинского аграрного закона, получившего впоследствии название «ставки на сильных». С «легкой руки» политических противников Столыпина утвердилось (и доселе держится) мнение, что под «сильными» якобы надлежит разуместь буржуазную верхушку деревни, так называемых «кулаков», на которых, будто бы Столыпин ставил свою «ставку», игнорируя интересы и нужды широкой массы среднего крестьянства. Толкование это основано на полном искажении действительного смысла речи Столыпина, произнесенной им в Третьей Государственной Думе 5 декабря 1908 года (см. ниже). В действительности Столыпинская аграрная реформа имела своей основной целью предоставить широкой массе русского крестьянства то положение «полноправных свободных сельских обывателей», которое было им обещано, но не вполне осуществлено «Положением» 19 февраля 1861 года, принесшим крестьянству освобождение от крепостной зависимости.

Освобожденный от власти помещика крестьянин оставался в области правовой — под властью и под опекой крестьянского «мира», над которым в 1889 году была еще поставлена твердая и попечительная власть «земского начальника», в области хозяйственной — самостоятельность и инициатива крестьянина были связаны по рукам и ногам институтом общинной собственности на землю, с его земельными переделами, с его принудительным трехпольным севооборотом, с его раздробленностью и разбросанностью мелких и узких крестьянских полос и, в связи с этим, с ужасающе низкой урожайностью крестьянских полей: средняя урожайность крестьянских наделных земель составляла в 1891 - 1900 гг. 39 пудов с десятины, опускаясь в некоторых губерниях до 21 пуда и нигде не поднимаясь выше 57 пудов; она была на 15 - 20 % ниже урожайности соседних частновладельческих земель и в 3 - 4 раза ниже урожайности различных европейских стран.

За время, протекшее с освобождения крестьян (в 1861 г.) до начала XX века экономическое положение русского крестьянства в целом не улучшилось, а ухудшилось. Земледельческое население 50 губерний Европейской России, составлявшее в 60-х годах около 50 миллионов, возросло к 1900 году до 86 миллионов, вследствие чего земельные наделы крестьян, составлявшие в 60-х годах в среднем 4,8 десятины на душу мужского населения, сократились к концу века до среднего размера 2,8 десятины. Между тем средняя урожайность крестьянских наделных полей поднялась за этот период лишь весьма незначительно — с 30 пудов до 39 пудов на десятину. Таким образом рост производительности крестьянского хозяйства далеко отстал от роста численности крестьянского населения. Есте-

ственным результатом этого несоответствия было падение среднего сбора хлеба на душу сельскохозяйственного населения и понижение общего уровня крестьянского благосостояния (к этому присоединялись повторные неурожаи, вызывавшие прямой голод в достигнутых ими районах).

К концу XIX века бедственное положение крестьянства (особенно в центральных областях — так называемое «оскудение центра») сделалось очевидным и всё более привлекало к себе тревожное внимание общества и правительства. Правительство учреждало разные комиссии по крестьянскому вопросу и созывало «особые совещания» (наиболее широко было организовано в 1902 году «особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности», под председательством министра финансов С. Ю. Витте); все эти комиссии, комитеты и «особые совещания» собирали ценные материалы о правовом и экономическом положении крестьянства, но практических результатов по подъему крестьянского благосостояния не достигали.

Общественное мнение в России конца XIX и начала XX века усматривало главную и основную причину крестьянской бедности в крестьянском «малоземелье», хотя в действительности пресловутая «земельная теснота» русского крестьянства, о которой до сих пор говорят и пишут русские и иностранные историки и публицисты, представляет собой один из исторических мифов, очень живучий, но совершенно не соответствующий фактам русской экономической истории. Представление о «земельной тесноте» в России, прежде всего, не вяжется с тем бесспорным фактом, что Россия в начале XX века была самой редконаселенной страной Европы. Если сбросить со счета около 1/3 русской территории (главным образом на севере и северо-востоке), неудобной для сельскохозяйственной обработки, всё же окажется, что Россия обладала наибольшим земельным простором по сравнению с другими европейскими державами. Удобоной земли приходилось в это время на 1 человека населения в Европейской России 2,1 десятины, во Франции 0,82 десятины, в Германии 0,62 десятины, в Великобритании 0,48 десятины.

Необъятные земельные просторы России, в своем огромном большинстве, уже до революции принадлежали русскому «трудовому крестьянству» и лишь в весьма незначительной части «помещикам и капиталистам». В 1905 году в 50 губерниях Европейской России (т. е. без Польши, Кавказа и Финляндии) было всего 395 миллионов десятин земли; из них около 150 миллионов десятин принадлежало казне, но это были огромные пространства северных и северо-восточных лесов и полярной тундры (почти все казенные земли, удобные для земледелия, были отведены в 60-х годах в надел государственным крестьянам). Остальная масса земель — около 240 миллионов десятин — состояла из двух категорий:

1) 139 млн. дес. «надельных» земель (в том числе 124,1 млн. дес. крестьянских и 14,7 млн. дес. казачьих земель) и

2) 101,7 млн. дес. земель частновладельческих:

однако из последней категории в 1905 г. лишь около половины, именно 53,2 млн. дес., принадлежало дворянам; остальные земли частного владения распределялись следующим образом: крестьянам и крестьянским товариществам принадлежало 24,6 млн. дес., купцам и торговопромышленным компаниям — 16,7 млн. дес., мещанам и другим сословиям — 6,5 млн. дес. В общем, крестьянам в 1905 году принадлежало всего 164 млн. дес., дворянам — 53 млн. дес. (из которых довольно значительную площадь занимали леса). Таким образом Россия, в отношении землевладения, уже до революции была «мужичьим цар-

ством», страной, в которой крестьянское землевладение преобладало над крупным частновладельческим в гораздо большей степени, чем в других европейских странах.

Что касается величины крестьянских земельных наделов, то и здесь о «малоземелье» можно говорить лишь в весьма ограниченном смысле. В 1905 году из общего количества 12 млн. крестьянских дворов менее 5 десятин на двор имели 2.857 тыс. дворов (23,8% общего числа дворов); от 5 до 10 дес. на двор имели 5.072 тыс. дворов (42,3%); свыше 10 дес. — 4.070 тыс. дворов (33,9%). Таким образом общее число действительно малоземельных крестьян составляло в начале XX века. менее 1/4 всего российского крестьянства. Во всяком случае, бедствующие российские крестьяне были снабжены землей в гораздо больших размерах, чем их процветающие и благоденствующие европейские собратья.

Главной причиной этого парадоксального явления была система сельского хозяйства, при которой русский крестьянин, обладая несметными земельными богатствами, бедствовал и временами голодал. Прежде всего, это было стародавнее прапрадедовское трехполье, при котором 1/3 пахотной земли «гуляет» под паром; при недостатке лугов и выгонов, паровое поле, правда, употребляется для выгона скота, но та жалкая пища, которую он там находит, конечно, не компенсирует потери 30% пахотной земли. Затем, крестьянская земля не принадлежит своему пахарю на правах собственности, она принадлежит общине, «миру», который распределяет ее по «душам», по «едокам», по «работникам» или иным каким-либо способом (из 138 млн. дес. наделных земель около 115 млн. дес. были общинные земли; только в западных областях крестьянские земли находились в подворном владении своих хозяев, и надлежит отметить, что эти области не знали повальных голодовок и что урожайность крестьянских полей там была выше, чем в центральных областях государства). Характерными и неизбежными чертами общинного землевладения были чересполосица и принудительный (трехпольный) севооборот; поля делились сначала на несколько больших кусков, по степени удаленности их от селения и по качеству почвы, а потом в каждом из этих участков отводились полосы отдельным домохозяевам, которым доставалось, таким образом, иногда по несколько десятков разбросанных и узких полос. Ясно, каким сильным тормозом сельскохозяйственного прогресса, каким серьезным и труднопреодолимым фактором рутины и застоя в земледелии являлся такой способ землепользования.

Несмотря на очевидный экономический вред общинного крестьянского землевладения, крестьянская поземельная община долго почиталась одним из незыблемых и неприкосновенных «устоев» Российского государства; ее поддерживали, защищали и охраняли все — от славянофилов и Чернышевского до Победоносцева и Александра III. «Народники» усматривали в общине зародыш или ячейку будущего социалистического строя; «охранители» считали ее основным устоем патриархально-консервативного быта. До самой революции 1905 г. правительство считало неприкосновенным строй существующего крестьянского землевладения. Законом 1893 года было запрещено отчуждение наделных земель, а через 10 лет манифест 26 февраля 1903 г. «о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», напоминая царский обет «свято блюсти вековые устои Державы Российской», предписывал произвести пересмотр законодательства о крестьянах, при этом однако «в основу сих трудов положить неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения» (и сохранение сословного строя). Те же предписания содержал Высочайший (т. е. императорский) указ Сенату 8 января 1904 г. о пересмотре законодательства о крестьянах; и, наконец, непри-

косновенность этих принципов подтверждалась в циркуляре министра внутренних дел начальниками губерний 31 декабря 1904 года, т. е. буквально накануне революции.

Революционные события 1905 года обнаружили иллюзорность правительственных надежд на консерватизм крестьянской массы. С другой стороны, П. А. Столыпин, пришедший к власти в 1906 году, внимательно наблюдавший и хорошо знавший сельскую жизнь, уже задолго до своего призыва на пост премьера пришел к заключению, что крестьянская поземельная община является элементом косности и рутины, тормозом экономического развития и социального прогресса в деревне.

Весьма важным шагом правительства Столыпина в направлении крестьянского раскрепощения был указ 5 октября 1906 года об уравнивании крестьян в гражданских правах с лицами других сословий; указ этот имел целью завершить освободительную реформу 19 февраля 1861 года «на началах гражданской свободы и равенства перед законом всех российских подданных»; отныне крестьяне могли по желанию менять место жительства, свободно избирать род занятий, поступать на государственную службу и в учебные заведения, не спрашивая разрешения или согласия «мира»; с другой стороны, было отменено право земских начальников подвергать крестьян аресту или штрафу в административном порядке, «за неисполнение распоряжений означенных должностных лиц».

9 ноября 1906 года был издан знаменитый указ о праве выхода из общины с принадлежащим каждому крестьянину в данное время земельным наделом. Ссылаясь на произведенную манифестом 3 ноября 1905 г. отмену (с 1 января 1907 г.) выкупных платежей за земли, полученные крестьянами в надел при их освобождении, указ 9 ноября постановлял: «С этого срока означенные земли освобождаются от лежавших на них, в силу выкупного долга, ограничений, и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины, с укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела». Статья 1 указа 9 ноября постановляла: «Каждый домохозяин, владеющий надельною землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли». Выделяя свой полевой надел из общего мирского надела, крестьянин сохранял право пользования общими «угодьями» — сенокосами, пастбищами, лесами и т. д. Домохозяева, выходящие из общины, могли требовать, чтобы общество выделило им участки, по возможности, к одному месту, (так называемые отруба). По постановлению 2/3 домохозяев все члены общества переходили к личному владению отрубными участками.

Столыпинский аграрный закон вызвал против себя ожесточенную оппозицию не только слева, но и справа. Левые и леволиберальные партии (социалисты и «кадеты») усматривали в нем недопустимое нарушение прав крестьянского мира, насильственное вторжение администрации в социально-экономический строй крестьянской жизни. Правые опасались, что разрушение общины поведет к обезземелению значительной части крестьянства и к росту пролетариата, с его опасными революционными тенденциями.

Столыпин внес свой аграрный закон во Вторую Государственную Думу, где он был подвергнут жестокой критике. Преобладавшие в Думе левые партии считали, как известно, единственным способом разрешения аграрного вопроса в России принудительное отчуждение частновладельческих земель, и раздел их между крестьянами, хотя, как было выше указано, в 1905 году против 164 млн. десятин крестьянских земель дворянам принадлежало всего 53 млн. десятин, и

таким образом, раздел дворянских земель повел бы лишь к незначительному увеличению площади крестьянского землевладения и не умягчил бы крестьянской бедности без общего подъема производительности крестьянского труда и урожайности крестьянских полей.

В своей речи по аграрному вопросу, 10 мая 1907 года, Столыпин пытался убедить депутатов, что «путем переделения всей земли государство в своем целом не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены будут культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения они скоро обратятся в пыль...». Столыпин признавал, что крестьянство находится в тяжелом положении и что ему необходимо помочь, но здесь «предлагается простой, совершенно автоматический, совершенно механический способ: взять и разделить все 130 000 существующих в настоящее время поместий. Государственно ли это? Не напоминает ли это историю тришкина кафтана — обрезать пелы, чтобы сшить из них рукава?» Вместо этого, Столыпин предлагал для разрешения аграрного вопроса и для подъема уровня крестьянского благосостояния целую систему мероприятий, из которых наиболее существенным было «освобождение крестьянина от тех тисков, в которых он в настоящее время находится», и создание «крепкой индивидуальной собственности», — надо сделать русского крестьянина хозяином-собственником, «надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность» (Стенографический отчет о заседании Второй Государственной Думы, стр. 433—445).

В Третьей Государственной Думе Столыпин был в состоянии провести свой аграрный закон, опираясь на большинство, образованное фракциями «октябристов» и «националистов» (или «умеренно-правых»). Но и здесь закон этот подвергся жестокой критике со стороны не только левых фракций (социал-демократов и «трудовиков») и «кадетов», но и со стороны значительной части правых.

Земельная комиссия Третьей Государственной Думы (председателем комиссии был М. М. Родзянко, а докладчиком депутат-сктябрист Шидловский) не только одобрила внесенный правительством аграрный законопроект, но пошла дальше в направлении «разрушения общины» (по выражению противников законопроекта), именно предложила признать, что все общины, в которых не было общих переделов земли в течение последних 24 лет, должны быть признаны автоматически перешедшими к подворно-участковому владению.*)

В заседании Государственной Думы 23 октября 1908 г. докладчик земельной комиссии Шидловский выступил с большой речью в защиту закона 9 ноября. «В основе правового государства, господа, — говорил он, — лежит свободная, энергичная и самостоятельная личность. Эту личность вы не получите без предоставления ей присущего всем права собственности на имущество, и я думаю, что если кто действительно желает обращения нашего государства в правовое, тот не может высказываться против личной собственности на землю» (Стенографический отчет, стр. 171). Шидловский, указав на весьма существенные хозяйственные недостатки крестьянской общины, подверг затем критике «совершенно неправильную правительственную политику в области крестьянской и в области аграрной за последние 40 лет», ибо правительство «в 1861 году создало класс сво-

*) Правительство заняло в этом вопросе более умеренную позицию, и в окончательной редакции закона были признаны «перешедшими к наследственному (участковому или подворному) владению» лишь те общества и селения, «в коих не было общих переделов со времени наделения их землею».

бодных сельских обывателей и воображало более сорока лет, что население может бесконечно плодиться и кормиться на определенной территории, не совершенствуя способов обработки этой территории» (там же, стр. 176).

В заседании 24 октября 1908 г. оратор кадетской партии депутат Шингарев жестоко критиковал проект земельной комиссии и утверждал, что выходы крестьян из общины производятся под нажимом правительственных чиновников и вносят смуту и в сельское общество и в самую крестьянскую семью, «где отец идет против сына, и сын пойдет против отца» (там же, стр. 269—270).

Один из главных сотрудников Столыпина по проведению аграрной реформы, товарищ министра внутренних дел Лыкошин, указывая на массовые заявления крестьян о выходе из общины, убеждал депутатов: «Ведь согласитесь, господа, не могли же земские начальники принудить 700 000 крестьян-домохозяев заявить об укреплении вопреки их воле. Ведь значит есть же какой-то внутренний стимул укрепляться, есть же, значит, у крестьян стремление к личной собственности... Наивно было бы думать, будто какие-либо внешние меры могут заставить крестьян идти навстречу землеустроительным начинаниям правительства» (там же, стр. 289—290).

В том же заседании депутат с.-д. Гегечкори, высказываясь против принудительного характера сельской общины (ибо «принудительная община и принудительный коммунизм — это есть горькая привилегия русского крестьянства», стр. 322), в то же время критиковал правительственный законопроект и требовал уничтожения крестьянского малоземелья «наделением крестьян землей путем безвозмездного отчуждения всех некрестьянских земель» (стр. 321).*

В заседании 27 октября 1908 г. правый депутат Шечков утверждал, что если сельская община, «эта основная форма крестьянского землевладения», выходит расшатанной из современных потрясений, то «из этого не следует, чтобы мы кричали тоже: «долгой общину», и что «коллективная собственность есть тоже неприкосновенная собственность» (стр. 401—405).

В заседаниях 29 и 31 октября «трудовик» Петров 3-й утверждал, что «указ 9 ноября дает возможность людям не только грабить однообщинников, но и родственников, даже детей, но не грабить только помещиков» (стр. 525). «Указ 9 ноября создает, прежде всего, вражду соседскую; затем этот указ создает вражду семейную... Указ 9 ноября создаст и уже создает между мирным крестьянством кровавые столкновения. Указ 9 ноября создаст громадное количество голодного безземельного пролетариата и уничтожит в корне то мало-мальски сносное положение, в котором находятся теперь крестьяне в общине. Голод, холод и нищета — вот наследие указа 9 ноября» (стр. 565—566).

В заседании 7 ноября товарищ министра внутренних дел Лыкошин убеждал депутатов, что закон 9 ноября не содержит в себе никакой опасности насильственного разрушения общины, что община сохранится там, где она крепка и жизненна, но бесполезно и вредно искусственно поддерживать ее там, где она находится уже в стадии разложения; и теперь община не уничтожает, а только маскирует обезземеление части крестьянского населения (стр. 910—912).

В заседании 10 ноября главноуправляющий землеустройством и земледелием Кривошеин доказывал, что переход к частной собственности на землю необходим для поднятия производительности народного труда и для подъема общего уровня крестьянского благосостояния, что указ 9 ноября — «это второе раскрепощение

*) Здесь и дальше цитируется стенографический отчет заседаний Третьей Государственной Думы.

крестьянского земледельческого труда» (стр. 1031), и что взятый правительством курс земельной политики «должен привести и приведет к замене стихийной власти земли над русским крестьянством разумной властью русского крестьянина над своей землей» (стр. 1044).

В заседании 22 ноября, после того как формулы социал-демократов, «трудовой группы» и «фракции народной свободы» (к.-д.) об отклонении проекта земельной комиссии без перехода к постатейному обсуждению были отвергнуты, Государственная Дума приняла предложенную фракцией «Союза 17 октября» формулу о переходе к постатейному чтению.

Продолжительные и горячие споры вызвал вопрос о том, кому должны принадлежать выделяемые из общины участки наделной земли: одному крестьянину-домохозяину или всей крестьянской семье? Некоторые правые депутаты высказывали опасение, что, получив землю в свою полную собственность, крестьянин может «пропить» или «промотать» свою землю, оставив семью без средств к существованию.

В заседании 1 декабря докладчик земельной комиссии Шидловский, отстаивая принцип личной собственности на землю, утверждал, что институт семейной собственности убивает самостоятельность и предприимчивость домохозяина, и в то же время не укрепляет, а расшатывает авторитет родительской власти и семейные устои (стр. 1998).

В том же заседании правый депутат Образцов патетически восклицал, что закон 9 ноября «прикровенно содержит в себе достаточно гремучего газа, чтобы взорвать всю Россию», что отдача земли в единоличную собственность есть незаконная экспроприация чужой собственности, которая, де, поведет к губительным последствиям. Прежде русский крестьянин «пропивал то, чем и дорожить-то не стоило, пропивал худую телегу, пропивал одежду, пропивал сапоги... теперь он пропивает землю» (здесь стенографический отчет отмечает «рукоплескания слева и справа»), «теперь он пропивает судьбу свих собственных детей и внуков и судьбу своего отечества. Вот когда нужно бить тревогу» (стр. 2005); «неизбежным последствием насильственного перевода общинной земли в личную собственность будет страшная скупка земли кулаками... земля эта потечет страшным потоком в руки кулаков, и мы через несколько лет, может быть, через два-три года, будем иметь уже не менее, как 20 000 000 полного земельного пролетариата» (стр. 2006).

В том же заседании правый депутат Щечков столь же решительно возражал против статьи 2 законопроекта (о переходе земли в личную собственность) и утверждал, что эта «возмутительная статья» означает «разгром крестьянской семьи», — «я не вижу, почему обездоливание всех членов семьи в пользу домохозяина может способствовать культуре или лучшему уваживанию полей», и «как ни важны экономические интересы, но в угоду и в жертву им не могут быть принесены требования семейной правды — навозные интересы не могут возблагдать над требованиями семейной правды» (стр. 2015 — 2016).

Оратор конституционно-демократической (к.-д.) партии Шингарев восклицал. «нельзя с народным мирозерцанием, с народным укладом, с вековым укладом крестьянской семьи, ... нельзя играть как с игрушкой, нельзя ломать ее по вашему усмотрению, ибо эта игра — игра с огнем» (стр. 2033).

Товарищ министра внутренних дел Лыкошин указывал депутатам, что в настоящее время старинный патриархальный строй в крестьянском быту постепенно исчезает, и что уже теперь «происходит проникновение общегражданских начал в крестьянскую среду», и что закреплением в законе института семейной

собственности «пришлось бы отдать всё взрослое крестьянское население в опеку своим детям» (стр. 2040). Он решительно отвергал «опасение, что все отцы, как какие-то озверелые существа, будут действовать в ущерб своим кровным родным детям». (стр. 2045), и, «как русский человек», он утверждал: «говорить, будто бы крестьяне, если только дано им будет распоряжение свсими наделами, чуть ли не все обратятся в пьяниц и продадут свои наделы за грош, за косушку водки — это, господа, клевета на русский народ» (стр. 2040).

Но выступление Лыкошина не переубедило защитников семейной собственности и, в частности, лидер крайних правых, курский депутат Марков 2-й продолжал настаивать: «несправедливо отнимать у семьи то, что ей принадлежит и отдавать одному домохозяину» (стр. 2055).

Наконец, в заседании 5 декабря 1908 г. сам председатель совета министров П. А. Столыпин выступил с энергичной речью в защиту принципа единоличной собственности против собственности семейной. Он настаивал на предоставлении крестьянству экономической самостоятельности и свободы распоряжаться собственным имуществом и трудом. Личный собственник есть «в полном смысле слова кузнец своего счастья», тогда как при семейной собственности владелец земли «стеснен во всех своих действиях»; «мелкая семейная община несомненно будет «парализовать и личную волю и личную инициативу поселянина. Во имя чего все это делается? Думаете ли вы этим оградить имущество детей отцов пьяных, расточительных?.. Нельзя создавать общий закон ради исключительного, уродливого, явления... Для уродливых, исключительных явлений надо создавать исключительные законы; надо развить институт опеки за расточительность... Но главное, что необходимо, это, когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых». (Стр. 2281 - 2). «Правительство приняло на себя большую ответственность, проводя в порядке статьи 87 (основных законов) закон 9 ноября 1906 года, оно ставило ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных... помните, законодательствуя, что таких сильных людей в России большинство». «Неужели не ясно, что кабала общины, гнет семейной собственности является для 90.000.000 населения горькою неволею? Неужели забыто, что этот путь уже испробован, что колоссальный опыт опеки над громадной частью нашего населения потерпел уже громадную неудачу?» (стр. 2282 - 2). Из текста и прямого смысла речи Столыпина совершенно очевидно, что под «крепкими и сильными» он разумел всю массу средних нормальных крестьян, а не кучку богатеев-кулаков.

После этого аграрный законопроект обсуждался в Думе еще несколько месяцев, причем оппозиция подвергала жестокой критике почти каждую его статью. В заседании 21 апреля 1909 года докладчик земельной комиссии Шидловский, защищая основные принципы закона 9 ноября, высказал убеждение, что мрачные пророчества о гибельных последствиях его не оправдаются, «суда истории я не боюсь и совершенно смело, за себя и за своих единомышленников, выступаю защитником основных положений этого законопроекта и глубоко убежден, что история оправдает нас, а не противников начал, положенных в основу этого законопроекта» (стр. 2762).

В заседании 24 апреля 1909 г. «стольпинский» закон был, наконец, принят большинством Государственной Думы; против него голосовали социал-демократы, «трудовики», «кадеты» и часть правых.

Докладчик земельной комиссии Шидловский выразил убеждение, что «мы совершили, по мнению большинства, принявшего этот законопроект, большое государственное дело на народную пользу» (стр. 2949).

Правый депутат Щечков внес формулу перехода к очередным делам (за подписью 21 человека) с пожеланием, чтобы закон, предоставляя свободный выход из общины отдельным ее членам, не нарушал бы «неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения» и «не должен содействовать росту сельского пролетариата» (стр. 2951 - 2).

Лидер фракции к. - д. Милюков заявил: «К сожалению, фракция народной свободы должна будет голосовать против этой формулы перехода, ибо «снявши голову, по волосам не плачут»... Мы полагаем, что такого рода формулу перехода Государственная Дума принять не может, ибо иначе она замазала бы то преступление, которое она только что совершила перед народом». (стр. 2952 - 3). Формула перехода, предложенная Щечковым, была отклонена.

В Государственном Совете, как и в Думе, стольпинский законопроект встретил критику и оппозицию и справа и слева. В заседании 15 марта 1910 года Столыпин выступил в Государственном Совете с речью, в которой выразилась уже его спокойная уверенность в правоте его аграрной политики: «Закон этот, заявил он, не только проверен теоретическими рассуждениями специалистов, он четвертый год проверяется самой жизнью» (Стенографический отчет Государственного Совета за 1910 г., стр. 1136). «Этим законом заложен фундамент, основание нового социально-экономического крестьянского строя» (там же, стр. 1138); За 3 года действия закона, «до 1 февраля 1910 г. заявило желание укрепить свои участки в личную собственность более 1.700.000 домохозяев, т. е. около 17% всех общинников-домохозяев (стр. 1140); «я со слишком большим уважением отношусь к народному разуму, чтобы допустить, что русское крестьянство переустраивает овой земельный быт по приказу, а не по внутреннему убеждению» (стр. 1145).

В заседании 24 марта товарищ министра внутренних дел Лыкошин старался объяснить законодателям действительный смысл выражения «ставка на сильных»: «Тут очень много, между прочим, говорили о выражении «ставка на сильных», и оно понималось в том смысле, что сильные это — кулаки, новая буржуазия и т. д. Я понимаю это в другом смысле. Я понимаю, что «ставка на сильных» — это ставка вообще на духовные и материальные силы русского народа»... (там же, стр. 1547).

По одобрении аграрного законопроекта Государственной Думой и Государственным Советом, он был утвержден Государем и стал законом 14 июня 1910 года. Столыпинский аграрный закон отвечал назревшей потребности и вызвал широкий отклик в массе крестьянства; уже за первые 5 лет действия закона (1907 - 1911 гг.) свыше 2 1/2 миллионов крестьян-домохозяев (около 1/4 всех крестьян-общинников) подали заявления о выходе из общины. К концу 1914 года число домохозяев, за которыми укрепление земли окончательно состоялось, составляло около 2 миллионов, кроме того, получили «удостоверительные акты» на закрепление участков в общинах, где не было переделов, около 500 тыс. домохозяев, таким образом, вышло из общин и укрепило землю в личную собственность больше 1/4 всех крестьян-общинников.

Широкая и энергичная землеустроительная работа на крестьянских полях, рост кооперативного движения и особенно развитие кредитной кооперации в деревне, всесторонний технический прогресс в сельском хозяйстве, — всё это способствовало подъему крестьянского хозяйства в «стольпинскую» эпоху, подъему, который ясно отразился в заметном росте урожайности и потребления

продуктов сельского хозяйства (при значительном росте их экспорта)*). Столыпинская эпоха действительно внесла в бедную и серую массу крестьян-общинников основы и возможности «нового социально-экономического крестьянского строя».

Правильность основного принципа столыпинской аграрной политики, т. е. предоставление крестьянину права свободного распоряжения его земельным имуществом, была проверена трагическим опытом революции. После захвата власти большевики, в союзе с левыми социалистами-революционерами, принялись усердно проводить в жизнь «эсеровскую» программу так называемой «социализации земли». Изданный 19 февраля (4 марта) 1918 года декрет «О социализации земли» (подписанный председателем Совнаркома Ульяновым-Лениным и народным комиссаром земледелия левым эсером Колегаевым) постановлял: «Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы в пределах Российской Федеративной Социалистической Республики отменяется навсегда»; земля «переходит в пользование всего трудового народа» и распределяется между трудящимися на «уравнительно-трудовых началах», с запрещением земельной аренды и применения наемного труда (совхозы должны были играть лишь роль «образцовых ферм или опытных и показательных полей»). При этом в задачи земельных отделов входило «развитие коллективного хозяйства в земледелии, в целях перехода к социалистическому хозяйству».

Известно, что первоначальная ленинская попытка ускренного перехода «к социалистическому хозяйству» в деревне потерпела полную неудачу. Она вызвала жестокую междоусобную вражду между крестьянской массой и ленинскими «комбедрами» («комитетами бедноты»), внесла полное расстройство в процесс сельскохозяйственного производства и вызвала жестокий голод в городах.

Напуганный результатами так называемого «военного коммунизма», Ленин в 1921 году (после Кронштадтского восстания) объявил свой пресловутый НЭП. В деревне НЭП означал, в значительной степени, возврат к принципам столыпинской аграрной политики. В 1922 году «в целях создания правильного, устойчивого и приспособленного к хозяйственным и бытовым условиям трудового пользования землей, необходимого для восстановления и развития сельского хозяйства», был издан новый «закон о трудовом землепользовании», который совершенно отрекался от прежних принципов «социализации». Новый закон предоставлял крестьянству самому избирать способ землепользования: а) общинный (с уравнительными переделами земли); б) «участковый (с неизменным размером права двора на землю в виде чресполосных, отрубных или хуторских участков)» и в) товарищеский (артели и коммуны). «При полных переделах и разверстках земель в обществе, любое число хозяйств, а также и отдельные дворы, имеют право выходить из общества без его на то согласия и требовать выдела земли к одним местам в таком размере, какой им причитается по присводящемуся переделу». Расставаясь с идеей о всеобщем земельном «поравнении», новый закон постановлял: «дальнейшее поравнение земель между волостями и селениями в обязательном порядке прекращается». Далее закон позволял «трудовую аренду земли» на срок до 3 или до 6 лет (вскоре срок был увеличен до 12 лет) и применение «вспомогательного наемного труда в трудовых земледельческих хозяйствах».

* Средний урожай за пятилетие 1908 - 1913 гг. составлял вместо прежних 30 - 40 пудов с десятины — ржи 52,7 пуда с десятины, озимой пшеницы 61 пуд, ячменя 59 пудов, овса 54,5 пудов.

Новые положения аграрного законодательства были подробно развиты в «Земельном кодексе» 1923 года.

Получившие некоторую свободу хозяйственной деятельности русские крестьяне быстро оправались от тяжелой разрухи и стали производить достаточное количество сельскохозяйственных продуктов не только для собственного потребления, но и для снабжения городского рынка. Несколько миллионов трудовых крестьянских хозяйств своим усиленным трудом и предприимчивостью достигли сравнительно высокого уровня зажиточности, но этот подъем новой крестьянской «буржуазии» представлял политическую опасность для коммунистической диктатуры, и потому Сталин, пришедший к власти, произвел в 1929 - 30 гг. зверскую «ликвидацию кулачества, как класса», а остальную крестьянскую массу насильственно загнал в колхозы.

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ

Старик и море

Книга Эрнеста Хэмингуэя «Старик и море» имеет все права на мировое признание. В ней автор достиг полного расцвета: маленькая по размеру книжка велика по своей теме и совершенна по художественному мастерству. Больше того, она — вневременна. Это особенно редко встречается в нашу эпоху, когда многие авторы полны сегодняшним днем и склонны дробить тему, откалывая жизнь мелкими кусочками, точно не хватает у них дыхания для широкого охвата или же нет сил испытать тему в разрезе на всю глубину ее.

В повести — борьба двух стихий: старика и моря, духа и природы. Герой — старик Сантьяго рыбак из Кубы. Цивилизация не коснулась его. Он прожил свою жизнь с морем, в утлом ялыке, возвращаясь в землянку лишь для того, чтобы выспаться на койке, застланной старыми газетами вместо простынь, сварить на жаровне еду, когда она есть, а когда ее нет — стерпеть голод; дать отдых усталому телу, послушать по радио игру в мяч и борьбу. Состязания волнуют старого рыбака. Сам он, борец с морской стихией, знает цену мужеству, выносливости, ловкости и азарту во время игры с опасностью. На стене его землянки висит изображение Священного Сердца Христова и Мадонны из Кобрэ — сокровища покойной жены. Ее выцветшую фотографию старик снял со стены, — слишком грустно было смотреть, — и бережно убрал на полку, под чистую ру-

баху. Есть у старика юный друг — Манолин, с детства учившийся у Сантьяго рыболовному делу.

Повесть начинается в трудные дни неудач и одиночества. Восемьдесят четыре раза возвращался старик с ловли без рыбы. Первые сорок дней молодой его помощник и друг был с ним, но после сорокодневных неудач родители юноши велели ему бросить старика и идти работать с более счастливыми рыбаками. Паренек не мог не повиноваться, хотя привязан был к Сантьяго больше, чем к отцу. Сердце его осталось с тем, кто научил его рыболовному ремеслу, передал ему традиции и любовь к морю. Паренек забегал каждое утро к своему учителю помочь погрузить снасти, а вечером — свернуть заплатанный парус и донести до землянки гарпун, весла и все рыболовные принадлежности, разжечь огонь, закутать усталого рыбака в одеяло и, зная, что нет у него еды (хотя гордый старик не признавался в этом) принести из трактира горячую пищу, кофе, а то и пиво, газету — проявить заботу и верность. В эти часы в убогой лачуге сидело два рыбака, молодой и старый, как заря и закат одной рыбацкой жизни, наружно суровой, но в глубине таящей чувства, которыми могуч и красив человек. Старик не признавался юному другу, что уже не под силу ему одному ходить далеко в море, день за днем встречать неудачу, терять веру и бояться, что даже в случае удачи, — если попадется большая рыба, — не хватит сил справиться с ней. Но выбора не было, и на восемьдесят пятый день снова пошел он, в одиночестве, твердым шагом к своему

Книга Эрнеста Хэмингуэя «Старик и море», изданная в 1952 г., получила Нобелевскую премию в 1955 г.

ялику навстречу неизвестному — обветренный, сожженный солнцем, закорузлый, с добрыми глазами морской синевы. Он знал, что его юный друг не по своей воле бросил его; его отняли те, у кого было на то кровное право. В спор вступать было нельзя, надо было принять одиночество, как судьбу, не сердцем, а волей. А воля рыбака была крепкого закала.

В этот день море испытало старика. Он уплыл далеко, давно скрылись берега. Один на один встретил он свое «жестокое счастье» — клонула рыба таких размеров, каких он еще никогда не вылавливал. Вытащить ее не хватило сил, да и ялик она бы опрокинула. Ее надо было притянуть к борту, убить гарпуном в воде и мертвую буксировать до берега. Задача не простая. Живая громадная рыба металась и тащила за собой ялик. Она хоть и попалась, но не сдавалась. Длиннее ялика, сильнее старика, — она легко могла утащить их в морскую глубину. Но крючок, на который попалась рыба, впивался всё глубже, терзал ее и отнимал силы, как отнимала она сама силы у старика своими метаниями. Привязь резала старые руки, впивалась в плечо, через которое он закинул веревку. Часы шли, жажда и голод истощали. Старик одной рукой подбирал с полу призманку — сырую рыбу — и ел, чтобы поддержать силы, запивая глотком воды, которая была уже на исходе. Рыба всё еще была сильна и широко кружила вокруг лодки, не приближаясь к борту. Пришла и прошла ночь, ее сменило утро. Состязание продолжалось. Но в душе старика не было гнева. Только у цивилизованного человека, веками живущего в выборе Добра и Зла, убийство сопровождается гневом. В природе же борьба — это закон жизни, убийство — явление неизбежное.

«Все так или иначе убивают друг друга», — говорит Сантьяго. «Рыболовство и убивает меня и дает жизнь».

Заповеди «не убий» природа не знает. Не знает и греха.

С восхищением следил старик за гордой красивой-рыбой, уважая, любя и понимая ее муки. Ему тоже было больно, тоже изменяли силы. Но решимость и гордость не покидали его. Он был настойчив и вынослив, как рыба.

«— Ну иди, убей меня. Мне всё равно, кто кого убьет!» — говорил он рыбе. Но сам сдаться он не мог. Его жизненным законом было: «человек может быть убитым, но не побитым». Старик умел терпеть и не сдаваться живым, так же как и рыба. Мог ли он ее ненавидеть? Затекавшие руки из последних сил держали привязь. «Держись, не теряй головы. Знай, как страдать, человек!» наставлял он самого себя. «Прояснись, голова», — сказал он так тихо, что еле услышал себя. Его опыт подсказывал, что рыба с крючком во рту не может не изнемочь. Вопрос был — кто из них первый изнеможет. Он передвинул веревку на плече на свежее место. «Слушай, рыба», — сказал он тихо, — «я не уступлю, пока жив». Рыба начала новый круг. Сила ее была все еще велика. Старик сел, насколько мог поудобнее, облокотился о борт и терпел свси муки, пока рыба продолжала тянуть и кружить на привязи.

«Еще один раз! Он собрал всю свою боль, напряг все свои силы, всю свою потерянную гордость и противопоставил их мучениям рыбы... Рыба всплыла и тихо подошла к борту ялика... длинная, уходящая вглубь, широкая, серебряная, с лиловыми полосами, и бесконечная в воде. Старик бросил привязь, наступил на нее ногой, поднял гарпун как мог выше, и со всей силой, что оставалась еще в нем и с той, что вызвал в себе, вонзил его в бок рыбы, за грудным плавником, торчащим из воды на высоте груди человека. Он чувствовал, как железо входило в живое нутро; он навалился, надавливая всем телом. Тогда в рыбе встрепенулась жизнь. Смерть уже была в ней, но рыба вздыбилась высоко из воды, во весь свой рост, всю ширину, во всю мощь своей красоты. Казалось, она повисла в воздухе над стариком в ялике... Старик изменяло сознание. Его стало мутить. Он едва мог видеть. Он выпустил из рук гарпун, и веревка стала медленно ускальзывать между надсаженными ладонями. Когда он очнулся, рыба лежала на спине серебристым животом вверх. Ручка гарпуна торчала под углом из рыбьего плеча, и море было окрашено яркой кровью из ее сердца. Сперва темнота выглядела отмелью, а потом — облаком. Старик внимательно присматривался, зрение постепенно прояснилось.

Тогда он дважды обмотал веревку гарпуна вокруг штыря на носу и положил голсу на руки. «Проясни мою голову», — сказал он, прижимаясь к доскам лодки. «Я — усталый старик. Но я убил эту рыбу — сестру мою, и теперь я должен делать черную работу раба». Ему захотелось дотронуться до рыбы. «В ней всё мое богатство». Но не поэтому хотелось ему прикоснуться, а потому, что почувствовал ее сердце, когда всаживал гарпун».

Как ни близок был старик к природе и ее законам, всё-таки он был человеком. Он мог убить в самозащиту, но не жалеть он не мог. Убить для человека — грех, с тех пор, как он потерял свое райское неведение, вкусив от древа Добра и Зла. Победа была одержана. И старик принялся за грязную работу.

Но природа не знает жалости: весь долгий обратный путь акулы охотились за трофеем рыбака. Они подплывали и лицом рвали тело мертвой красавицы. Напрасно рыбак защищал свою добычу; море кишело прожорливыми акулами. Сколько их бился с ними он, знавший все приемы рыбака, зубастые хищницы уходили с громадными кусками драгоценного мяса. С ними уходили надежды и последние силы изнемогшего рыбака.

Старик был в море три дня. Когда он достиг берега, то от его трофея, весом в полторы тысячи фунтов, осталась лишь голова и скелет небывалой длины. Причалил он ночью; огни были потушены; в деревне все спали; никто не встретил его. Некому было помочь старику. Он сам свернул парус, вынул мачту и, подняв ее на плечо, стал подниматься на берег, неся ее, как крест.

«Тогда он понял всю глубину своей усталости. Остановился на минуту, оглянулся назад и увидел в отраженном уличном свете громадный хвост рыбы, возвышающийся высоко над кормой ялика. Увидел белую обнаженную линию позвоночника и темную громаду головы, с выступающим носом... Потянулся дальше, но на верхушке склона упал и остался лежать, с мачтой поперек плеч. Попробовал встать, но было слишком трудно, и он сел, с мачтой на плече, и смотрел на дорогу...»

Старик садился пять раз, прежде чем достиг землянки.

«В землянке облокотил мачту о стену. В темноте нашел бутылку с водой, отпил. Потом лег на постель. Натянул одеяло на плечи, на спину и на ноги и заснул вичком на газетах, выткнув руки ладонями вверх»... после всех мук.

Он спал, когда ранним утром паренек сткрыл дверь... Тот увидел, что старик дышит, посмотрел на его ладони и заплакал. Это были не слезы слабости, а слезы большой любви. Он тихо вышел и, бредя за кофе для спящего, плакал всю дорогу.

Рыбаки стояли вокруг ялика, рассматривая то, что было привязано к борту. Один, засучив штаны, измерял скелет длинной палкой.

«— Как он?» — крикнул другой, увидя Маноллина.

«— Спит. Пусть никто не беспокоит его», — ответил юноша. Ему было безразлично, что рыбаки видят его слезы... Он принес горячий кофе в землянку и уселся возле старика, ожидая, когда тот проснется. Но старик не проснулся. Раз пошевелился, но снова заснул тяжелым сном. Тогда юноша пошел через дорогу занять дров, чтобы разогреть остывший кофе. Когда же, наконец, старик проснулся, паренек сказал: — «Не поднимайся. Выпей». Он налил кофе в стакан. Старик взял его и выпил.

«— Они победили меня, Маноллин» — сказал он, — «действительно победили»...

«— Теперь мы будем рыбачить вместе», — твердо сказал друг.

«— Нет. Я — несчастливый. Счастье больше не со мной».

«— К чорту счастье!» — сказал юноша. — «Я принесу счастье с собой».

«— Что скажешь твою?»

«— Мне всё равно... Мы будем рыбачить вместе, мне еще многому надо научиться, и только ты можешь научить меня всему. Много ты страдал?»

«— Много», — ответил старик.

✱

В этом отрывке — не слова на бумаге говорят. Переживания автора непосредственно входят в душу читателя. Говорит сама землянка, спящий старик, его растерзанные ладони, тишина, молчание юного Маноллина, его решение не покидать старика. Говорит и остывший кофе, и прислоненная к стене мачта, донесен-

ная стариком до конца пути. В повседневных подробностях убогой жизни открывается величие и богатство человека, не прячущегося от своей трагической судьбы, а принимающего всё, что с ней приходит, мужественно отвечающего за самого себя.

В покорности Сантьяго — не упадок духа, а лишь признание законов природы, которым он подвержен, как частица ее. Вернувшись ни с чем, потеряв то, что мог бы продать на рынке и на что существовать, физически сломленный, он остается героем, с непреклонной волей и неутраченным мужеством.

Знаменательна заключительная страница — сценка с туристами на пристани в то самое утро, когда изнуренный рыбак стал мертвым сном в землянке, после своей Голгофы, а у его ног сидел в слезах верный друг, как Магдалина у креста, с остывшим кофе, вместо елса.

Туристка, увидев длинный белый позвоночник и громадный хвост гигантской рыбы, качающейся на волнах прилива, любознательно спрашивает: «Что это?» — Один из рыбаков, пытаясь поведать ей рыбачью драму о хищных акулах, сожравших добычу Сантьяго, указывает

на останки гигантской рыбы и, запинаясь, начинает:

«— Э-э тибурон...» (по-испански — акула), но дама не дает продолжить.

«— Я не знала, что у акул бывают такие красивые, прекрасно вырезанные хвосты».

«— И я не знал», — вторит ее спутник.

Здесь мощный талант Хэмингуэя бросает вызов расслабленному и растерянному цивилизованному человеку, порвавшего коренную связь с природой, но еще не нашедшему в своем новом познании стержня, пронизывающего глубину жизни. На подобии любознательных туристов, современные люди, ухватив часто первое слово, не разобрав и не дослушав сути, минуют трагедию человека, забывая, что по библейскому преданию именно во имя нее человек отказался от Рая.

В последних строках автор еще раз возвращается к герою:

«В землянке старик опять спал. Спал ничком, и юноша сидел около, сторожа его. Старику снились львы».

Верующий в Человека читатель вместе с юношей ждет, что «спящий» проснется.

А. Мазурова

«Бунт» драматурга

Незадолго до начала осеннего сезона в прошлом году способный драматург А. Арбузов, автор ряда пьес, поставленных в Москве и на периферии (из них «Таня» прошла более тысячи раз), принес в журнал «Новый мир» статью, которая, по-видимому, озадачила редакцию. Подумав, редакция журнала, может быть, из осторожности, которая, как известно, носит название «перестраховки», решила устроить расширенное (но не публичное!) совещание. Были приглашены другие драматурги и режиссеры, по косточкам разобравшие статью Арбузова, и вся эта дискуссия, как и сама обсуждавшаяся статья, мелким шрифтом была напечатана в августовской, 8-ой книге, «Нового мира».

«Новый мир» № 8, 1956 г. «Драматург и театр».

На первый взгляд ничего «крамольного» в арбузовской статье не усмотришь. Суть ее заключается в том, что, во-первых, она недвусмысленно констатирует застой (если не упадок) театрального искусства в СССР. Попадает даже МХАТ^у, как бы застывшему в своей академической величественности. Во-вторых, Арбузов, бегло и суммарно проследив историю русского театра за полувековье, приходит к выводу, что царство диктатора-режиссера в театре, начавшееся в России со времен знаменитого новатора Ленского (московский Малый театр) и в Художественном театре Станиславского и Немировича-Данченко на рубеже XIX—XX веков, после недолгого эффектного расцвета привело театр в заколдованный круг зрелищного изобретательства, к эквилибристике постановщиков и за-

крыло собою самое важное в театре — фигуру драматурга, который доведен за последние десятилетия до положения стороннего субъекта «на плюшевом диванчике у дверей в кабинет завлита». Драматург же в театре — это первичный создатель идей и образов. Без драматурга — театр только игровая пустышка, скзерсисы хитроумных режиссеров, для которых главное — поразить сногшибательной мизансценой, призвав на помощь художника и изощренную технику-механику.

Арбузов не без зависти вспоминает о тех временах (увы, далеких!), когда Мольер, Гёте и наш А. Н. Островский были и авторами и постановщиками. Коротко говоря, по его мысли, необходимо восстановить в правах авторов пьес, сделать лучших драматургов режиссерами и даже директорами театров (теперешние директора-администраторы зачастую ничего не смыслят в театре); наиболее «ударным» является призыв Арбузова: драматурги должны свести большие идеи облекать в канонические формы драматургии, формы, выработанные в минувшие времена в мировой и русской классической литературе; мысли современных советских драматургов (например, Погодина, частично, прежде Вишневского) в неряшливой торопливой справе, без знания законов сцены, нередко теряют свою яркость и убедительность. В заключение Арбузов горюет, что в настоящее время почти нет новых театральных студий, где с молодой горячностью и свежестью смелые экспериментаторы-режиссеры-актеры двигали бы искусство вперед; новое нужно, потому что старые театральные организации, как и люди, стареют и умирают.

Все эти соображения и предложения подверглись обстрелу со стороны оппонентов, которые, впрочем, ничуть не оспаривали основного тезиса Арбузова: театр действительно в застое. Кое-кто (А. Штейн, В. Розов, Ю. Чепурин, А. Анастасьев) соглашаются, что роль драматурга стала весьма неуважительной и второстепенной. Но, вместе с тем, оспаривается призыв к «канонам драматургии» по тем соображениям, что, мол, советское социалистическое (!) искусство создает и создало уже свои новые формы; поэтому старые «каноны» могут

войти лишь как полезная частица какого-то нового сплава, и нечего идеализировать старое в целом.

Представители режиссуры почувствовали себя уязвленными, взяли под защиту искусство режиссера, упрекали Арбузова в односторонности, бросали камешки в огород драматургов, которые, мол, сами виноваты в том, что создают неполноценные со сценической стороны пьесы.

Наиболее резко выступил против Арбузова его сотоварищ по недавней совместной работе — режиссер В. Плучек: он возмущен лозунгом «назад, к дорежиссерскому театру», считая его реакционным, он протестует против персоны драматурга, который ушел бы с головой во внутритеатральные дела, он напоминает о том, «что все талантливые драматурги мира были злостными нарушителями правил», а потому призыв к канонам — это призыв к штампам и эпигонству.

Возражения оппонентов грешат пристрастием, искажениями мыслей Арбузова и в некоторых пассажах кажутся опять-таки «перестраховкой» — стремлением декларировать свою «стоцентную» позицию на базе соцреализма и т. д. Вместе с тем, и у оппонентов прорываются признания о том, что только теперь (т. е. надо понимать — после смерти Сталина) открывается возможность спорить, смотреть если не на всё, то на ряд явлений искусства — по-разному. Режиссер В. Плучек так и говорит: «Но ведь ещё совсем недавно «инакомыслящих» в искусстве били и весьма крепко: еще недавно всякие искания объявлялись крамолью, грозили ищущему «проработкой», отлучением от сонма «правовверных» реалистов».

Однако не следует впадать в оптимистическую иллюзию; за этими строчками непосредственно следует и такая: «Рецидивы подобных взглядов нередки и теперь», т. е. нетрудно понять, что так называемая «оттепель» и свежий весенний ветерок с нею — не столько чувствуются, сколько предчувствуются, свободная мысль трепетно ищет выхода, но... нет полной уверенности, что такая пора наступает, — все эти тенденции еще хрупки, ненадежны и сомнительны.

В спорах о том, как надо оживить

советскую театральную жизнь (а за этим частным вопросом брезжит более широкая мысль о всём советском бытии), в спорах об «умирающих» театрах, на смену которым должны придти новые (без академического ореола), молодые, жизнеспособные, рождающиеся, как студии, по свободной инициативе, — в спорах, наконец, о роли советских драматургов, которые в органическом содружестве с театрами создавали бы интересные, идейно значительные и технически грамотные пьесы, — во всех этих спорах было обойдено (сознательно или подсознательно) самое главное: вопрос о тематике пьес. Конечно, в общих чертах упоминалось о том, что нужны (!) темы значительные, которые вели бы зрителя «вперед»: к «упрочению социалистического общества» и т. д. Но никто на собеседовании не посмел сказать, что драматургии и театры в целях истинной художественности прежде всего должны быть раскрепощены от узко-пропагандных задач, что зрители хотят пьес о свободных людях, об их горестях и радостях, пьес без партийных программ, хотят спектаклей, в которых вольная са-

тира смело высмеяла бы диктаторов всяческих калибров, или же спектаклей, где выжившие жертвы репрессий и друзья этих жертв увидели бы правду своих страданий и виновников этих мук...

Однако надежды на такие пьесы и спектакли и в условиях пресловутой «оттепели» пока почти равны нулю. Об этом свидетельствует редакционное послесловие к опубликованной в «Новом мире» дискуссии. Там «черным по белому» назидательно указано: «Либеральное понятие «терпимости» в борьбе идей всегда было глубоко чуждо советским художникам. Идеи, враждебные делу коммунизма, и призывы, идущие во вред сознательному труду народа, всегда получали в нашем искусстве и будут получать самый решительный отпор»...

Знакомые слова. Неужели в таких условиях возможна настоящая «оттепель»? Никакие «лекарства» (постановления, дискуссии, превращение авторов в директоров театра и т. п.) не помогут театру жить. Есть только одно лекарство: театр должен перестать быть коммунистическим.

Петр Ершов

Ермилов и Достоевский

В своей книге Ермилов задается целью показать раздвоенность и противоречивость творчества Достоевского. Он говорит, что «Достоевский выразил своим творчеством безмерность страданий униженного и оскорбленного человечества в эксплуататорском обществе и безмерную боль за эти страдания. И, вместе с тем, он яростно сражался против каких бы то ни было поисков реальных путей борьбы за освобождение человечества от унижения и оскорбления» (стр. 5). Поэтому «герой Достоевского знает только две возможности: быть человеком, **которому всё позволено**, или быть человеком, **с которым всё позволено**» (стр. 77).

Ермилов одобряет и считает вполне

В. Ермилов. **Ф. М. Достоевский.** Государственное издательство Художественной литературы. Москва 1956.

художественными только те произведения Достоевского, в которых есть «социальная тема», именно изображение бесчеловечности капиталистического общества; таковы «Ведные люди», «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание». Творчество Достоевского, по его мнению, «было порождено переходной кризисной эпохой распада феодально-крепостнических отношений в России и замены их новыми, капиталистическими отношениями» (стр. 6). Признавая некоторые стороны полезности капитализма в сравнении с феодальным крепостничеством, Ермилов в то же время наполняет книгу нападениями на буржуазное общество и говорит, что яркое изображение недостатков его можно найти у Достоевского. «Закон буржуазного общества: либо ты рабсвладелец, либо раб; либо ты давишь других, либо они давят

тебя» (стр. 7); везде господствует «самовластие начальствующих», «разгул хищничества, цинизм откровенно волчьих законов жизни» (стр. 6); «лакейство — порождение и отражение барства», то положение, при котором «человеку некуда пойти» (стр. 14), нищета, ведущая к проституции.

Единственным выходом из такого положения служила, по мнению Ермилова, революция, осуществляющая социализм, но Достоевский осуждал этот путь. В его романе «Бесы» нет умиженных и оскорбленных, есть только общество и противостоящие ему революционеры, изображенные тенденциозно, а потому нехудожественно, как аморальные нигилисты. В этом романе, говорит Ермилов, Достоевский выступает как реакционер. Отрицательное отношение Достоевского к капиталистическому обществу и в то же время борьба его против революционного движения представляет собою, согласно Ермилову, раздвоенность его (стр. 21), и он старается показать, что она нередко ведет к тенденциозности и нехудожественности в его произведениях.

Надо заметить, что, говоря о русском революционном движении, Тургенев склонен был изображать идеалистическую сторону его, а Достоевский видел сатанинскую струю в нем и оказался пророком. В самом деле, большевистская революция создала рабовладельческий государственный капитализм, в котором эксплуатация рабочих и крестьян, унижения и оскорбления человека превосходят все недостатки частновладельческого капитализма. В СССР в руках правительства сосредоточена не только военная и полицейская, но также и вся экономическая сила. Следовательно, правительство СССР обладает абсолютной властью в гораздо большей мере, чем любой самодержавный монарх старого времени. Английский историк лорд Актер сказал: «власть развращает; абсолютная власть абсолютно развращает». И действительно, в СССР произошло абсолютное развращение власти.

«Человеку некуда пойти» в тоталитарном государстве. Достоевский пророчески предвидел возможность такого социализма и называл его муравейником. Его роман «Бесы» есть не реакционное произведение, а художественное изображение

зла, надвигающегося на Россию. До конца своей жизни Достоевский был сторонником нравственно обоснованного социализма, в котором сохранена свобода мысли и другие виды гражданской свободы, уничтоженные в СССР.*)

Следуя марксизму, с его упрощенным миропониманием, Ермилов истолковывает творчество Достоевского, как обусловленное социальными отношениями, и оценивает его только с точки зрения полезности его для борьбы с капитализмом и для перехода к коммунизму. Такой социологизм в литературоведении крайне поверхностен: он ведет к тому, что исследователь или ошибочно понимает художественное произведение или подмечает в нем только его второстепенные особенности, например, выражение дворянских интересов, мелкобуржуазную идеологию и т. п. В действительности Достоевский, как и все великие художники, имеет в виду всечеловеческие страсти и интересы, существующие на земле всегда, при всех условиях. Гордость, властолюбие, честолюбие, тщеславие, обидчивое самолюбие, сластолюбие, ревность, ведущие к драматическим столкновениям и способные довести до преступления, будут существовать при всяком общественном строе, — точно так же и бескорыстная любовь к Богу и людям, любовь к абсолютным ценностям, к истине, красоте, святости, жертвенность, смирение, любовь к семье, к родине, к Церкви, жизнь, посвященная творчеству абсолютных ценностей. Борьба добра со злом в сердце человека совершалась и будет совершаться во всяком общественном строе, изменяясь в сравнительно второстепенных своих чертах и оставаясь тою же по существу. Положение женщины, например, во многих отношениях весьма различно в зависимости от того, состоит ли она рабыней, или крепостною, или работницею на капиталистической фабрике или служащей при коммунистическом строе. Но сластолюбивый рабовладелец, помещик, фабрикант, коммунистический вельможа одинаково могут надругаться над девушкой вроде Настасьи Филипповны и на-

*) См. об этом в моей книге «Достоевский и его христианское миропонимание», стр. 114—127.

нести тяжкие раны ее гордости и самолюбия. И разница, например, в выходе такой Настасьи Филипповны против Евгения Павловича сведется лишь к тому, что в капиталистическом строе она крикнула о «векселях», а в коммунистическом — крикнула бы о каких-нибудь «неправильных исчислениях себестоимости производства в Центробуме», управляемом Евгением Павловичем. Из этого однако вовсе не вытекает, будто не следует бороться за социальную справедливость и не следует устранять те специальные виды зла, которые коренятся в данном общественном строе. Нужно только помнить, что идеал абсолютного добра в земных условиях не достижим, и новые формы общественной жизни, которые удастся выработать будущим поколениям, внесут лишь частичные улучшения некоторых сторон существования, но, может быть, вместе с тем породят какие-нибудь новые проявления зла. Попытки большевиков осуществить коммунизм в Советском Союзе и создание ими общественного строя, в котором явились новые виды крайней эксплуатации рабочего и земледельца, крайнего подавления духовной жизни, крайнего подчинения гражданина государству и крайней зависимости женщины от ее положения, служат ярким подтверждением этой мысли.

Не зная глубинных всечеловеческих интересов Достоевского, Ермилов многого не понимает в его творчестве, например, критикуя «Записки из подполья», он не заметил, что в этом произведении Достоевский казнил самого себя, открыв в своей душе подполье и найдя средство бороться с ним раньше, чем это сделал Фрейд. Особенно ненавистно Ермилову величайшее из произведений Достоевского «Братья Карамазовы», потому что этот роман может даже и неверующих привлечь к религии. Ссылаясь на исследование Гроссмана, он утверждает, что это произведение написано «в большой степени по прямому заказу правительственных кругов» (стр. 238) и старается доказать, что оно нехудожественно. Например, Ермилов много говорит о том, что удар пестиком, нанесенный Дмитрием по голове Григория, психологически не обоснован.

О христианстве Ермилов имеет совер-

шенно искаженное представление. Он говорит: «религия утверждает, что виновных в страданиях человечества нет, что всё совершается по благодати Божией» (стр. 259). В действительности христианин думает, что Бог сотворил человека, наделив его свободой воли, без которой невозможна подлинная любовь к абсолютному добру и осуществление его. Но личность, свободная даже и от Бога, может злоупотребить своею свободой, вступить на путь эгоизма и строить наше царство бытия, полное недостатков и страданий, возникающих, как имманентное наказание за нашу порочность, и вместе с тем содействующих исцелению от эгоизма. Итак, Бог не причастен злу; Он только «попускает» зло, не насилуя ничьей свободы.

Страстно любя детей, Достоевский считал их вполне невинными и потому вместе с Иваном Карамазовым не мог понять, как возможно такое строение мира, в котором присходят возмутительные истязания беззащитных детей взрослыми. В этом отношении он до конца своей жизни не мог выработать теодиици. Считая детей вполне невинными, он ошибался: душа даже и новорожденного ребенка не свободна от эгоизма. Св. Августин говорит: «Видел я однажды сам младенца, который, глядя на своего молочного брата, сосавшего грудь той же кормилицы, бледнел от зависти и ревности». Выход из затруднений в своем религиозном миропонимании Достоевский находит, по мнению Ермилова, в «непознаваемости вещей в себе на земле» (стр. 268). Употребляя термин Канта «вещь в себе», Ермилов приписывает Достоевскому скептическую теорию знания, которой у Достоевского не было и следа. Правда, как всякий христианин, он признавал, что «неисповедимы пути Господни», но это утверждение относится не к мыслям христианина об основах строения мира и отношения Бога к миру, а только к некоторым отдельным случаям и вопросам, например, в наше время, когда мы недоумеваем, почему Господь так долго «попускает» зло безбожного и бесчеловечного советского режима.

Христианская религия проповедует идеал абсолютного добра, осуществимый в полной мере только в Царстве Божиим, где личность, вполне преодолевшая эго-

изм, обладает не материальным, а преображенным телом и потому может посвятить свою жизнь только творению и усвоению абсолютных ценностей истины, нравственного добра, красоты. Современная физика доказала, что материя есть не вечная субстанция, а лишь процесс во времени, иногда возникающий, как одно из проявлений энергии. Таким образом она дала научные основания для учения о возможности преображенного тела.

В земной жизни абсолютное добро неосуществимо, однако Церковь помогает верующему христианину бороться со своим эгоизмом и, таким образом, улучшать жизнь. В наше время Церковь начала заботиться не только об усовершенствовании индивидуальных отношений между людьми, но и проповедует реализацию принципов христианства в государственной и общественной жизни. У нас, русских, о таком социальном христианстве красноречиво говорил Вл. Соловьев, а вслед за ним Бердяев и С. Н. Булгаков. Но в СССР Церковь не имеет права выступать с проповедью социаль-

ного христианства: ей позволено только заботиться о спасении индивидуальной души (об этом сказано в брошюре, осуждающей экуменическое движение).

Ермилов много говорит о раздвоенности Достоевского, ссылаясь на то, что он обличал недостатки капитализма, но в то же время боролся против революционного движения. Раздвоенность Достоевский находил сам в себе, но вовсе не в том, о чем говорит Ермилов. Сущность ее он видел в силе духа, нравственно обязанного при решении всякой проблемы пройти через период критики, но в самой силе своей черпающего уверенность в том, что добро есть и что положительное решение проблемы существует. Советская молодежь, обладающая силой духа и чуткою совестью, проходит теперь именно через такой период критики и, всё более понимая бесчеловечность режима, созданного большевистской революцией, ищет вместе со всем страдающим народом способов освобождения от диктатуры коммунистического правительства.

Проф. Н. Лосский

О Набокове

Владимир Набоков и... короткие рассказы! Трудно не призадуматься. Набоков, для которого сюжет всегда сбоку, а главное прорисовывает насквозь, как справится он с коротким рассказом, в котором до сегодняшнего дня, с лёгкой руки Чехова, сюжет всегда был основой.

Набоков и тут остался себе верен. Внешняя постройка, открытые леса, по лесам бегают рабочие, рабочие колотят дом — всё видно, всё на глазах. Сменяются действующие лица — сначала это герой, потом герой переходит в автора, дальше опять раздвигание. И такими вот наплывами — маска, лицо, маска, лицо — течет повествование.

О предках Набоков знать не хочет. В книге о Гоголе на английском языке он издается над критиками, норовящими его к кому-нибудь пристегнуть. И в ка-

В. Набоков. Весна в Фиальте и другие рассказы. Из-во им. Чехова. Нью-Йорк, 1956 г.

кой-то мере он, конечно, прав. Сказать, что данный автор находится под влиянием того-то — Гоголя, Чехова или Тургенева — значит, собственно, ничего не сказать. С другой стороны, человек из ничего не возникает. Тем паче писатель. Есть предки и у Набокова. Но они, пожалуй, в большей мере из иностранной литературы, чем из русской.

Из русских — Гоголь, может быть, Салтыков-Щедрин и ещё, может быть, всё-таки Ремизов.

Но это вопрос второстепенный. Основной вопрос в том, что Набоков как будто создаёт совершенно новый стиль короткого рассказа, где рассказ отступает на задний план, а на переднем — картина, настроение, смена сцен. Дождь, солнце, луна — всё это аляповато намалевано, и аляповатость это сознательная. Но на фоне ненастоящего неба, в ненастоящем мире, ненастоящие люди по-настоящему страдают. Не в этом ли ответ на всё-та-

ки человеческий талант Набокова? Несмотря на все технические завитушки, на часто излишние нагромождения слов, писатель всё-таки берёт за сердце и заставляет чувствовать.

Сам Набоков над этим верно только посмеется. И посмеется потому, что и он, как другие, не знает, в чём секрет его творческого пути, не знает, ни что должен он сказать, ни даже как именно удастся ему сказать это.

Рассказать в короткой рецензии о технических приемах, о творческой лаборатории и о путях такого сложного писателя нет никакой возможности. Скажем одно: люди приблизительно везде одинаковы, и страдают они одинаково от того же. Все страдают от пошлости, все, как могут, с ней борются. А, в общем, не столько борются, сколько от неё гибнут.

Наиболее характерен рассказ «Истребление тиранов». Тиран пошел — Сталин ли это или Гитлер или ещё кто, гадать смысла нет. Он отвратителен в своем тиранстве, но это только потому, что он и в своей человечности отвратителен. С тираном ведётся борьба. Скромный учи-

тель рисования в провинциальной гимназии, когда-то встречавшийся с тираном лично, когда-то в те времена, когда тиран ещё только метил в диктаторы, вступает в поединок с тёмной слепой пошлой силой.

Что может он сделать? Ну, хотя бы мечтать. Мечтать о том, как поднимет револьвер, как пальнет... и как этого никогда не будет.

А выход есть. Убить себя. Тиран во мне, — меня не будет, не будет и тирана.

Не в этом ли и общий ответ Набокова на жизнь? Убить себя, не будет жизни, не будет мира, не будет пошлости. Всё это, вся вселенная, в которой отражаешься ты сам. Значит убить себя?

В каждой книге, в каждом рассказе писателя лунной тенью отражается его собственное «Приглашение на казнь». Но вот беда: на казнь он приглашает, но на казнь он приглашает уже неживых людей и пытается убивать мёртвых. Он, как кто-то отозвался однажды о Кафке, выкалывает глаза своим героям, чтобы доказать, что они слепы.

А. Кашии

«Правда о Столыпине»

Так называется недавно вышедшая в свет книга проф. А. В. Зеньковского*). Волнующая книга. И более того: обогащающая наше знание о величайшем русском государственном деятеле начала XX века ценнейшими, неизвестными до сих пор данными. А главное, весь духовный облик П. А. Столыпина — мужественный, спокойный и вместе с тем страстный в своей любви к России и в своем порыве служения ей, порыве, охватившем всю его жизнь, рассудительный, практически-трезвый, чувствующий всё огромное значение всех практических сторон жизни, и вместе с тем пророчески прозорливый, героически самоотверженный и бескорыстно благородный: образ практического, трезвого, волевого го-

сударственного деятеля огромного формата и вместе с тем бесстрашного рыцаря, охваченного идеей спасения Родины, служения Родине и служения Правде — вот этот образ, многогранный и привлекательный с исключительной по своей мощи и исторической значительности и, повторяю, по своей силе духовной и силе нравственной, встает перед нами во весь рост из книги проф. А. В. Зеньковского. Особенно же, повторяю, ценно, что ряд новых, необычайно значительных, я бы сказал, потрясающих в своей значительности и неожиданности данных, раскрывается нам из этой книги — я говорю о гигантском столыпинском проекте преобразования России, который был составлен им за несколько месяцев до своей трагической смерти, весной 1911 года, и который он осенью 1911 года собирался доложить государю. В основу этого проекта реформ было положено усиление

*) Нью-Йорк, 1956 г., склад издания у автора: Prof. A. Zenkovsky, 91-93 Fort Washington Avenue, Apt. 53, New York 32, N. Y.

роли земского самоуправления в жизни страны, смелая инициатива в раскрытии и использовании огромных природных богатств России и поднятие благосостояния широких масс народа. Намечалась в связи с этим новая финансовая политика: переоценка недвижимой собственности в соответствии с ее настоящей ценностью и доходностью, введение прогрессивного налога при освобождении от налогов беднейших слоев населения, и использование государственных доходов, которые Столыпин надеялся благодаря этим мероприятиям поднять с 3 миллиардов золотых рублей до 10 миллиардов, на творческое строительство по поднятию богатства страны и мирного материального и культурного процветания ее населения. Особенно стремился Столыпин на всем протяжении своей конструктивной государственной деятельности, а также и в этом своем плане преобразовании русской народной жизни, к пробуждению творческой самодетельности самых широких кругов населения. В этом он видел залог предотвращения всякой опасности революционных взрывов и преодоления всех соблазнов озлобленно-классового марксистского мирозерцания. В свободном плодотворном труде, в свободном мирном обогащении плодами трудов своих он видел стержень процветания и мирного развития страны и народа. Как мелкий собственник, живущий в довольстве и уюте, ни крестьянин, ни рабочий не будет уже благоприятной почвой для разрушительной для государства и душу народную убивающей революционной пропаганды вражды и ненависти. Но эти условия мирной творческой работы, обеспечивающей благосостояние всех, и беднейших также классов населения, должны быть созданы. В этот обширный план реорганизации различных сторон государственной жизни России, кроме указанных уже финансовой реформы и расширения прав земского самоуправления, входили еще следующие меры: создание ряда новых министерств (в связи с важностью для народной жизни задач, разработке которых эти министерства должны были посвятить себя): министерство труда, местных самоуправлений, социального обеспечения, министерство

по обследованию и использованию богатств недр России, министерство здравоохранения, вероисповеданий, национальностей; далее, поднятие народного образования (увеличение в течение ближайших 20—25 лет числа средних учебных заведений до 5000, высших учебных заведений до 1000—1500; закон об обязательности низшего образования и о расширении сети начальных народных училищ был уже проведен Столыпиным в 1908 году), меры к поднятию уровня духовенства и улучшению его материального быта, мероприятия по охране труда рабочих и по обязательному социальному обеспечению. Одновременно и деятельность правительства должна была быть упорядочена через внесение большего единства в организацию совета министров: министры должны были назначаться верховной властью в связи с рекомендациями премьера. Все эти интересные проекты по реорганизации государственной жизни, которые должны были быть представлены в подробной докладной записке Государю осенью 1911 года, сохранены в книге проф. А. В. Зеньковского, который был сотрудником Столыпина в его планах по усовершенствованию и расширению работы земских учреждений. Подробные и интересные данные об этой работе автора и о горячем, глубоко положительном отношении Столыпина к вопросу земского самоуправления мы имеем в главе «Столыпин и земство», которую собственно нужно было бы поместить в начале книги, так как она объясняет многое из ее содержания (именно, как автор познакомился с этим планом Столыпина).

Верой в русского человека, в его работоспособность, в его нравственные и духовные силы, если только поставить его в благоприятные условия для свободного духовного развития его личности и деятельности, дышит вся деятельность П. А. Столыпина, его стремление создать крепкого и сильного мужика-хуторянина, его стремление всемерно содействовать развитию здоровых творческих сил русского народа, всемерно пробуждать их к жизни. Своим геройским обликом и этой верой в целебную силу свободного творческого труда, всем примером самоотверженного подвига, Столыпин оставил

глубокий след в жизни и памяти русского народа. На его пример будут смотреть те, кто после падения большевиков будут создавать свободную Россию. Огромная заслуга книги проф. Зеньковского в том, что он так живо заставляет нас пе-

режить и почувствовать величие этого исторически близкого нам образа: подлинного патриота, подлинного Рыцаря Духа.

Николай Арсеньев

Два капитальных труда

Капитан Лиддель-Харт считается крупнейшим теоретиком стратегии в данное время. Одновременно с этим в кругах НАТО он считается одним из лучших знатоков советских вооруженных сил. Поэтому труды Лиддель-Харта «Стратегия» и «Красная Армия» являются ценным вкладом в военную литературу последних лет. Эти труды интересны не только для военных: будучи написаны в доступной форме, они могут и должны стать настольными книгами каждого современного политического деятеля.

«Стратегия» содержит четыре основных раздела: стратегия в период с V века до Р. X. и до конца XIX века, стратегия в Первую великую войну, стратегия во Вторую великую войну и, наконец, общие теоретические заключения.

Лиддель-Харт начинает свой разбор теории стратегии (как и почти все другие авторы), с Клаузевица. Огромная заслуга последнего была в том, что он первый в мире осветил значение психологического фактора во время войны. Его предшественники интересовались лишь «геометрической» стороной дела. Однако Клаузевиц выдвинул один принцип, который оказался порочным и, может быть, явился причиной гибели лишнего миллионов людей. Причем, этот принцип считался незыблемым до Второй мировой войны и проповедывался даже таким блестящим полководцем, как маршал Фохс. Этот принцип гласит, что для выигрыша большой войны требуется разгром главных сил противника, т. е. большая война не может быть выиграна малой кровью. Однако опыт Второй мировой войны показал, что это не так. Имен-

но большая война может быть выиграна не только малой кровью, но даже еще до того, как был дан первый выстрел. Все последующие выстрелы уже никакого принципиального значения не имеют. Автор приводит ряд примеров. Так, занятие Судетских областей и потом всей Чехословакии — это грандиозная победа. Между тем, она была достигнута без единого выстрела. Со старым военным мышлением это было бы немислимо, например, фельдмаршал Шлиффен разрешил бы чехословацкую проблему путем целой системы кровопролитных операций, а методы Гитлера ему были бы непонятны.

Другой пример — победа над Францией в 1940 году. Основа всей операции заключалась в том, что масса германских танков прорвалась у Седана и быстро направилась к морю. Этим самым от Франции отрезались главные силы союзников, которые в начале германского наступления двинулись в Бельгию, считая, что там ожидается главный удар. Таким образом, еще до того, как началась главная битва, союзные армии были в клещах и шансов на победу уже не имели. Более того, им не могла помочь никакая всинская доблесть, ибо армия, почти отрезанная от баз, обречена на гибель, даже если ее дух и не будет сломлен.

Еще пример — действия фельдмаршала Роммеля в Северной Африке. Роммель выиграл целый ряд битв почти без применения техники и без потерь. Путем искусственных маневров он ставил противника в такие ситуации, когда тот считал свое положение безнадежным и отказывался от боя. Спрашивается, почему Гитлер, так блестяще владевший этим оружием, не сумел его применить в Рос-

Капитан Лиддель-Харт «Стратегия» и «Красная Армия».

сии? Дело в том, что в тот момент он очевидно потерял связь с реальностью, которая у него была так блестяща до войны и в первые годы войны. Помимо невероятных политических ошибок, германское командование потеряло способность создавать такие стратегические ситуации, которые еще до начала боя решали бы его. Вместо этого Гитлер стал применять принцип «ни шагу назад», который в корне противоречит здравому стратегическому смыслу. Цель стратегии — не удержание какого-то клочка земли в данный момент, а создание положений на поле боя, которые неизбежно ведут к разгрому противника. В результате оказалось, что германская армия стала почти неподвижной, в то время как советское командование стало применять маневр, и не без успеха.

Далее, Лиддель-Харт разбирает основные понятия стратегии. Так, следует различать стратегию и высшую стратегию. Стратегия (или стратегия в узком смысле слова) занимается ведением военных операций на данном театре или на нескольких театрах. Тактика занимается вопросом ведения боя на данном отрезке фронта. В это же время высшая стратегия занимается проблемой войны в целом, т. е. не только ведением боевых операций, но и всей совокупностью военных, психологических, технических, экономических и других факторов. Тактика и стратегия — дело преимущественно военных, в то время как высшая стратегия является областью компетенции политиков, с целым штабом специалистов.

Очень важно, чтобы оба вида стратегии понимали друг друга и были в известном равновесии. Так, высшая стратегия не должна ставить стратегии невыполнимых задач, в то же время стратегия, при разработке конкретных операций, всегда должна учитывать, на какую поддержку со стороны высшей стратегии она может рассчитывать.

Далее, автор дает разбор основных принципов тактики, стратегии и высшей стратегии. За неимением места мы не можем дать даже краткого резюме мыслей автора по этим вопросам.

*

«Красная Армия» является всеобъемлющим трудом, дающим действительно полное представление об истории и современном состоянии советской армии. Подробно разобраны все основные этапы истории советских вооруженных сил, начиная с 1917 и кончая 1956 годом. Большое внимание уделено Второй мировой войне, роли партии и ее возглавлению. Историческая часть составляет первый раздел книги. Второй раздел полностью посвящен современному состоянию вооруженных сил. Подробно разобрана проблематика всех отдельных родов войск: пехоты, артиллерии, танковых войск, авиации и т. д. Далее, дана обстоятельная картина политического аппарата армии, разведки и контрразведки, организации верховного командования. Большое внимание уделено психологии советского солдата и основным проблемам воспитания войск.

Первая глава второго раздела книги дает обобщающий обзор современного состояния армии. Остановимся на некоторых пунктах этого разбора. Вспервых, отмечаются крупные улучшения после войны. Недостаток техники и моторизации военного времени как будто полностью ликвидирован. Техника находится на достаточной высоте и продумана до конца. Были сделаны большие усилия по улучшению качества офицерского корпуса; в то время как в военные годы в строю было много плохо подготовленных офицеров, в настоящее время офицерской карьере предшествует солидная систематическая подготовка.

Но, при всей подготовке офицерского корпуса, имеется один недостаток, который в советских условиях не может быть изжит: недостаток инициативы младшего и среднего офицерства. Недостаток инициативы является никак не результатом прирожденных качеств русского человека, а советской системы. Коммунистическая партия строится на беспрекословном подчинении младших старшим. Широкая инициатива признается только за небольшим кругом руководителей партии. Это свойство «советской природы» отражается и в армии. Хотя в настоящее время много говорится и даже делается по части развития

личной инициативы отдельного командира, на практике советская власть никогда не сможет пойти на широкое развитие этой инициативы. Власть имущие прекрасно понимают, что при широко распространенных враждебных настроениях, в том числе и в армии, опасно приучать людей решать по их собственному разумению.

Этот недостаток инициативы всегда будет отражаться на маневренности советской армии, несмотря на хорошую материальную часть и умение советских воевод обращаться с нею. Зато следует считать, что советская армия может быть на высоте в упорной обороне, в условиях позиционной войны.

Недостаток же инициативы особенно опасен в эпоху атомной войны. Атомная война требует от современных войск особенно большого расщепления, связь может легко быть порвана, и личная инициатива младших офицеров значит больше, чем когда-либо раньше. Советское командование знает это, но спясть-таки по политическим причинам оно не может приучить своих подчиненных к слишком большой инициативе.

Советская армия — как и старая русская — особенно оказывается на высоте в смысле маскировки. Это — прирожденное качество русского человека, который по своей натуре является непревзойденным импровизатором. Также очень высоки боевые качества русского человека — его смелость и выносливость. К этому следует добавить очень строгую дисциплину и максимальную загрузку времени солдата, которые вводятся по чисто политическим причинам: власть имущие боятся людей, которые имеют много времени на размышления и не испытывают страха перед начальством.

Интересна также глава о психологии русского человека. При этом отмечается, что практический интерес имеет лишь психология русских и украинцев, поскольку эти ветви россиян являются ведущими и образуют лицо страны и армии.

Психология русского человека образовалась под влиянием размеров его страны, его истории и, наконец, его славянского происхождения. В русском челове-

ке соединяются известная пассивность и стремление подчиняться вышестоящим с выносливостью и сообразительностью. Русский солдат способен импровизировать там, где западноевропейский будет безнадежно потерян. Мосты, землянки, маскировка — всё это русский человек умеет создавать при помощи самых примитивных инструментов. Далее, русский человек чувствителен, у него чувство играет большую роль, чем у многих других народов. Отсюда происходит его любовь к искусству, в частности, к музыке.

Имея дело с русским человеком, надо всегда учитывать, что одними доводами логики его не взять, требуется влиять на его чувство. Советская власть очень умело влияла на эмоции народа, заставляя его служить делу коммунизма, несмотря на то, что процент потенциальных врагов власти очень велик.

Поскольку все пережитки прежних времен, в том числе и крепостного права, не смогли сделать из русского человека совершенно бессловесное существо, готовое без ропота исполнять любые приказы власти, коммунисты потратили много усилий на обработку психологии русского человека. Этому служили политтрамата, полицейский террор, очень строгая дисциплина в армии и т. д. Сломить малейшую волю к сопротивлению — вот идея советской власти.

*

Поскольку книга о советской армии является результатом труда ряда авторов, под редакцией Лиддель-Харта, то ясно, что отдельные главы неодинаковы по своему стилю и ценности содержания. Более того, следует отметить, что не затронута такая тема, как подготовка советской морской мощи, которая идет полным ходом и вызывает даже некоторые опасения в США. Также очень мало сказано о подготовке атомной войны в СССР.

Однако, при всех указанных и прочих возможных недостатках, книга «Красная Армия» является серьезным научным трудом, опирающимся на многочисленные факты и стоящим вне всякой политической полемики или пропаганды.

Л. Зальцберг

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ХРОНИКА

(ЯНВАРЬ—МАРТ 1957 ГОДА)

Сообщение о встречах в Будапеште представителей коммунистических и рабочих партий и правительств Болгарии, Венгрии, Румынии, Советского Союза и Чехословакии.

6 января, «Правда» № 6

*

Совместное заявление правительственных делегаций СССР и Германской демократической республики в Москве.

7 января, «Правда» № 8

*

Указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского народов.

Москва, Кремль. 9 января 1957 г. Ведомости Верховного Совета СССР № 4 (871) от 24 февраля 1957 г.

*

Сообщение о встрече в Москве представителей коммунистических и рабочих партий и правительств Венгрии, Китая и Советского Союза.

10 января, «Правда» № 12

*

Обращение ЦК КПСС и Совета министров СССР к колхозникам и колхозницам, рабочим МТС и совхозов, профсоюзным и комсомольским организациям, к советским и сельскохозяйственным органам, специалистам и всем работникам сельского хозяйства.

17 января, «Правда» № 17

*

Совместная советско-китайская декларация о переговорах, состоявшихся в Москве между делегациями СССР и КНР.

18 января, «Правда» № 19

*

Заявление ТАСС по поводу предполагаемого размещения американских атомных воинских частей специального назначения на территории стран Западной Европы и в Турции, Иране, Японии и острове Окинава.

24 января, «Правда» № 24

*

Совместная советско-чехословацкая декларация о переговорах, происходивших в Москве с 26 по 29 января между делегациями СССР и Чехословакии.

29 января, «Правда» № 30

*

Сообщение Центрального статистического управления (ЦСУ) при Совете министров СССР об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1956 году.

31 января, «Правда» № 31

*

Указ Президиума Верховного Совета СССР об изменении статьи 6 указа Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с

предприятий и из учреждений и за прогул без уважительной причины».

Москва, Кремль. 31 января 1957 г. (Ведомости Верховного Совета СССР № 3 (870) от 8 февраля 1957 г.)

✱

Заявление с переговорах между делегациями КПСС и коммунистической партии Чехословакии.

1 февраля, «Правда» № 32

✱

Заявление ТАСС по вопросу о разоружении, с опубликованием писем Н. А. Булганину от Д. Эйзенхауэра (от 31 декабря 1956 г.), Антони Иден (от 3 января 1957 г.) и Ги Молле (от 3 января 1957 г.).

2 февраля, «Правда» № 33

✱

Советско-финляндское коммюнике о переговорах в Москве с 30 января по 2 февраля 1957 г.

3 февраля, «Правда» № 34

✱

Шестая сессия Верховного Совета СССР четвертого созыва о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1957 год, доклад Председателя Госэкономкомиссии М. Г. Первухина.

6 февраля, «Правда» № 37

✱

Закон о Государственном плане развития народного хозяйства и закон о государственном бюджете СССР на 1957 год.

Москва, Кремль. 9 февраля 1957 г.

(Ведомости Верховного Совета СССР № 4 (871) от 24 февраля 1957 г.)

✱

Послание Н. А. Булганина канцлеру Федеративной Республики Германии К. Аденауэру.

Кремль, 5 февраля
(«Правда» № 43 от 12 февраля)

✱

Ноты советского правительства правительствам США, Англии и Франции.

Москва, 11 февраля «Правда» № 44

✱

Ратификация Советским Союзом Устава Международного агентства по атомной энергии.

(Указом от 9 февраля 1957 г. Президиумом Верховного Совета СССР; подписан 26 октября 1956 г.)

12 февраля, «Правда» № 43

✱

Доклад министра иностранных дел Д. Г. Шепилова на сессии Верховного Совета СССР.

12 февраля, «Правда» № 44

✱

Постановление об избрании Верховного Суда СССР — председатель Горкин А. Ф., заместители Морозов Н. К. и Смирнов Л. Н.

Москва, Кремль. 12 февраля,
«Правда» № 44

✱

Закон об упразднении транспортных судов.

Москва, Кремль. 12 февраля 1957 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР № 4 (871) от 24 февр. 1957 г.)

✱

Закон об образовании Экономической комиссии Совета Национальностей.

Москва, Кремль. 12 февраля 1957 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР № 4 (871) от 24 февр. 1957 г.)

✱

Президиум Верховного Совета СССР освободил тов. Шепилова Дмитрия Трофимовича от обязанностей Министра иностранных дел СССР в связи с переходом на другую работу.

Президиум Верховного Совета СССР назначил тов. Громыко Андрея Андреевича Министром иностранных дел СССР.

Совет Министров СССР назначил тов. Патоличева Николая Семеновича первым заместителем Министра иностранных дел СССР.

16 февраля, «Правда» № 48

Постановление пленума ЦК КПСС по докладу Н. С. Хрущева, принятое 14 февраля 1957 г.; «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством».

16 февраля, «Правда» № 47

*

Декларация о переговорах между правительственными делегациями СССР и Болгарии.

21 февраля, «Правда» № 52

*

Выступление В. В. Кузнецова в Специальном политическом Комитете ООН по обвинению США во «вмешательстве во внутренние дела других государств», 25 февраля 1957 г.

27 февраля, «Правда» № 58

*

26—27 февраля состоялся VII пленум ЦК ВЛКСМ.

28 февраля в Москве открылся Всесоюзный Съезд советских художников (окончился 7 марта).

28 февраля в Москве открылся Всесоюзный слет комсомольцев и представителей молодежи, отличившихся на освоении целинных и залежных земель.

Опровержение ТАСС сообщений английской печати о том, что будто бы на территории Сирии существует тайная советская воздушная база.

2 марта, «Правда» № 60

*

Опубликован ответ канцлера Германской Федеративной Республики К. Аденауэра на послание Н. А. Булганина.

3 марта, «Правда» № 61

*

Сообщение о задержании на территории Эстонской ССР шведских шпионов и суде над ними.

7 марта, «Правда» № 65

*

Опубликован текст соглашения между СССР и Германской демократической республикой по вопросам, связанным с нахождением советских войск на территории ГДР.

Итоги выборов в местные Советы депутатов трудящихся по Украинской, Белорусской, Узбекской, Литовской, Молдавской, Таджикской и Туркменской ССР.

8 марта, «Известия» № 57

*

Коммюнике о переговорах и заключении соглашения между правительством СССР и правительством ГДР по вопросам, связанным с временным нахождением советских войск на территории Германской демократической республики.

13 марта, «Известия» № 61

*

Итоги выборов в местные Советы депутатов трудящихся по Казахской, Азербайджанской, Латвийской, Киргизской, Армянской и Эстонской ССР.

15 марта, «Известия» № 63

*

Постановление ЦК КПСС о подготовке к празднованию 40-ой годовщины Октябрьской революции.

Заявление министерства иностранных дел СССР о планах создания «Общего европейского рынка и Евратома».

17 марта, «Правда» № 76

*

Ответы Н. С. Хрущева на вопросы редакции американской газеты «Грэнд репид Геральд».

19 марта, «Правда» № 78

*

Ответ Н. А. Булганина на письмо канцлера Германской Федеративной Республики Аденауэра по вопросу об улучшении отношений между СССР и ГФР.

24 марта, «Правда» № 83

*

Коммюнике о переговорах и заключенном соглашении между правительствами СССР и Польши о сроках и порядке дальнейшей репатриации из СССР лиц польской национальности, бывших в польском гражданстве до 17.9.1939 года.

26 марта, «Правда» № 85

*

Сообщение ТАСС о прессконференции в Министерстве иностранных дел СССР

по вопросам, связанным с проблемами разоружения.

Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР ко всем работникам совхозной системы с призывом увеличить производство продуктов сельского хозяйства.

27 марта, «Правда» № 86

*

Открытие в Москве Всесоюзного Съезда советских композиторов.

28 марта, «Правда» № 87

*

Декларация правительств СССР и Венгрии и заявление о переговорах в Москве между делегациями КПСС и Вен-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
герской социалистической рабочей партией.

29 марта, «Правда» № 88

*

Заявление ТАСС по поводу положения в Египте и Израиле.

29 марта, «Правда» № 88

*

Тезисы доклада Н. С. Хрущева на ЦК КПСС и Совете министров СССР «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством».

30 марта, «Правда» № 89

*

Послание Н. А. Булганина премьер-министру Дании Х. К. Хансену.

31 марта, «Правда» № 90

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Е. Р. Романов**
Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:
А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко, А. С. Светов.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Обращение российского антикоммунистического издательства «Посев»

К ДЕЯТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ ПОРАБОЩЕННОЙ РОССИИ

Доводим до сведения писателей, поэтов, журналистов и ученых, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине из-за партийной цензуры, — что российское революционное издательство «ПОСЕВ», находящееся в настоящее время во Франкфурте на Майне, предоставляет им эту возможность.

Беллетристические произведения, сборники стихотворений, статей и научные труды могут быть изданы отдельными книгами.

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи принимает редакция журнала литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли «ГРАНИ».

Политические и публицистические статьи охотно будут приняты в редакцию еженедельника общественно-политической мысли «ПОСЕВ», голоса российского революционного движения.

Антикоммунистические материалы пропагандного характера могут быть изданы в виде листовок и отдельных брошюр или же использованы в ряде революционно-фронтальных изданий, как, например, в газетах «Вахта свободы», «Правда солдата», «Посев» (уменьшенного формата), сборник «Наши дни».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Редакции журнала «ГРАНИ», газеты «ПОСЕВ» и фронтальных изданий пропагандно-революционного характера принимают рукописи, подписанные псевдонимами.

2. Вышеназванные редакции, как и само издательство, обязуются немедленно перепечатывать присланные рукописи на своих пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту машинки. После

перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «П О С Е В» гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чужие руки.

3. Все права на рукописи автор передает издательству «П О С Е В», включая сюда разрешение переводить их на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «П О С Е В».

4. Издательство «П О С Е В» обязуется откладывать на имя автора (указанный псевдоним) гонорар в соответствии с установленными в редакциях журнала и газет правилами. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

Примечание: В связи с этим, во избежание возможных недоразумений и затруднений, издательство «П О С Е В» обращается с просьбой к авторам вместе с рукописью присылать и свой пароль, по которому автор легко сможет доказать свою идентичность с псевдонимом, данным им в рукописи.

5. Чистый доход от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках поступает в размере 40% в пользу автора. Остальные 60% предназначаются в фонд издательства «П О С Е В» для расширения печатной базы и покрытия расходов по изданию тех политических материалов (книг, брошюр, листовок), которые, играя важную роль в борьбе с коммунистической властью, не могут принести коммерческого дохода. В это же понятие входит бесплатное распространение в СССР через подпольные каналы НТС (Национально-Трудового Союза) целого ряда книг, в том числе и произведений данного автора.

6. В том случае, когда присланная в издательство «П О С Е В» рукопись по своему профилю или по политической направленности не сможет быть помещена в вышеуказанных изданиях, издательство «П О С Е В» обязуется пересылать ее в те печатные органы за границей, которые будут соответствовать политическому профилю данной рукописи. Научные труды в аналогичном случае будут пересылаться издательством как в русские научные, так и иностранные журналы.

7. Не принятые по каким-либо причинам рукописи по обязательству издательства «П О С Е В» в перепечатанном виде будут храниться до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР В ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»?

А) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

Б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

В) Через членов различных многочисленных делегаций: научных, спортивных, артистических и прочих, выезжающих организованным порядком из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

Г) Через иностранных туристов, посещающих СССР: артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к иностранному коммунисту или к «сочувствующему» подхалиму коммунистической власти.

Д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение осторожности, т. к. за помещениями иностранных посольств ведется наблюдение со стороны МГБ.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Frankfurt/Main
Merianstrasse 24a

Издательство «Посев»
Франкфурт на Майне
Мерианштрассе 24 а

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. Из рук в руки.

Члены НТС имеются во всех европейских странах. Почти каждый пароход или делегация из СССР встречаются ими не только в Европе, но и на других континентах: в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и пр.

В связи с этим, приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с членом НТС и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. По почте.

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «Посев» и бросить в любой почтовый ящик любого (некоммунистического) государства.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом варианте оплачивает получатель — издательство «Посев».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

**ПИСАТЕЛИ, ПОЭТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ, УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ,
АРТИСТЫ!**

ПИШИТЕ В СВОБОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию возлагается историей ответственнейшая задача — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом

Издательство «П О С Е В»

Цена 6 марок
